АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ • ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1988

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ЗВЕГИНЦЕВ В. А.
МАЖЮЛИС В. П.
МЕЛЬНИЧУК А. С.
РАСТОРГУЕВА В. С.
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГАК В. Г.
ДЫБО В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)
ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ЩЕРБАК А. И.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1988 г.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.02.88 Подписано к печати 04.04.88 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 76,9 тыс. Уч.-изд. л. 15,0 Бум. л. 5,0
Тираж 5843 экз. Зак. 1370

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

СОДЕРЖАНИЕ

Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). Р. О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами 5
Климов Г. А. (Москва). Реконструкция и диахроническая интерпретация в компаративистике 9
Булыгина Т. В., Степанов Ю. С. (Москва). Теория грамматики и теоретическая грамматика (К выходу в свет «Грамматики литовского языка» на русском языке) 17
Абаев В. И. (Москва). Parerga 3. К семантике глаголов с основным значением «делать» 34
Зайлер Г. (Кельн). Инвариантность и вариативность: параметрическая модель исследования языковых универсалий 44
Руденко Д. И. (Харьков). Собственные имена в контексте современных теорий референции 55
Зубкова Л. Г. (Москва). Соотношение звуковых единиц со значащими в типологическом аспекте (Ономасиологический и семасиологический подходы в фонологии) 69
Скляревская Г. Н. (Ленинград). Еще раз о проблемах лексикографической стилистики 84
Кунин А. В. (Москва). Асимметрия в сфере фразеологии 98

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Даниленко В. П. (Иркутск). Ономасиологическое направление в истории грамматики 108

Рецензии

Кибрик А. Е. (Москва). Грамматические концепции в языкознании XIX века 132
Маковский М. М. (Москва). *Mann S. E.* An Indo-European comparative dictionary 135
Луценко Н. А. (Донецк). *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании (На материале славянских языков) 142
Щульце В. (Бонн). *Алексеев М. Е.* Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. Морфология. Синтаксис 146
Тенишев Э. Р., Чеченов А. А. (Москва). *Кажибеков Е. З.* Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках (Явление синкретизма) 148
Лаанест А. (Таллин). Dialectologia Uralica 152
Бородина М. А. (Ленинград). Дикционар диалектал (кувинте, сенсурь, форме) 155
Волкова З. Н., Шахнарович А. М. (Москва). *Долинин К. А.* Интерпретация текста 158

CONTENTS

Gamkrelidze T. V. (Tbilisi). R. O. Jakobson and the problem of isomorphism between the genetic code and semiotic systems; Klimov G. A. (Moscow). Reconstruction and diachronic interpretation in comparative linguistics; Bulygina T. V., Stepanov Yu. S. (Moscow). A theory of grammar and a theoretical grammar (On the publication of the «Grammar of the Lithuanian language» in Russian); Abaev V. I. (Moscow). Parerga 3. On the semantics of verbs with the main meaning «to do»; Seiler H. (Köln). Invariance and variation: The dimensional model of language universals research; Rudenko D. I. (Kharkov). Proper names in the light of contemporary theories of reference; Zubkova L. G. (Moscow). Interrelation of phonetic and semantic units as a typological problem (Onomasiological and semasiological approaches in phonology); Skljarevskaja G. N. (Leningrad). Once more on the problems of lexicographic stylistics; Kunin A. V. (Moscow). Asymmetry in phraseology; **Surveys:** Danilenko V. P. (Irkutsk). The onomasiological approach in the history of grammar; **Reviews:** Kibrik A. E. (Moscow). Grammatical concepts of linguistics in the XIX century; Makovskij M. M. (Moscow). *Mann S. E.* An Indo-European comparative dictionary; Lucenko N. A. (Donetsk). *Nikolaeva T. M.* The function of particles in an utterance (based on the materials of Slavonic languages); Schulze W. (Bonn). *Alekseev M. E.* Problems of comparative grammar of the Lezgian languages. Morphology. Syntax; Teniševe E. R., Čečenov A. A. (Moscow). *Kažibekov E. Z.* Verbal-nominal correlation of homogenous roots in the Turkic languages (The phenomenon of syncretism); Laanest A. (Tallin). Dialectologia Uralica; Borodina M. A. (Leningrad). Dialectal dictionary of the Moldavian language (Words, meanings, forms); Volkova Z. N., Šaxnarovič A. M. (Moscow). *Dolinin K. A.* Interpretation of the text.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.

Р. О. ЯКОБСОН И ПРОБЛЕМА ИЗОМОРФИЗМА МЕЖДУ ГЕНЕТИЧЕСКИМ КОДОМ И СЕМИОТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Вопрос об изоморфизме между генетическим и лингвистическим кодами оставался долгое время предметом пристального внимания Р. Якобсона, предложившего оригинальные решения этой пограничной проблемы, возникшей на стыке сравнительно новых научных дисциплин — семиотики и молекулярной генетики.

Как известно, в пятидесятые годы нашего столетия в молекулярной биологии было сделано величайшее открытие, пролившее свет на механизм наследственности. Обнаружилось, что наследственность соответствует сообщению, записанному вдоль хромосом с помощью определенного вида химического «алфавита». В качестве исходных элементов этого алфавита, его «букв», используются четыре химических радикала, которые, комбинируясь друг с другом в бесконечных линейных последовательностях нуклеиновых кислот, создают как бы химический текст генетической информации. Подобно тому, как фраза является сегментом определенного языкового текста, составленного с помощью линейной последовательности небольшого числа исходных дискретных единиц — букв или фонем,— так отдельный ген соответствует определенному сегменту в длинной цепи нуклеиновых кислот, представляющих собой четыре исходных химических радикала. Подобно тому, как в лингвистическом коде исходные единицы (фонемы) сами по себе лишены смысла, но служат для составления с помощью определенных комбинаций минимальных их последовательностей, выражающих уже определенное содержание в пределах данной системы, точно так же в генетическом коде информативен не отдельный элемент системы, не отдельный химический радикал, а особые комбинации этих исходных четырех нуклеотидов по три элемента, создающие так называемые «триплеты». Поскольку можно составить всего 64 комбинации из четырех исходных элементов по три, генетический «словарь» состоит из 64 «слов», из коих три триплета представляют собой «знаки препинания», маркирующие в длинной последовательности нуклеиновых кислот начало и конец «фразы», а остальные соотносятся с одной из 20 аминокислот. Тут налицо неодно-однозначное соотношение, и среди таких «триплетов» выделяются «синонимичные слова», т. е. такие последовательности, которые соотносятся с одной и той же аминокислотой. Установление подобных соотношений между триплетами из четырех исходных элементов и 20 аминокислотами и перевод длинной цепи «триплетов» в протеиновую последовательность аминокислот, в пептидную цепь и есть считывание, или декодирование, наследственной информации, содержащейся в генетическом коде, подобно тому, как сообщение, закодированное «азбукой Морзе», считывается при переводе его на какой-либо язык. При этом ста-

новится очевидным, что все живое обладает «знанием» генетического кода в том смысле, что оно способно правильно считывать генетические «слова», составляющие содержание генетической информации, и синтезировать в соответствии с этим протеиновые последовательности. В этом отношении генетический код универсален, его ключом обладает все живое на Земле [1]. Таким образом, бесконечное многообразие всего живого сводится в конечном счете к длиннейшим генетическим «сообщениям», составленным по особым правилам линейной комбинаторики элементов генетического кода, обладающего разительными чертами структурного сходства с кодом лингвистическим. И не случайно, что с самого момента расшифровки генетического кода молекулярная генетика стала заимствовать лингвистические понятия и лингвистическую терминологию при дальнейшем изучении механизма наследственности [1]. Однако характерной чертой лингвистического кода, лежащего в основе естественных языков, которая отличает его от кода генетического, является значительно большее, чем четыре, число исходных единиц — фонем, комбинации которых и составляют минимальные значимые элементы звукового языка. Это создает в языковой системе избыточность, в условиях которой становится возможным исправлять или восстанавливать искажения в сообщениях, возникающие в результате нарушения под влиянием внешних факторов комбинаторики установленных последовательностей исходных единиц. Таким свойством генетический код не обладает, и любая пермутация или элиминация отдельных элементов в линейной последовательности нуклеотидов приводит неизбежно к искажению первоначально записанной генетической информации.

Выявляемый структурный изоморфизм между двумя различными информационными системами — генетической и языковой, строящимися на линейной комбинаторике исходных дискретных единиц, ставит феноменологический вопрос о природе этих систем и о причинах возникновения подобного структурного изоморфизма. Выдвигаются различные точки зрения.

Наиболее характерен в этом отношении научный спор между двумя крупнейшими учеными современности — лингвистом Романом Якобсоном и биологом-генетиком Франсуа Жакобом.

Является ли выявляемый структурный изоморфизм между двумя кодами — генетическим и лингвистическим — чисто внешним, возникшим в результате структурного сближения или совпадения двух различных систем, выполняющих аналогичные информационные функции, или же этот изоморфизм есть результат филогенетического конструирования языкового кода по модели, по образцу и структурным принципам кода генетического? Это второе предположение отстаивается Р. Якобсоном, тогда как Фр. Жакоб допускает скорее аналогичную структурированность различных информационных систем при аналогичных функциях.

Якобсоновское понимание структурного изоморфизма между генетическим и лингвистическим кодами предполагает эволюционный процесс на-

---

[1] Со своей стороны, и в лингвистике наблюдаются случаи заимствования некоторых понятий и терминов из молекулярной генетики. Так, например, в теории маркированности члены иерархического отношения «маркированности», именовавшиеся ранее «немаркированный» ~ «маркированный» (что в конечном счете восходит к терминологии Пражской лингвистической школы, согласно которой члены этого бинарного отношения характеризовались как «беспризнаковый» ~ «признаковый» — «merkmallos» ~ «merkmalhaltig»), предлагается, в соответствии с их содержанием, ныне называть «доминантным» ~ «рецессивным», а само «отношение маркированности» переформулировать как «отношение доминации» [2].

ложения лингвистического кода непосредственно на генетический и копирования его структурных принципов, осуществившийся в условиях бессознательного владения живым организмом знанием характера и структуры последнего. Это полностью относится к сфере бессознательного, к неосознаваемому владению организмом информацией о строении и структуре существенных его механизмов. И все это выразилось не только в филогенетическом процессе оформления структур языкового механизма по модели генетического кода, но и в различных творческих актах отдельных выдающихся личностей, строящих особые информационные (семиотические) системы в общем по модели генетического кода без эксплицитного знания структуры последнего [2].

В этой связи уместно вспомнить о теории глоттогонического процесса крупнейшего ученого-лингвиста и филолога Н. Я. Марра, обладавшего своеобразной научной интуицией, позволявшей ему порой приходить к совершенно неожиданным с логической точки зрения научным решениям. Так, например, Н. Я. Марр сводит исторически возникшее многообразие языков именно к четырем (sic!) исходным элементам, состоящим, как это ни странно, из своеобразных звуковых «троек» — бессмысленных последовательностей — *сал*, *бер*, *йон*, *рош*. Любой текст произвольной длины на любом языке мира есть в конечном счете результат фонетического преобразования только этих исходных четырех, самих по себе ничего не значащих элементов, скомбинированных в определенной линейной последовательности. Этим, по мнению Н. Я. Марра, и определяется единство глоттогонического процесса.

Глоттогоническая теория Н. Я. Марра не имеет под собой никаких рациональных оснований. Она противоречит и логике современной теоретической лингвистики, и языковой эмпирии, и в этом смысле она иррациональна. Но теория эта, представляющая своеобразную структурную модель языка, весьма близкую к генетическому коду, не иррелевантна для науки и может служить иллюстрацией проявления в ученом интуитивных и неосознанных представлений о структуре генетического кода, очевидно, подсознательно скопированных им при создании оригинальной модели языка. Эксплицитных и осознанных знаний о такой структуре генетической информационной системы Н. Я. Марр иметь, конечно, не мог, как не могли ими обладать и те древнекитайские философы, которые примерно три тысячи лет назад составили книгу «И Чинь» («Chinese Book I Ching. The Book of Transformations») и разработали особую систему трансформаций четырех бинарных элементов, составленных из «мужского принципа» *ян* (yang) и «женского принципа» *инь* (yin) и сгруппированных по три, что дает всего 64 троичных последовательности, аналогичных генетическим «триплетам». С помощью сочетаний подобных «троек» и описывается в этой древнекитайской символической системе многообразие всего живого и устанавливаются соотношения между ними. В этом контексте особо значима также система с четырьмя элементами мира в космогонии ионийцев, с четырьмя жидкостями человеческого тела у Гиппократа и др.

Все эти символические семиотические системы (и в особенности древнекитайская система трансформаций бинарных элементов *инь* и *ян* и мар-

---

[2] Само раскрытие структуры генетического кода есть в сущности осознание человеком основ строения и структуры собственного генетического механизма, перевод из сферы «бессознательного» в сферу «осознанного» знания о структуре всего живого, имплицитно заложенного в каждом живом организме.

ровская модель языка) поразительно совпадают, вплоть до количественных параметров, со структурой генетического кода, выступающего в создателях этих систем, очевидно, в качестве их неосознаваемого моделирующего субстрата.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Jacob F.* The linguistic model in biology // Roman Jakobson. Echoes of his scholarship / Ed. by Armstrong D., Schooneveld C. H. van. Lisse, 1977.
2. *Gamkrelidze Th. V.* Hierarchical relations among phonemic units as phonological universals // Proceedings of the Ninth International Congress of Phonetic Sciences. V. II. Copenhagen, 1979.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

КЛИМОВ Г. А.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В КОМПАРАТИВИСТИКЕ

Как известно, еще ранние компаративисты самокритично признавали, что они не всегда отдают себе отчет в сущности производимых ими операций. Позднее, характеризуя теоретическое наследие представителей предмладограмматической парадигмы в лингвистике, широко внедривших в генетическое языкознание практику сравнительной реконструкции, Ф. де Соссюр предъявил им аналогичный упрек, подчеркнув, может быть, в излишне категоричной форме, что они никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали производимые ими сопоставления и что же означали открываемые ими соотношения. Не очень заметно прогрессировала теория метода компаративистики и в период господства младограмматической доктрины. Несмотря на существование к настоящему времени множества эмпирических исследований, демонстрирующих методические возможности различных разновидностей реконструктивной процедуры, а также некоторых специальных работ, посвященных конкретным приемам лингвистической реконструкции (ср. статьи Э. Германа, Дж. Бонфанте, Е. Куриловича, М. Майрхофера, М. Корхонена и др.), общее состояние разработки этой ключевой для генетического языкознания проблематики и поныне трудно считать вполне удовлетворительным, что побуждает вновь обращаться к самым основаниям лингвистической реконструкции.

Естественно прийти к выводу, таким образом, что подобно истории развития и других отраслей сравнительного — в широком смысле этого слова — языкознания, и в сфере компаративистики продвижение в разработке методического инструментария в первую очередь оказывалось побочным следствием тех или иных исследований эмпирического плана и лишь в своей некоторой части было обязанным прогрессу самой теории (нетрудно убедиться, например, в том, что даже несколько существующих введений в компаративистику по существу представляют собой введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков).

Предметом настоящей статьи служит сравнительная характеристика двух существенно различных процедур компаративистики, обычно объединяемых как единой системой символизации, так и общим термином «реконструкция», к которому мы, как правило, прибегаем на практике безотносительно к самому́ содержанию используемого приема и к степени достоверности строящихся при этом конструктов. Между тем именно различия в обоих этих отношениях заставляют провести принципиальное разграничение между понятием собственно реконструкции, с одной стороны, и понятием диахронической интерпретации, с другой, необходимость которого нельзя считать незамеченной в компаративистике, но важность которого для исследовательской практики остается, как представляется, неоцененной должным образом. Нельзя не заметить, что для второго понятия пока нет даже сколько-нибудь устойчивого обозначения: так, если

оставить в стороне далеко не однозначно используемые в литературе термины «дальняя реконструкция» и «дальнейший анализ» («weitere Analyse»), то в его роли можно встретить такие не очень удачные, на наш взгляд, термины, как «reconstructive analysis» [1] или «Prärekonstruktion» [2], а также принятый ниже термин «diachronische Interpretation», предложенный в работах О. Семереньи.

Терминологически обозначенное разграничение собственно реконструкции и некоторого последующего по отношению к ней шага — диахронической интерпретации,— как правило, незнакомо компаративистам-эмпирикам. Оно, однако, пользуется все более заметной и, как это можно показать, вполне оправданной популярностью у ряда теоретиков сравнительного языкознания, нередко приходящих к нему независимым образом. Если собственно реконструкция, предпринимающаяся с целью исторического истолкования соответствий, зафиксированных в фактической данности родственных языков, приводит к построению некоторого архетипа (праформы), то к диахронической интерпретации, уже располагающей не реальным языковым субстратом, необходимым для выполнения реконструкции, а только архетипами, компаративист прибегает при желании углубить диахроническую перспективу исследования за счет проникновения в хронологически более отдаленные этапы праязыкового состояния. Иначе говоря, если в результате процедуры реконструкции компаративист формулирует гипотезу первой степени, то продуктом диахронической интерпретации оказывается некоторая гипотеза второй степени.

Так, например, Л. Завадовский различает в этом плане сравнительную грамматику, оперирующую праязыковыми архетипами, выводимыми на базе засвидетельствованных межъязыковых соответствий (comparative grammar based on attested correspondences), и так называемую конъектурную сравнительную грамматику (conjectural comparative grammar), надстраивающуюся над первой и характеризующуюся значительно большей степенью гипотетичности (при этом автор подчеркивает, что мера достоверности самих архетипов также обычно падает с возрастанием реконструктивной глубины исследования и в рамках сравнительной грамматики засвидетельствованных соответствий) [3]. В этой же плоскости лежит принимаемое в трудах О. Семереньи противопоставление реконструкции посредством сравнения некоторого языкового материала и дальнейшей диахронической интерпретации полученного гипотетического состояния [4]. Мысль о необходимости такого противопоставления разделяется и Б. Шлератом, дополняющим его также понятием так называемой объяснительной модели [5]. У Г. Дёрфера мы находим основанное на аналогичном признаке разграничение реконструирующей лингвистики (rekonstruierende Sprachwissenschaft) и так называемой глоттогонической лингвистики (glottogonische Sprachwissenschaft), принципиальное различие между которыми заключается в том, что если первая опирается на реально засвидетельствованный языковой материал, то вторая стремится к более глубокой исторической интерпретации уже самих результатов реконструкции [6, с. 10]. Как отмечалось в докладе К. Кёрнера на VII Международном конгрессе по исторической лингвистике, такого же характера демаркационную линию между понятиями реконструкции и диахронической интерпретации так или иначе проводят и другие видные представители современной компаративистики (П. Тиме, Г. Хёнигсвальд и др.) [7]. В частности, вероятно, именно из него исходит Г. Хёнигсвальд, отмечающий, что процедура внутренней реконструкции неправомерна с методической точки зрения, если она направлена на восстановление

не праязыкового состояния [8] (среди авторов, рассматривающих диахроническую интерпретацию в качестве особой разновидности метода внутренней реконструкции, можно назвать Н. Борецки [9]).

Среди советских лингвистов различие между собственно реконструкцией и диахронической интерпретацией эксплицитно проводил И. М. Тронский. «Сравнительно-исторический метод,— писал он в одной из своих работ,— сам по себе доводил только до „архетипа“, до того пункта, с которого начинались расхождения по отдельным ветвям. Для того, чтобы пойти дальше, надо было оперировать другими методами — методом пережитков, методом системной реконструкции, образцы для которых были выработаны на неязыковом материале, например, в области доисторической этнографии. Эти методы надлежало применять к материалам уже не исторических языков, а к данным, доставленным той реконструкцией, которая была произведена путем сравнения» [10].

Однако целесообразность такого различения диктуется, конечно, не совокупностью названных выше авторитетов (тем более, что некоторые видные компаративисты — например, М. Хаас и Р. Анттила — не проводят рассматриваемого разграничения), а принципиальным различием самого существа обеих процедур восстановления, поскольку в одном случае исследование исходит из реальных языковых данных, в другом — опирается на имеющие гипотетический характер архетипы. Именно отмеченный дифференциальный признак архетипа подчеркивает его гносеологическую функцию — служить историческим объяснением реально засвидетельствованных языковых форм, в отличие от конъектур диахронической интерпретации, уже лишенных этой функции. Последнее обстоятельство не может внушать каких-либо сомнений, поскольку перед предпринимающимися диахроническими интерпретациями ставятся иные задачи — обычно они преследуют цель более глубокого проникновения исследования в историю языковых семей и иногда — цель обоснования их отдаленного родства.

Таким образом, статусом диахронической интерпретации располагают и так называемая внутренняя реконструкция «наиболее позднего» праязыкового состояния, и «сравнительная реконструкция» некоторого праязыка второго и больших порядков, основанная на сопоставлении архетипов праязыков меньших порядков (уже хотя бы на одном последнем основании диахроническую интерпретацию невозможно признать какой-либо разновидностью внутренней реконструкции). Разумеется, динамический подход к праязыковому состоянию, пользующийся все более возрастающей популярностью в компаративистике последних десятилетий, оправдывает стремление исследователей идти в глубь языковой истории посредством этого приема (ср. в этой связи трактовку Э. Бенвенистом реконструированного индоевропейского праязыка как объекта, допускающего дальнейший генетический анализ [11]). Однако иногда встречающиеся в практике сравнительно-исторического языкознания прецеденты специальной направленности процедуры диахронической интерпретации на доказательство отдаленного языкового родства едва ли могут считаться методически оправданными (при очевидной правомерности постановки вопроса о генетических взаимоотношениях языков целесообразно отметить, что доказательство языкового родства в этом случае не столько предмет целенаправленного исследования, сколько побочный продукт удовлетворительного знания компонентов сравнения).

Естественно, таким образом, что к числу диахронических интерпретаций должны быть отнесены любые опыты восстановления на уровне так

называемых предпраязыков (preprotolanguages), т. е. праязыковых состояний второго и более удаленных от современности порядков, поскольку они уже всецело основываются на сопоставлении праязыковых архетипов. В частности, статус диахронических интерпретаций со всеми вытекающими из него следствиями, и прежде всего — в отношении степени их достоверности, присущ восстановлениям, предпринимаемым во взаимно противоречащих гипотезах внешнего родства индоевропейских языков.

Напротив, к числу диахронических интерпретаций только формально относятся совокупности восстановлений, связанные с обоснованием родства между обычно мелкими и сравнительно недалеко отстоящими друг от друга генетическими группировками языков, предпринимающиеся прежде всего в американистике. Дело в том, что хотя при этом предварительно и строятся так называемые промежуточные праязыки, т. е. праязыки ближайших порядков, реальные взаимные расхождения вовлекаемых в сравнение языков сплошь и рядом не превышают порога их сопоставимости, так что искомое генетическое доказательство в принципе и здесь достижимо в ходе непосредственного — хотя бы и цепного — сравнения языкового материала. Например, Д. Холт, придерживающийся такой процедуры в своем опыте обоснования родства языков чибча с ютоацтекскими, приходит к выводу об их тесной генетической близости («родство настолько близкое, что даже весьма странно, что оно не было продемонстрировано ранее» [12]). Действительно, приводимый им попутно конкретный языковой материал убеждает в его непосредственной сопоставимости. Ср. также публикации ряда американских компаративистов, разрабатывающих отомангскую гипотезу, согласно которой узами родства оказываются связанными многие мелкие языковые группы Центральной Америки. Дополнительным свидетельством в пользу именно такого положения вещей служит то обстоятельство, что используемые при этом промежуточные праязыки выводятся на материале уже генетически определенным образом сгруппированных языков, что, строго говоря, возможно лишь в условиях предварительно принятого положения об их родстве (можно понять поэтому, почему некоторые американисты вообще сомневаются в наличии полноценных опытов реконструкции праязыков второго порядка [13]). Тем более нет оснований для смешения с диахронической интерпретацией нередкой в работах компаративистов и историков языка практики обращения к так называемой ступенчатой реконструкции, посредством которой прослеживаются промежуточные этапы языковой истории от праязыка до современности. Поскольку исследование не теряет при этом своей опоры на фактическую языковую данность, оно всецело остается в сфере реконструкции как таковой.

По-разному выглядит и соотношение индукции и дедукции в обеих процедурах. Если в ходе собственно реконструкции оба компонента сочетаются (индуктивное построение архетипа сопровождается дедуктивно ориентированной его верификацией), то в сфере диахронической интерпретации всецело господствует дедуктивный подход исследователя.

Глубоко различны продукты реконструкции и диахронической интерпретации и в отношении степени своей достоверности (независимо от реальной хронологической глубины восстановления). Так, если провести весьма условное по необходимости различие между относительной и «абсолютной» достоверностью, то будет нетрудно убедиться в том, что архетипы, построенные с опорой на те или иные языковые данные, должны отвечать требованию относительной достоверности, а иногда способны

удовлетворять и требованию «абсолютной» (ср. сходный подход, принятый в работах У. Лемана [14]). Относительно достоверным естественно признать архетип, адекватно выведенный из рассмотренной компаративистом совокупности межъязыковых соответствий (ср. герм. **kuningas* «старейшина рода, король»), а «абсолютно» достоверным — архетип, который удается верифицировать посредством последующего обнаружения его реального языкового антецедента в виде архаизма в каком-либо из родственных языков, в древнеписьменных памятниках или на правах заимствования в неродственной языковой среде (ср. то же герм. *kuningas*, засвидетельствованное на правах старого заимствования в прибалтийско-финских языках). Что же касается степени достоверности конъектур диахронической интерпретации, то о ней, как правило, не приходится говорить, даже в тех оптимальных случаях, когда они надстраиваются над архетипами, реконструируемыми с высокой мерой надежности. Тем более трудно судить о степени их достоверности, если они надстраиваются над несколькими из конкурирующих архетипов.

Можно считать, по-видимому, что конъектуры диахронической интерпретации практически не поддаются верификации ввиду обычной невозможности проследить их реальные языковые антецеденты, с одной стороны, и ограниченной эффективности подтверждения их типологической (структурной) корректности, с другой. В этих условиях степень их правдоподобия определяется в основном субъективно окрашенной оценкой компаративиста. Об обычной несопоставимости возможностей контроля за этими построениями с перспективами верификации архетипов свидетельствует, в частности, известная трактовка праиндоевропейского **o̯ktōu̯* «восемь» как исторической формы двойственного числа самостоятельно не реконструируемого числительного **o̯kto-* «четыре», которая лишь в общих чертах подтверждается картвельским материалом: ср. лазск. *otxo-* «четыре» (восходящее к пракартвельскому индоевропеизму **otxo-*), не обнаруживающее с ним сколько-нибудь полного формального тождества [15].

В настоящее время, когда на смену безоговорочному оптимизму едва ли не всех ранних компаративистов в оценке реализма получаемых в ходе исследования архетипов пришло не менее твердое убеждение в том, что степень достоверности последних в большинстве случаев не только неизвестна, но и, как правило, не может быть достаточно строгим образом проверена, следует, очевидно, признать, что степень адекватности конъектур, получаемых в ходе диахронической интерпретации, вообще не контролируется. Отсюда становятся понятными и встречающиеся глубоко скептические оценки компаративистами соответствующих восстановлений. «Поскольку элементы разных языковых семей, чтобы было возможно сравнивать их между собой, должны быть соответствующим образом „препарированы“,— писал в этой связи Н. С. Трубецкой,— такое языковое сравнение всегда бывает связано со значительной долей произвольности и домысла, тем более, что число лексических соответствий, на которые необходимо опираться, обычно довольно невелико» [16]. Касаясь известной гипотезы К. Боргстрёма, постулирующей наличие в раннем праиндоевропейском состоянии лишь открытых слогов и являющейся хрестоматийным примером диахронической интерпретации, Э. А. Макаев со свойственным ему порой ригоризмом пишет, что она «основана не на проекции реальных данных отдельных индоевропейских языков в общеиндоевропейское состояние, что возможно только тогда, когда не возникает никаких сомнений по поводу архаичности этих реконструируемых данных. Гипотеза К. Боргстрёма — классический пример чисто дедуктивного,

умозрительного построения, не отвечающего строгости и обоснованности реконструкции» [17]. Крайнюю в этом отношении позицию занимает Г. Дёрфер, вообще отрицающий правомерность диахронической интерпретации и находящий ее продукты внутренне противоречивыми спекуляциями, нередко вращающимися в логическом кругу [6, с. 10—24]. Подобные высказывания не могут все же избавить от впечатления о целесообразности обращения и к этой разновидности реконструкции в случаях, когда компаративист стремится углубить диахроническую перспективу истории языковой семьи. Представляется, в частности, что при согласовании ее результатов с данными внутренней реконструкции наиболее архаичных ингредиентов языковой семьи, а также с данными типологической реконструкции сравнительно-историческое исследование способно приходить к весьма правдоподобным выводам. Следует вспомнить в последней связи и судьбу учения Ф. де Соссюра о так называемых сонантических коэффициентах в древнейшем праиндоевропейском состоянии, характеризовавшегося виднейшими представителями младограмматизма как «чисто априористическое построение» и, соответственно, как «полная неудача», но составившего предмет пристального внимания в индоевропеистике с конца 20-х годов.

Если отдельно взятая конъектура диахронической интерпретации уступает по степени своей достоверности архетипу, то аналогичным образом выглядит и соотношение их совокупностей. Это означает, в частности, что доказательство гипотезы генетического характера, строящееся посредством сопоставления праязыков, всегда будет проигрывать в убедительности доказательству, основанному непосредственно на языковом материале.

Выше были подчеркнуты основные особенности обеих разновидностей реконструкции в их взаимном противопоставлении. Не следует, однако, полагать, что в конкретных сравнительно-исторических исследованиях они неизменно выступают в своем «идеальном» виде. В действительности производимые реконструктивные операции нередко оказываются сложнее — за счет случаев, когда диахроническая интерпретация сочетается с элементами собственно реконструкции в рамках решения некоторой, по существу единой задачи.

Одним из наиболее ярких примеров подобного сочетания может служить ларингальная теория в индоевропеистике в ее современных версиях, характеризующаяся непосредственной апелляцией к материалу исторически засвидетельствованных языков в стремлении найти себе опору в предлагаемых рефлексах древних ларингалов (ср. соответствующие ссылки на хеттские *ḫ* и *ḫḫ*, армянское инициальное *h* и т. п.), а также в следствиях ряда фонетических процессов, связанных в первую очередь с историей вокализма. По-видимому, последнее обстоятельство составляет один из существенных факторов, способствующих высокой популярности ларингальной теории в современной индоевропеистике. Некоторую точку опоры индоевропейским праформам с ларингалами создают и их внешние — картвельские — аналогии: например, постулируемые в работах Э. Бенвениста, Р. Шмитт-Брандта, Т. В. Гамкрелидзе и ряда других авторов корни **Hu̯ebh* «плести, ткать», **Hu̯edh* «связывать, ремень», и т. д. сопоставимы с их картвельскими параллелями типа груз. и зан. *γob-* «плести», сван. *γweb-* «улей» (< пракартв. **γweb-* «плести») или груз., мегр. *γved-* и сван. *γwed-* «ремень» (< пракартв. **γwed-* «ремень, привязь»), возможно, указывающими в каком-то приближении на конкретные антропофонические характеристики их индоевропейских антецедентов (в на-

стоящее время возникает возможность показать, что начальный звонкий спирант в приведенных корнях не развит в силу некоторого «обострения» *ж* на картвельской почве).

В принципе аналогичным оказывается modus operandi и так называемой глоттальной теории в трактовке праиндоевропейской консонантной системы, сформулированной в недавних работах Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова. Если бы авторы ограничивались операциями, производимыми исключительно над архетипами, то о выходе в их исследованиях за пределы диахронической интерпретации не приходилось бы говорить. Однако поскольку эта теория также обнаруживает тенденцию к поискам поддержки в фактическом материале реальных языков (в частности, в глоттальной серии согласных, представленной в армянских диалектах, и в предполагаемых рефлексах смычногортанных в виде некоторых просодических признаков германских языков, ср. [18, с. 12—17]), то и в этом случае налицо обращение к элементам собственно реконструкции, что, по всей вероятности, и служит важным фактором, вызывающим к этой теории симпатии со стороны целого ряда крупных индоевропеистов уже в настоящее время.

Еще одним примером органического сочетания обеих разновидностей реконструкции в компаративистике является разработка в американистике алгонкинско-ритванской гипотезы, основанной на сопоставлении реконструированных праалгонкинских архетипов с фактическим материалом языков вийот и юрок. Такой характер сравнения обусловлен тем неоднократно подчеркивавшимся М. Хаас обстоятельством, что последние весьма далеки друг от друга, вследствие чего их взаимное родство прослеживается более или менее отчетливо только на фоне односторонних связей обоих с алгонкинскими языками, ср. [19].

В заключение остается заметить, что разграничение понятий собственно реконструкции, с одной стороны, и диахронической интерпретации, с другой, представляется полезным не только для компаративистики, но и для других отраслей языкознания, располагающих отчетливым диахроническим аспектом, и прежде всего — для исторической типологии и для глоттогенетических исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dyen I.* Reconstruction, the comparative method and the protolanguage uniformity assumption // Language. 1969. V. 45. No 3, P. 508—509.
2. *Penzl H.* Das Rekonstruieren des «prähistorischen» Lautwandels // Proceedings of the twelfth International congress of linguists. Innsbruck, 1978. S. 508 ff.
3. *Zawadowski L.* Theoretical foundation of comparative grammar // Orbis. 1962. 11. P. 7—18.
4. *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980. С. 13.
5. *Schlerath B.* Ist ein Raum- / Zeit-Modell für eine rekonstruierte Sprache möglich? // // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 1981. Bd. 85. Hf. 2. S. 188.
6. *Doerfer G.* Lautgesetze und Zufall. Betrachtungen zum Omnicomparativismus. Innsbruck, 1973.
7. *Koerner K.* Reconstruction in historical linguistics. Ottawa, 1985 (ротапринт).
8. *Hoenigswald H. M.* Internal reconstruction and context // Historical linguistics, 1974. II. S. 200.
9. *Boretzky N.* Laryngaltheorie und innere Rekonstruktion // IF. 1975 (1976). Bd. 80. S. 56—57.
10. *Тронский И. М.* Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л., 1967. С. 5.
11. *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955. С. 26.
12. *Holt D. C.* Evidence of genetic relationship between Chibchan and Uto-Aztecan // // Proceedings of the third annual meeting of the Berkeley linguistic society. Berkeley, 1977. P. 283.

13. *Proulx P.* Proto-Algic I: Phonological sketch // IJAL. 1984. 50. No 2. P. 164.
14. *Lehmann W. P.* Historical linguistics. An introduction. N. Y., 1962. P. 103—104, 255.
15. *Климов Г. А.* Картвельское **otxo-* «четыре» ~ индоевропейское ** ok̂to-* // Этимология. 1975. М., 1977. С. 162—163.
16. *Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 61.
17. *Макаев Э. А.* Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977. С. 182.
18. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I. Тбилиси, 1984.
19. *Haas M.* Algonkin-Ritvan: the end of controversy // IJAL. 1958.24.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

БУЛЫГИНА Т. В., СТЕПАНОВ Ю. С.

ТЕОРИЯ ГРАММАТИКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

(К выходу в свет «Грамматики литовского языка» на русском языке)

Опубликованная на русском языке «Грамматика литовского языка» [Вильнюс, изд-во «Мокслас» («Наука»), 1985 г.], созданная коллективом сотрудников Института языка и литературы АН Литовской ССР по рекомендации Президиума АН СССР, является примечательным событием в разных аспектах. Во-первых, литовская лингвистическая школа в последние десятилетия вышла на одно из первых мест в лингвистическом мире. Во-вторых, в коллектив авторов, работавший над данной книгой под руководством В. Амбразаса, входят видные литовские грамматисты (В. Амбразас, А. Валецкене, Э. Валюлите, К. Гаршва, А. Гирденис, П. Кнюкшта, С. Криницкайте, В. Лабутис, А. Лайгонайте, Э. Огинскене, Ю. Пикчилингис, А. Руже, Н. Слижене, К. Ульвидас), в той или иной степени связанные с традицией создания Академической грамматики литовского языка (этот трехтомный труд под руководством чл.-корр. АН Литовской ССР К. Ульвидаса был опубликован в 1965—1976 гг.). В-третьих, литовский язык — индоевропейский язык с богатой флективной морфологией, хранящей при этом многие архаические черты индоевропейского строя, является хорошим «полигоном» для выяснения грамматических проблем, касающихся как индоевропейских языков, так и языков других семей.

Целый ряд особенностей литовской грамматики делает литовский язык и весьма интересным объектом типологического исследования. Между тем число лингвистов, для которых профессионально важно более или менее глубокое знакомство с литовским языком, несомненно, значительно больше числа лингвистов, владеющих литовским языком в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы пользоваться наиболее авторитетным пока изданием — упомянутой трехтомной Академической грамматикой литовского языка. Поэтому выход в свет рецензируемого труда с удовлетворением встречен широкими кругами языковедов различных специальностей.

Следует подчеркнуть, что «Грамматика» отнюдь не является просто сокращенной русской версией упомянутой Академической грамматики. Иная ориентация нового издания потребовала пересмотра и уточнения некоторых принципов описания, выработки единой грамматической концепции, лежащей в основе описания. В большинстве разделов воплощена целостная и продуманная грамматическая концепция. Это дает основание для обсуждения теоретических аспектов предложенных решений.

Теория грамматики, согласно мнению большинства лингвистов в настоящее время, включает в себя исследование нескольких основных вопросов. Во-первых, выявление грамматических категорий, грамматической системы какого-либо данного конкретного языка. Во-вторых,— по-

скольку хорошо известна принципиальная неединственность любого грамматического (так же, как и фонологического и семантического) описания,— сравнение разных возможных описаний (разных грамматик) с целью выявить наиболее адекватное описание для данного языка и данной цели. В-третьих, установление по возможности наиболее общих способов такого сравнения применительно к любому языку. В-четвертых (в предположении, что предмет грамматики как науки достаточно хорошо определен или, во всяком случае, является определимым), решение вопроса о том, что именно следует относить к грамматике, а что к лексикону, словарю и включать в словарь языка. Третью и четвертую задачи можно назвать метаграмматическими.

В книгах, называемых «Грамматика (такого-то конкретного языка)», и в данной, естественно, решается прежде всего первая из названных задач. Она выдвигается на первый план, ее принципы и подходы к ней эксплицитно формулируются, подчеркивается отличие по этой линии данной книги от других и т. д. Однако в действительности при создании таких книг никогда нельзя миновать и остальных вопросов — о предпочтении того или иного из возможных представлений грамматической системы или какого-либо ее фрагмента,— о выборе представления и о мотивировках такого выбора. Именно этот круг теоретических вопросов авторы настоящей статьи выдвигают здесь на первый план. Одновременно он, по-видимому, особенно важен и практически для работы над различными грамматиками различных языков, в особенности для столь разнообразных языков, какими являются языки народов СССР.

Далеко не все проблемы литовской грамматики исследованы к настоящему времени с одинаковой полнотой. Предложенные авторами решения ряда дискуссионных вопросов литовской грамматики в большинстве случаев отличаются убедительностью. Особенно аргументированными выглядят выводы, касающиеся спорных вопросов литовской фонологии, а в области грамматики — системы грамматических категорий глагола. Несомненный интерес представляет описание типов предложений с их лексическим наполнением, порядка слов — вопросы, ранее систематически не исследовавшиеся. В некоторых разделах дискуссионных вопросов больше, и мы постараемся оттенить некоторые из них в настоящей статье.

*

Проблема местоимений позволяет, пожалуй, в наиболее чистом виде затронуть метаграмматические вопросы выбора описания, выбора грамматического представления материала. Единство раздела «Местоимения», как и соответствующей группы слов, в грамматиках обычно мотивируется по-разному, по крайней мере — двумя различными способами. Либо — формой местоименных слов, особенностями их флексии и вообще словоизменения. Либо — функцией, особым типом значения этих слов. Так, например, в «Русской грамматике» 1980 г. избирается, в основном, первый подход: в соответствующую главу включаются только слова-аналоги существительных, однако такие, словоизменение которых отличается от словоизменения существительных. Авторы различных «функциональных» грамматик избирают, в основном, второй подход, мотивируя единство главы «Местоимения» особым и достаточно единым у всех местоименных слов типом значения. (Так, например, в работах по русскому и английскому языкам. О. Н. Селиверстовой.) Однако при этом как раз и выходят на первый план некоторые метаграмматические вопросы.

Дело в том, что, вообще говоря, любая достаточно однородная группа слов языка обладает особенным, только ей присущим типом значения. Так, особым типом значения обладают «конкретные имена» типа «чашка», «ложка», «тарелка», «стакан», «кастрюля» и т. п. Особым типом значения обладают такие «абстрактные слова», как «братство», «свобода», «любовь», «ненависть» и т. п. Особым типом значения обладают абстрактные имена типа «белизна», «краснота», «чернота» и т. д. и т. п. Если констатировать у местоимений только особый тип значения, то это, скорее, требовало бы их выделения из «грамматики» в «словарь» и разработки способов словарного описания таких слов,— в первую очередь, значений таких слов.

Но такому решению препятствуют различные обстоятельства. Во-первых, разумеется, традиция академических грамматик, которая, как уже было сказано, играет немаловажную роль и в данной книге. Во-вторых, что более существенно, наличие, по крайней мере, у части местоименных слов, особых парадигм словоизменения, особой флексии. Данная «Грамматика» специально подчеркивает — как свой принцип — совмещение «формального» и «семантического» критериев. Итак, все располагает к тому, чтобы выделить местоимения в особую главу «Грамматики» и построить ее внутреннюю композицию по двум названным принципам — «семантическому» и «формальному». Что и сделано, и с таким решением в принципе, следует, по-видимому, согласиться. Нужно, однако, подчеркнуть, что раздел о местоимениях оказывается одним из самых неблагодарных для любого автора в любой грамматике и ставит его перед лицом многих трудностей, которые видны и в данной книге.

Во-первых, названные принципы разделения местоимений («формальный» и «семантический») оказываются, по-видимому, недостаточными и вводится критерий «зависимости от отношений к другим словам» (с. 158). Это критерий дистрибутивный, в общем формальный, но не в смысле парадигмы словоизменения. В соответствии с этим критерием местоимения и объединяются в один разряд слов и одновременно подразделяются на три группы: 1) субстантивные, т. е. «местоимения-существительные», типа «я», «ты», «она», «вы», «вы» (вежливое) (литов. *tamsta*) и т. д.; 2) адъективные, т. е. местоимения-прилагательные, типа «такой», «иной», «всякий», «никакой», «какой-то» и т. д.; здесь вводится дополнительный критерий «формальности» в морфологическом (недистрибутивном) смысле, ср.: «к адъективным относятся м е с т о и м е н и я с с у ф ф и к с о м -oks, -ia: tóks, -ià „такой, -ая“» (с. 158; разрядка наша.— *Б. Т.*, *С. Ю.*) и т. д.; 3) «остальные местоимения являются субстантивно-адъективными»: типа «тот, та» (*tas*, *ta*), «который, -ая» (*katras*, *katra*), «каждый» (*kiekvienas*), «мой» (*manasis*, *maniskis*) и т. д.

Далее вводится раздел «Разряды местоимений» (но ведь о «разрядах» шла речь и выше?): «по характеру указания предметов и признаков местоимения подразделяются на 7 разрядов: 1) личные, 2) возвратные, 3) притяжательные, 4) указательные, 5) вопросительно-относительные, 6) неопределенные, 7) определительные; некоторые местоимения являются членами нескольких разрядов» (с. 161). Этот раздел в целом написан очень содержательно, с тонкими семантическими наблюдениями, весьма полезными для читателя-нелитовца. Слово *pats*, употребляемое довольно схоже с русским *сам*, выполняет различные функции, но, например, его употребления в сочетаниях русск. *в самой середине комнаты*, *самый лучший* (вполне аналогично в литовском) вряд ли можно, во всяком случае, без специальных оговорок, назвать местоименными функциями. Возражение, впрочем, другого порядка — с точки зрения удобства использования «Грам-

матики» — может вызвать и помещение местоимений типа «никто», «никакой» в разряд «отрицательно-обобщенных», и далее — в разряд «неопределенных», их «потопление» в этих разрядах: трудно будет отыскать столь обычные и употребительные слова под столь обобщающими и «укрывающими» заголовками. Уже наличие в общем разряде «Неопределенные местоимения» частного разряда «собственно неопределенных» говорит о том, что «никто» и подоб. являются «несобственно неопределенными», а всякий термин «несобственно что-то» несет в себе contradicto in adjecto. Возможно, термин (и разряд) «отрицательные» с каким-либо дополнительным определением был бы более подходящим. К тому же отрицательные местоимения в предложении связаны с отрицанием в предикате (*niekas ne*... «никто не...»), и тем самым, вообще говоря, покоятся не на семантическом, а на синтаксическом (или семантико-синтаксическом) основании.

В обоих этих последних замечаниях мы хотели бы подчеркнуть еще один необходимый для теоретической «Грамматики» принцип — удобство «упаковки», которая должна отвечать интуитивно ясным критериям и запросам пользователя.

Два конкретных замечания о разделе «Местоимения» с точки зрения индоевропеистов. Слово *tūlas*, *-a* не вполне удачно передается в обобщенном переводе русским «частый» (может быть, лучше было бы «многие» с соответствующей синтаксической пометой). Речь скорее должна идти об особом явлении индоевропейских языков — о так называемом «множественном числе в форме единственного». Точнее это явление, следовало бы, по-видимому, назвать «дистрибутивным множественным числом». Аналогами литов. *tūlas* являются франц. *maint*, *-e*, например, *en mainte occasion* (ед. ч.!) «в ряде случаев, во многих случаях», англ. *many*, например, *to give rise to many an idea* «породить многие идеи» и т. п. Перевод *tūlas* как «частый» возник, вероятно, из-за того, что по-литовски вместо этого слова может употребляться прилагательное *dažnas*, букв. «частый, часто встречающийся», но здесь речь идет об идиоматике литовского языка, которая не может служить основанием для перевода (ср. русск. *Он у нас частый гость — редкий гость*; однако *Редкая птица долетит до середины Днепра*, но не **Частая птица долетит*...).

Глава «Местоимения» заканчивается разделом «Склонение и акцентуация местоимений»,— где торжествует, наконец, третий критерий,— «формальный» в традиционном смысле: местоимения склоняются и акцентуируются (по крайней мере, частично) отлично от существительных и прилагательных, и классифицируются здесь по этому основанию. Этот раздел написан также удачно.

Представляется оправданным включение в парадигму местоимений *aš* «я», *tu* «ты», *savęs* «себя», *kas* «кто/что», *kažkas* «кто-то/что/то» форм *mano* «мой», *tavo* «твой», *savo* «свой», *kieno* «чей», *kažkieno* «чей-то» и подоб., нередко трактуемых как особые «несклоняемые притяжательные местоимения-прилагательные». Неудачен только способ репрезентации этих форм в таблице склонения (см. с. 173), в соответствии с которым формы *manęs* «меня» и *mano* «мой», *tavęs* «тебя» и *tavo* «твой», *savęs* «себя» и *savo* «свой» оказываются представленными как варианты единого падежа — родительного. Ссылка на «дополнительную дистрибуцию» (с. 162) едва ли уместна. В том смысле, какой имеют в виду авторы (ср. комментарии на с. 162), почти все падежи «дополнительно распределены» в отношении друг друга (они обычно выступают в разных семантико-синтаксических контекстах). Поэтому и в данном случае это два разных падежа: «родительный I» и «родительный II» или «родительный» и «посессивный» или что-либо подоб. (см. подробнее [4]).

В некоторых деталях в разделе о местоимениях дает себя знать преувеличенный «морфологизм», проявляющийся, впрочем, и во многих других местах «Грамматики». Так, например, говорится, что местоимение *savęs* «себя» «не имеет формы им. п. ед. ч. и форм мн. ч.» (с. 173; см. также с. 162). Однако отсутствие им. падежа и отсутствие форм мн. числа — разные вещи. В первом случае мы имеем дело с закономерным отсутствием, естественным для местоимения, не употребляющимся в функции подлежащего, во втором — следует, скорее, говорить о неразличении числовых форм у возвратного местоимения или же об употреблении в той и другой функциях форм с внешними признаками ед. числа. Иначе трудно описать сочетаемостные свойства возвратного местоимения — например, возможность его употребления в контекстах, предполагающих «множественность» (ср., скажем, возможность сочетания с предлогом *tarp* «между, среди», требующим в силу своей семантики субстантивов в форме мн. числа: *Jie tyliai šnekėjosi tarp savęs* «Они тихо разговаривали между собой» и т. п.).

Большим достоинством этого раздела, как и всей книги, является новшество: все разделы о склонениях и акцентуации во всех главах и соответственно всех частях речи выдержаны, по возможности, по единому принципу (что отчасти оговорено и в «Предисловии», с. 6—7). Это существенно облегчает столь трудный вопрос для читателя-нелитовца. Отметим один недосмотр в этой части: женский род местоимения *šitas* «этот» — *šita* приводится с двумя различными ударениями, без оговорок,— на с. 158, 159 с корневым ударением, на с. 178 в табл.— с двумя ударениями — на корне и на окончании. (О проблеме рода местоимений см. ниже.)

*

Весьма нетривиальной проблемой грамматического описания литовского языка является проблема грамматического рода. Сложность и одновременно теоретический интерес этой проблемы связаны, в частности, с тем, что существительные литовского языка не знают среднего рода (как продолжение индоевропейского среднего рода эта категория в литовском утрачена), тогда как в адъективной сфере различаются три формы: кроме согласуемых с существительными прилагательных (и причастий) муж. и жен. рода, есть еще особая неатрибутивная форма, встречающаяся, главным образом, в безлично-предикативном употреблении (например, *Ten šviesu* «Там светло», *Man šalta*» «Мне холодно», *Čia žvirblio tupėta* «Здесь воробьем сижено», т. е. «Воробей сидел»). Эту форму [иногда встречающуюся в позиции сказуемого при подлежащем, выраженном существительным муж. или жен. рода: *Siūloma prekė — nebrangu* «Предлагаемый товар — недорого»: *Galva galvai neligu* «Голова голове рознь (букв. неравно)»; *Sveikam ir botagas sveika* «Здоровому и кнут полезно»] авторы «Грамматики» квалифицируют как форму среднего рода прилагательного. Такое решение (принятое и в Академической грамматике литовского языка) подвергалось критике на том основании, что оно заставляет отказаться от общепринятого представления о зависимом характере адъективного рода (см. [1, с. 35—36, примеч. 24; 2]). Однако ряд исследований А. Валецкене (одного из авторов рассматриваемой «Грамматики») показал (см. прежде всего [3]), что факты литовского языка все же дают основание считать неатрибутивный адъектив (хотя и с определенными оговорками) согласуемой формой прилагательного, а встречающиеся в независимом употреблении формы отождествлять с ними на основе формального совпадения — точно так же, как это обычно делается в отношении безличных глаголов, формально совпадающих с глагольными формами 3-го лица.

Так, субстантивные местоимения *tai* «то», *šita(i)* «это», *visa* «все», *viena* «одно», *kita* «другое» отличаются от местоимений *tas*, *ta* «тот, та», *šitas*, *-a* «этот, эта», *vienas*, *-a* «один, одна», *kitas*, *-a* «другой, -ая», в частности, по своим согласовательным свойствам (ср.: *Čia man visa gražu* «Здесь для меня все красиво»— в отличие от *Jis visas gražus* «Он весь красивый», *Ji visa graži* «Она вся красивая»). Ср. также предложения вроде: *Saldu — gardu* «(Что) сладко — (то) вкусно»; *Raudona — gražu* «Красно(е) — красиво», в которых, по словам авторов, «согласуются между собой» формы среднего рода (прилагательных), «одна из которых выступает в качестве подлежащего, а другая — в качестве сказуемого» (с. 116). Заметим, что в подобных случаях, быть может, было бы более корректно считать, что в позиции подлежащего выступают не формы среднего рода прилагательных, которые «довольно часто употребляются субстантивно в функциях именительного, винительного и (иногда) родительного падежей» (с. 115), а отадъективное существительное среднего рода. Это позволило бы с бо́льшим основанием говорить о существовании в литовском языке субстантивов (местоименного или адъективного происхождения), составляющих особый согласовательный класс, отличный от мужского и женского родов,— т. е. о некоторых остатках субстантивного среднего рода.

Различную трактовку допускают существительные так называемого общего рода (типа *akìplėša* «нахал, -ка», *dabità* «щеголь, -иха», *kūtvėla* «неряха»): они могут быть отнесены к особому, «скрещенному» согласовательному классу, т. е. могут трактоваться как не имеющие фиксированного значения пола и, соответственно, синтаксического рода — в этом случае их сочетаемостные особенности могут описываться в терминах так называемого «семантического согласования». Либо они могут быть расщеплены на две омонимичные лексемы — муж. и жен. рода — в этом случае их сочетаемость не будет отличаться от сочетаемости «обычных» существительных. Заметим, что выбор авторов «Грамматики» остается не вполне ясным. С одной стороны, встречаются такие утверждения: «Отнесенность существительных т. наз. общего рода к лицам мужского или женского пола выявляется по синтаксической сочетаемости данных существительных: Juozas Miliulis buvo tikras nepaséda, nenuorama „Юозас Милюлис был настоящий непоседа, егоза“» (с. 85); «С существительными обоих родов сочетаются существительные общего рода» (с. 513). Такие формулировки (как и само выделение группы существительных «общего рода»— впрочем, авторы указывают, что название условно), как будто, соответствуют первому решению. С другой стороны, встречаются и формулировки иного типа: «Род таких существительных выражается синтаксически (формами согласуемых слов), ср. tìkras nenúorama „настоящий непоседа“ — муж. р., tikrà nenúorama „настоящая непоседа“ — жен. р.» (с. 84). Подобный способ выражения указывает на выбор второго решения: он предполагает, что мы имеем здесь дело с разными лексемами,— ведь субстантивный род (независимо от способов внешнего выражения) — это словарная характеристика лексемы (как считают и авторы «Грамматики», признающие род существительного классификационной грамматической категорией).

Обратим внимание на то, что аналогичная проблема выбора между альтернативными способами описания встает и в отношении категории рода в сфере субстантивных местоимений. Личные местоимения *aš* «я», *tu* «ты», *mes* «мы», *jūs* «вы» по своим сочетаемостным особенностям вполне сходны с существительными «общего рода» (с той разницей, что местоимения редко вступают в атрибутивную связь). Более сложны правила согласования у вопросительных, неопределенных и отрицательных местоимений типа

kas «кто» или «что», *kažkas* «кто-то» или «что-то» и подоб. И та и другая группы местоимений причисляются в «Грамматике» к разряду «неродовых». Таким образом, выбирается способ описания, соответствующий — содержательно, хотя и не терминологически — первому из упомянутых выше в связи с существительными «общего рода» решений. Не останавливаясь на вопросе об оправданности данного терминологического выбора (личные местоимения 1-го и 2-го лица с неменьшим успехом могли бы называться, например, двуродовыми, а вопросительные и неопределенные местоимения, быть может, следовало бы все же расщепить на две квазиомонимичные лексемы со значением лица и не-лица — см. [4]), отметим очевидную несуразность такой формулировки, как: «Неопределенные неродовые местоимения (обычно в форме им. или вин. п.) образуют словосочетания с прилагательными муж. р., согласуясь с ними в роде и числе; наряду с последними употребляются и синонимичные им формы сред. р.» (с. 525) — здесь снова проявляется преувеличенный «морфологизм», о котором уже говорилось выше: местоимения, о которых идет речь, обладают внешними (морфологическими) признаками муж. рода.

Еще один пример различия в трактовке категории рода у существительных, с одной стороны, и субстантивных местоимений — с другой (различия, мотивированность которого не является непосредственно очевидной) дает принятая в «Грамматике» интерпретация местоимений 3-го лица *jis* «он», *ji* «она», *jie* «они», *jos* «онѣ» и так называемых «substantiva mobilia» типа *darbininkas* «работник», *darbininkė* «работница», *daktaras* «врач», *daktarė* «женщина-врач», *poetas* «поэт» — *poetė* «поэтесса» и т. п. (подобные пары весьма распространены в сфере названий лиц). Их «родовые особенности» (морфологический способ выражения и сочетаемостные свойства — та или другая родовая форма выбирается в зависимости от пола обозначаемого лица или грамматического рода антецедента) обнаруживают существенное сходство. Однако «подвижные существительные» трактуются в «Грамматике» как разные лексемы, а местоимения *jis* — *ji* как словоизменительные формы одной лексемы. Несмотря на то, что отношения между существительными типа *darbininkas* — *darbininkė* достаточно сходны со словоизменительными, отказ от их лексематического отождествления представляется вполне оправданным (см., например, обсуждение этого вопроса в [1, с. 33]). Не следовало бы считать и местоимения 3-го лица разными лексемами? [Заметим, что способ подачи данных местоимений в «Грамматике» (*jis* «он», *ji* «она» или *jis*, *ji* «он, она», а не просто *jis* «он», как это принято, когда речь идет о словоформе, представляющей одну лексему) соответствует именно такой интерпретации.]

Последнее соображение, которое мы позволим себе высказать в связи с категорией рода, касается исчисляемых «pluralia tantum. Признание субстантивного рода категорией, отражающей согласовательные свойства существительного (с. 80), на наш взгляд, ведет к необходимости выделять эти существительные в качестве особых согласовательных классов — их можно было бы условно назвать, например, «парный мужской род» и «парный женский род». Это нетрадиционное решение диктуется тем обстоятельством, что слова типа *metai* мн. ч. «год» (*metas* ед. ч. «время; время года, сезон»), *žirklės* «ножницы» сочетаются с особыми формами числительных-атрибутов (с так называемыми «множественными числительными» — *Jau ketveri metai*, *kaip jis jį bematęs* «Уже четыре (букв. четверо) года, как он его не видел»; *Vakar dvejas žirkles turėjau* «Вчера у меня было двое ножниц». Существенно, что противопоставление «обычных» («основных», по терминологии авторов) числительных типа *vienas*, *-a* «один, одна», *du*, *dvi* «два, две»...

. . ., *devyni*, *devynios* «девять» «множественным числительным» типа *vieni*, *-os* (*vienieri*, *-ios*) «одни», *dveji*, *dvejos* «двое». . . *devyneri*, *devynerios* «девятеро» отражает т о л ь к о их различные сочетаемостные свойства (в отличие от сходного, но не тождественного противопоставления внутри числительных в русском языке — ср. [5]): рассматриваемое формальное различие числительных-атрибутов связано лишь со способностью выступать в роли согласованного определения при существительных разных классов — 1) при существительных, имеющих морфологически различные формы единственного и множественного числа, и 2) при существительных, имеющих омонимичные формы обоих чисел (т. е. при исчисляемых pluralia tantum). Это обстоятельство должно было бы привести к лексематическому отождествлению «множественных числительных» с соответствующими «основными числительными (ср. иное решение, принимаемое в «Грамматике» на с. 143) и тем самым к признанию особого статуса «множественных числительных» по сравнению с «собирательными» (типа *dvejetas* «двое, двойка», *devynetas* «девятеро, девятка») и «дробными числительными» (типа *viena septintoji* «одна седьмая»). Если собирательные и дробные числительные представляют собой особые лексемы, то «множественные числительные» следует считать специальными согласовательными формами соответствующих основных числительных.

Из мелких замечаний, связанных с категорией рода, отметим недостаточность формулировки, согласно которой «род прилагательных, соотносимых с местоимениями àš „я“, tù „ты“, mẽs „мы“, jũs „вы“ . . . зависит от пола лица или другого живого существа, указанных при помощи вышеупомянутых местоимений» (с. 159—160). Если учитывать возможность персонификации, то данная формулировка должна быть дополнена следующим образом: «. . .или от грамматического рода предметных существительных, кореферентных местоимению». Ср. пример, приводимый [без соответствующих («согласовательных») комментариев] в другом месте «Грамматики»: «Tėvynės dainos, *jūs* malonios, taip širdį žadinat saldžiai: „Песни родины, вы так милы, так сладко сердце тревожите!“» (с. 161), где местоимение *jūs* относится к предмету грамматического женского рода.

*

В разделах, посвященных г л а г о л у, убедительно раскрывается внутренняя логика организации глагольной системы. Каждый раздел предваряется вводными параграфами, дающими представление о структуре морфологических глагольных грамматических категорий. Здесь определяются дифференциальные признаки каждой категории и устанавливается иерархия оппозиций, в частности — внутри категорий лица, времени и наклонения, обладающих двух- или трехступенчатой структурой.

Убедительным представляется решение дискуссионного вопроса о составе категории наклонения, о парадигматическом статусе конструкций, состоящих из вспомогательного глагола и причастия (действительного и страдательного залогов),— авторы включают их в глагольную парадигму в качестве аналитических форм. Принятые в «Грамматике» решения не только обоснованы предварительными исследованиями (в особенности самих авторов — В. Амбразаса, Н. Слижене и др.), но и, по-видимому, мотивированы нормализаторской тенденцией «Грамматики», стремлением предложить определенный четкий вариант упорядочения не вполне устоявшихся явлений живого литовского языка.

П р о б л е м а н а к л о н е н и я. Значительный теоретический ин-

терес представляет предложенное в «Грамматике» новое освещение вопроса о составе категории наклонения. Помимо выделяемых всеми грамматистами изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений, в «Грамматике» особым наклонением признается и так называемое «косвенное наклонение» (modus relativus). Наоборот, в отличие от некоторых описаний не признается особый статус «желательного наклонения», объединяемого здесь с императивом.

Основным формальным критерием отграничения форм «косвенного наклонения» от сложных (аналитических) форм изъявительного наклонения является обязательное отсутствие личной формы вспомогательного глагола *būti* «быть» [в роли вспомогательного глагола сложных — перфектных («завершительных») и «начинательных» — форм глагола в «косвенном наклонении» выступают причастия от глагола *būti*]. Таким образом, своеобразие «косвенного наклонения» состоит, в частности, в том, что временные значения причастий (занимающих позицию verbi finiti) имеют непосредственный дейктический характер (они отсылают к моменту речи), тогда как аналогичные значения причастий, входящих в состав аналитических форм в парадигме изъявительного наклонения, выражают значения таксисного («относительного», по терминологии «Грамматики») характера (временная «двуплановость» аналитических форм убедительно показана в главах, написанных Н. Слижене).

Семантическое своеобразие «косвенного наклонения» состоит в особом значении, которое можно было бы назвать значением «отгораживания» (англ. hedging) — при помощи форм косвенного наклонения говорящий как бы снимает с себя ответственность за истинность сообщаемого (ср. также термины «заглазность», «наклонение неочевидности» и т. п.). Указанное употребление форм со значением «отгораживания» является, по-видимому, как общетипологической чертой (квазиуниверсалией), так и своеобразным явлением индоевропейских языков. Ср., с одной стороны, перфект «заглазного» значения (перфект «неочевидности») в современных иранских языках, то же в болгарском; употребление форм на *-rait* в современном французском (например, *L'auteur de l'ouvrage en question aurait assimilé deux phénomènes différents...* «Автор рассматриваемого труда, по-видимому, уравнял два различных явления...») и т. п. Ср. также, с другой стороны, и обратное — наличие особых глагольных форм со значением «удостоверительности» в мегрельском и некоторых других картвельских языках [6].

Заметим, что критические замечания некоторых исследователей по поводу выделения «косвенного наклонения», сводящиеся к тому, что оно «избыточно», так как соответствующее значение и без того выражается контекстом (и потому в большинстве случаев «косвенное наклонение» может быть без ущерба для смысла заменено изъявительным — об этой возможности упоминают и авторы «Грамматики»), не кажутся нам убедительными. Во-первых, такого рода «избыточность» вообще характерна для привативных грамматических оппозиций (немаркированный член грамматических оппозиций обычно способен выражать значение также и маркированного члена). Во-вторых, едва ли вполне соответствует действительности представление о том, что замена «косвенного наклонения» изъявительным всегда возможна без каких-либо смысловых потерь. Это представление опровергается, например, наблюдениями над языком газет, а также над научной прозой, в частности — над языком рецензий, когда излагаются «чужие» мысли. Во многих случаях с выбором причастной или финитной формы связано ощутимое противопоставление значения «отгораживания»

значению «солидарности». Ср., например, употребление соответствующих форм в «изъяснительных» придаточных предложениях следующего отрывка (сказуемое первого придаточного подчинено нефактивному — *buvo įsitikinę*, а сказуемое второго придаточного — фактивному предикату — *rodo*): *Pavyzdžiui, seniau visi buvo įsitikinę, kad germanų kalbos* ***turinčios*** *dinaminį kirtį, bet naujausi tyrinėjimai rodo, kad vokiečių ir anglų kirčiuotas skiemuo labiau* ***išsiskiria*** *tonu, negu intensivumu* «Например, раньше все были убеждены, что германские языки имеют (part. praes. act. fem. pl. от *turėti* «иметь») динамическое ударение, однако новейшие исследования показали, что ударный слог в немецком и английском выделяется (verbum finitum) скорее тоном, чем интенсивностью».

Существенно, что предикативные причастные формы выражают значение «отгораживания» и вне непосредственного подчинения предикату, указывающему на источник информации,— как во втором предложении следующего ниже отрывка: *Jo nuomone, veiksmo trukmė nieko bendra* ***neturinti*** *su veiksmažodžio veikslu. Svarbiausia* ***esą*** *tai, kad eigos veikslos veiksmažodžių veikmas yra procesas, o įvykio — ne procesas* «По его мнению, продолжительность действия ничего общего не имеет (букв. „не имеющая“) с видом глагола. Самое важное — это, мол, (букв. „будучи“) то, что действие глаголов несовершенного вида есть процесс, а совершенного — не процесс». Если употребление причастной формы в первом предложении действительно является в известном смысле «избыточным» (значение передачи чужого мнения выражается лексическими средствами — эксплицитным указанием на авторство: *Jo nuomone* «по его мнению»), то во втором предложении данное значение передается именно причастной формой *esą* «якобы» (букв. «будучи»); замена этой формы личным глаголом *yra* или нулевой связкой неизбежно привела бы к переосмыслению предложения, которое теперь выражало бы мнение самого говорящего. Ср. также: *Knygoje...reiškiama nuomonė, kad atematinės būsimojo laiko dviskaitos formos* ***esančios*** *senesnės, negu tematinės. Tos formos* ***virtusios*** *tematinėmis... dėl fonetinio -s' me virtimo i -sim ir vėlesnio -i- įvedimo i daugiskaitos antrąjį asmenį* «В книге ... выражается мнение, что атематические формы будущего времени двойств. числа являются [-будто бы] (part. praes. act. fem. plur. от *būti* „быть“) более древними, чем тематические. Эти формы превратились [-якобы] (part. praet. act. fem. plur. от *virtis* „превратиться“) в тематические из-за фонетического изменения *-s'me* в *-sim* и позднейшей вставки *-i-* во второе лицо двойственного числа». Если бы вместо предикативного причастия *virtusios* («будто бы превратились») была бы употреблена личная глагольная форма, последнее предложение могло бы восприниматься как выражение мнения автора.

Ср. еще следующие литовские примеры из сказок, где также значение цитатности («пересказочности») выражается автономными причастными формами в составе не придаточных, а самостоятельных предложений, не подчиненных глаголам говорения: *Karalius...prašė Žebrį lipti nuo žirgo ir sėsti karieton. Į vestuves* ***reikią*** *važiuoti drauge su karalaite* «Король... попросил Жебриса слезть с коня и сесть в карету. На свадьбу нужно [-мол] (прич. настр. вр. от *reikėti* «быть нужно») ехать вместе с принцессой» — употребление причастной, а не личной формы глагола выражает тот смысл, что убеждение в наличии такой необходимости принадлежит королю, а не рассказчику.

Po kelių dienų karalius vėl uždavė darbą. Dabar jos ***turinčios*** *iškepti gardžiausią ragaišį. Kuri* ***iškepsianti*** *tokį ragaišį, toji* ***būsianti*** *visų gražiausia, visų išmintingiausia* «Через несколько дней король опять задал работу.

Теперь *они* должны [-мол] испечь вкуснейший пирог. Которая испечет (-мол) такой пирог, та будет (-мол) самая красивая, самая умелая». «Цитатный» характер второго и третьего предложений этого отрывка также передается самими причастными формами независимо от контекста.

Важным свидетельством в пользу парадигматического статуса «косвенного наклонения» следует считать выявленную авторами и наглядно представленную в описании (см. табл. 9 на с. 232—233) коррелятивность временных и залоговых форм «косвенного наклонения» с соответствующими формами индикатива. Особенно существенное доказательство самостоятельности «косвенного наклонения» представляют формы настоящего и прошедшего многократного времени, выраженные автономными (предикативными) причастиями, никогда не употребляемыми в качестве полнозначной части сложного (аналитического) сказуемого. Ср. только что приведенный отрывок, в котором формы «косвенного наклонения» представлены причастиями буд. времени, а также следующий отрывок из сказки, где все предикативные формы представляют собой причастия прош. многократного времени: *Būdavusios kūdros, kur laumės plaudavusios drabužius ir pačios plaukydavusios. Mūsų protėviai laumių bijodavę. Jos turėdavusios geležinius nagus ir tais nagais sudraskudavusios žmones. Taip pat laumės mokėdavusios burti. Jeigu pirtis kūrendavę, visiems išsiprausus, ateidavusios laumės ir imdavusios pertis. Naktimis taip pat visi bijodavę laumių.* «Были [когда-то] пруды, в которых ведьмы полоскали одежду и сами плавали. Наши предки боялись ведьм. Они имели железные ногти и этими ногтями раздирали людей. Ведьмы умели также колдовать. Если топили баню, то, когда все искупаются, приходят, бывало, ведьмы и начинают париться. По ночам тоже все, бывало, боялись ведьм».

Предложенное в «Грамматике» решение вопроса о самостоятельном парадигматическом статусе, предикативно употребляемых причастий действ. залога следует считать, таким образом, вполне обоснованным.

Заметим, вместе с тем, что остался не вполне ясным вопрос о том, к какому наклонению принадлежат употребляемые в предикативной позиции (без вспомогательного глагола) страдательные причастные формы среднего рода типа тех, которые приводятся на с. 250, 251: *Mat, ir jų laikoma arklys* «Вишь, и они держат лошадь (букв. и [у н]их держимо лошадь)»; *Girdėt, jų bulvės kasama* «Как слышно, они картошку копают (букв. [у н]их картошка копаемо)»; *Sako, jų vogta* «Говорят, они крали (букв. [у н]их крадено)», а также: *Čia turbūt ir grybų esama* «Здесь, наверное, и грибы имеются (букв. грибов бываемо)»; *Čia šunio bėgta* «Здесь (видно) собака пробежала (букв. собаки бегано)» и т. п. Формальная характеристика «косвенного наклонения», предлагаемая авторами (см. с. 232, 316, 317), требует отнесения форм такого типа к изъявительному наклонению; это, однако, не очень согласуется со смысловой характеристикой данного типа употребления страдательных причастий (см. с. 251, а также с. 316, 317). [В Академической грамматике литовского языка рассматриваемое употребление относится к косвенному наклонению (t. II, p. 59).] Быть может, здесь следует говорить об эллипсисе действительного причастия вспомогательного глагола *būti* (соответственно, о возможной омонимии с формами страдательного залога изъявительного наклонения, являющимися результатом эллипсиса личной формы глагола *būti*)?

Такое решение оставило бы в силе предлагаемое в «Грамматике» определение, согласно которому основным формальным признаком косвенного наклонения являются действительные причастия, не сопровождаемые личной формой вспомогательного глагола.

Другое возможное решение состоит в том, чтобы видоизменить определение, т. е. считать, что признаком косвенного наклонения является обязательное отсутствие финитной формы глагола, иначе говоря — употребление причастия (действительного или страдательного) в позиции verbi finiti (для простых форм — это позиция спрягаемого глагола, для сложных — позиция вспомогательного глагола). (Это решение соответствовало бы интерпретации Й. Яблонскиса, который, как известно, говорил о соответствующем модальном значении вообще в связи с «языком причастий», не ограничиваясь только действительными причастиями.) Результатом было бы некоторое нарушение симметрии форм косвенного и изъявительного наклонений: в косвенном наклонении страдательными могли бы быть не только аналитические (сложные), но и простые формы. [Соответственно, следовало бы отказаться от представления о том, что «все простые времена относятся к действительному залогу» (с. 203).] Однако такая несимметричность имела бы естественное объяснение.

По-видимому, аналогичные соображения симметрии косвенного и изъявительного наклонений лежат в основе исключения из парадигмы косвенного наклонения (см. табл. 9) «начинательных» конструкций, выраженных формами действительных причастий настоящего времени с аффиксом be- (без вспомогательного глагола). Ср., однако, примеры, приведенные на с. 234 (в пунктах «в» и «г»): Ak, žiūrėk, ir tamsta jau *besuprantąs* lietuviškai «А гляди, и вы уже, оказывается, понимаете (букв. понимающий) по-литовски»; Po trijų dienų tėvai žiūri — visas žalčių pulkas *bešliuožiąs* į jų kiemą «Через три дня родители смотрят: целая стая ужей ползет (букв. ползущая) в их двор».

Предложенная выше модификация определения косвенного наклонения (с точки зрения способов выражения) относилась бы и к данному типу употребления, что представляется желательным по семантическим соображениям.

Иначе по сравнению с Академической грамматикой решается вопрос о так называемом желательном наклонении: в качестве особого наклонения оптатив не выделяется, а специальная (реликтовая) форма 3-го л. (*te-ein-ie*, *te-ger-ie*, *te-dar-ai*, *te-raš-ai*) включается в парадигму повелительного наклонения. [В Академической грамматике императив и оптатив рассматриваются как отдельные наклонения. В оптатив наряду с собственно «желательными» формами (с особой личной флексией) включаются и синонимичные формы 3-го л., представляющие собой преф. *te-* + форма 3-го л. с индикативным окончанием, а также «аналитические формы оптатива», т. е. сочетания частиц *tegul*, *te* с формами глагола в наст. времени индикатива].

Предложенное в рецензируемой «Грамматике» решение представляется вполне оправданным: формы императива и формы оптатива находятся в дополнительном распределении — «традиционный» императив имеет формы 2-го л. ед. ч., 2-го л. мн. ч. и 1-го л. мн. ч. («совместное»), а так называемый оптатив — только форму 3-го л. Таким образом, объединение заполняет «пустые клетки» в обеих парадигмах. Заметим, что «пустые клетки» были бы устранены вовсе, если бы получили признание «аналитические оптативные формы» с частицами (префиксом) *tegul*, *te-* + форма с индикативным окончанием (ср., например, возможность употребления форм типа *tekęsiu* «пусть я буду страдать»); это, однако, привело бы к определенным трудностям, в частности — ввиду возможности совмещения значений «оптативности» («побудительности») и значений других наклонений.Ср. (с сослаг. накл.): *Ar ne geriau būtų pavasariui atidėjus — at-*

siduso žmona.— Teapsiprastų vaikas «Не лучше было бы отложить до весны,— вздохнула жена.— Пусть бы привыкнул малыш» (Акад. гр., III, § 810); (и с «косвенным наклонением»): *Tegu ji einanti, kur norinti* «Пусть она идет-мол, куда хочет-мол».

Возможно, что именно случаи такого рода послужили причиной морфологического «аскетизма» авторов «Грамматики», заставившего их исключить из парадигмы императива формы с преф. *te-* но с индикативным окончанием.

Можно заметить, что другой вариант решения мог бы состоять в том, чтобы формы «косвенного наклонения» считать не наклонением, а другой категорией (например, «эвиденциальностью — об этом упоминают и сами авторы). Это было бы более целесообразно по некоторым соображениям (ср., в частности, трудности, с которыми сталкивается исследователь при описании системы наклонений в латышском языке, где возможно перекрещивание дебитива и «пересказывательного наклонения» в одной форме — ср. [7]).

Проблема глагольного вида. Нельзя, конечно, сказать, что абсолютно все сложные проблемы литовской (и общей?) грамматики получили в рецензируемом труде окончательное решение. По-прежнему требует углубленных исследований вопрос о статусе аспектуальных значений (категории вида?).

Конечно, этот упрек нельзя адресовать только литуанистам и тем более только авторам «Грамматики». Нерешенными вообще в лингвистике остаются многие кардинальные вопросы аспектологии. Неясно, прежде всего, что считать типичной моделью видовых отношений — такое, скажем, явление, как вид в русском и вообще в славянских языках (к тому же представленный несколькими существенно различными моделями), или такое, как вид в английском языке (с противопоставлением форм continuous и «простых» форм), или, наконец, вид как категорию предложения, существующую во многих языках помимо «русской» и «английской» моделей.

Нижеследующее представляет лишь отдельные заметки по некоторым моментам в освещении вида в «Грамматике».

Представленный в «Грамматике» материал дает основание для вывода о том, что категория вида славянского типа (т. е. признак, одно из значений которого обязательно выражается в произвольной форме любого глагола и при этом является одним и тем же для всех словоформ глагола определенного вида) в литовском языке отсутствует. В связи с этим устанавливаемое соотношение литовских терминов «eigos veikslas» (букв. «процессуальный вид») и «įvykio veikslas» (букв. «событийный вид») и русских терминов «несовершенный» и «совершенный» вид следует признать вводящим в заблуждение. (Быть может, было бы более уместно говорить о «процессных» и «событийных глаголах» как о соответствующих аспектуальных классах глаголов; вероятно, впрочем, потребовалась бы и более дробная классификация.)

Вызывает сомнения несколько декларативное утверждение, в соответствии с которым литовский вид отличается от русского тем, что первый представляет собой «семантико-словообразовательную категорию», а второй «словоизменительную» (ведь русский вид многие исследователи считают именно словообразовательной категорией; но вообще именно этот вопрос — в значительной мере носит терминологический характер).

Принятое в «Грамматике» терминоупотребление может вести к недоразумению. В ряде случаев остается неясным, что имеется в виду, например,

под «значением несовершенного вида». То, что выражается несовершенным видом в русском языке? Или «действие в его протекании, процесс» (с. 199)? Если последнее, то едва ли можно согласиться с тем, что глаголы типа *rasti* «найти / находить», *laimėti* «выиграть/выигрывать» могут выражать «значение несовершенного вида» (в только что указанном смысле): трудно представить себе «процесс нахождения» или «процесс выигрывания».

Для читателя, не владеющего литовским языком как родным, оказываются недостаточными и такие формулировки, как, например: «Это общее, хотя и не преобладающее значение начин[ательных] времен связано со значением аффикса *be-*, подчеркивающего продолжительность действия. Оно характерно для глаголов несоверш. вида» (с. 218). Означает ли последняя фраза, что названное значение присуще формам начинательных времен, когда они образованы от так называемых глаголов «несовершенного вида»? Или же речь идет об имперфективирующем воздействии афф. *be-*, меняющего событийное значение глаголов «совершенного вида» на процессуальное (как отмечается в некоторых аспектологических работах)? Ср. еще неясности в определении видовой принадлежности конкретных глаголов: на с. 200, например, глаголы типа *ateiti* «придти — приходить» относятся (если мы правильно понимаем авторов) к «двувидовым» глаголам, а на с. 245 однотипный глагол *atnešti* «принести — приносить» — к глаголам совершенного вида (при этом в последнем случае видовая характеристика, как будто, признается словарным, ингерентно присущим глагольной лексеме свойством).

Требуют мотивации утверждения об отсутствии регулярных морфологических средств выражения видовых значений в литовском языке (что отличает его, по мнению авторов, от русского) (с. 72). Этому, как будто, противоречит наличие противопоставлений типа *bùvo bepakỹlą* «вставали» — *bùvo pakìlę* «встали», *skaĩtė* «читал» — *bùvo skaĩtęs* «прочитал» (с. 202). Подобные противопоставления заслуживали бы более подробного освещения — беглых замечаний в конце § 277 явно недостаточно; следовало бы, в частности, более определенно сказать о видовой семантике форм так называемого прошедшего многократного времени — ср. с. 204, где говорится о «другом основании» противопоставления прошедшего многократного времени прошедшему однократному, но не сказано, что это — «аспектуальность». Такие противопоставления свидетельствуют о том, что выражение видовых значений в литовском даже в большей степени связано со словоизменением, чем в русском.

Следует заметить, что безоговорочное признание «вида» семантико-словообразовательной категорией ставит под сомнение правомерность употребления самого термина «вид» (в аспектологии, как известно, различают вид как грамматическую категорию и «способы действия», связанные с семантической или, в частном случае, словообразовательной классификацией.

*

Особую «метаграмматическую» проблему составляет отнесение некоторых групп форм (слов) либо к «грамматике», либо к «словарю» (см. замечания в начале настоящей статьи).

Так, например, оправданным представляется исключение из числа парадигматических глагольных форм (наклонения) сочетаний частиц *tegul*, *te* (или преф. *te-*) с различными глагольными формами, не имеющими специальных оптативных флексий (как в реликтовых формах «желательного наклонения», которые авторы «Грамматики» относят к парадигме

императива — об этом ниже). На первый взгляд, это решение кажется излишне морфологическим — почему бы не признать хотя бы формы 3-го л. с преф. *te-* и с индикативными флексиями равноправным вариантом форм с тем же префиксом, но с особыми «оптативными» окончаниями? Ведь те и другие формы вполне синонимичны (при этом последние значительно менее употребительны), а префиксы являются достаточно респектабельным способом образования грамматических форм. Однако признание преф. *te-* (и, тем более — частицы *te*(*gul*)) показателем оптативного (или повелительного) наклонения привело бы к трудностям при интерпретации форм, в которых этот показатель совмещается с показателями других наклонений (см. выше).

*

В заключение выскажем несколько более частных замечаний.

Несомненно ценным следует признать стремление авторов отмечать везде, где это возможно, коррелятивность грамматических классов с определенными семантическими или формальными характеристиками (удачны в этом отношении, например, §§ 101—106, описывающие связь субстантивного рода с семантикой одушевленных существительных, с принадлежностью существительного к определенной словоизменительной парадигме, а также с формальным обликом для несклоняемых существительных иноязычного происхождения). Однако способ подачи соответствующих сведений не всегда оптимален: иногда соответствующие характеристики вводятся непосредственно в определение, т. е. оказываются представленными как сущностные признаки, определяющие принадлежность к данному грамматическому классу — подобный modus dicendi вызывает возражения особенно в тех случаях, когда устанавливаемые связи не имеют абсолютного характера. К случаям такого рода относятся, например, замечания, открывающие §§ 106, 142 и др. Ср. начало § 106, посвященного существительным так называемого общего рода: «Отдельную группу образуют существительные, которые обозначают лиц мужского и женского пола по характерному для них негативному признаку» (с. 84). Очевидно, однако, что о с о б е н н о с т ь соответствующей группы существительных состоит прежде всего в том, что они допускают согласование по мужскому или женскому роду — в зависимости от пола обозначаемого лица (при этом можно сомневаться в том, что абсолютно все существительные «общего рода» обозначают «характерные признаки лиц», оцениваемые как негативные — ср., например, существительные типа *nausėda* «новосел,-ка», а также *žolėdra* «травоядное», *mėsėdra* «хищник» (букв. «мясоед»); ср. *maži berniukai dideli nenouramos* «Маленькие ребята — большие непоседы»; *...jis vis toks pat judrus, linksmas, nenuosėda* «он все такой же проворный, веселый, непоседа»; ср. также приводимый в § 812 (с. 513) пример существительного «общего рода» *kerplėša* (*ąžuolas, pušis*) «коряжистые дуб, сосна», противоречащий приведенному в § 106 определению).

Аналогичные сомнения вызывает следующее утверждение: «К разряду качественных относятся все прилагательные с основой на *a* и *u*, имеющие окончания *-as, -a, -us, -i* (gẽras, -a „хороший, -ая“, gražùs, -i „красивый, -ая“, laimìngas, -a „счастливый, -ая“), а также прилагательные с основой на ia, имеющие окончания -ias, -ià (žãlias, -ià „зеленый, -ая“)» (с. 113). Эта формулировка [как и даваемая ниже формулировка: «К разряду относительных прилагательных относятся прилагательные с основой на ia, имеющие окончания -is, -ė» (с. 113)] воспринимается как указание на при-

знаки, определяющие состав соответствующих классов, что, по-видимому, неверно. Так, например, прилагательные типа *pieniškas* «молочный», *mėsiškas* «мясной» (с основной на *a* и с окончаниями *-as*, *-a*), очевидно, должны быть отнесены к относительным, а не качественным прилагательным — ср. перечисляемые на с. 113 грамматические особенности, характеризующие качественные прилагательные, большинством из которых (6 из 7) прилагательные указанного типа не обладают [заметим, кстати, что пункт «г», в котором говорится о способности качественных прилагательных выступать в форме среднего рода (с. 113), нуждается в переформулировке — например, в указании на синтаксические функции, которые может выполнять форма ср. рода качественных, но не относительных прилагательных; в противном случае замечание об относительных прилагательных в конце с. 113 оказывается неточным из-за возможности примеров типа *Jis nieko pieniška*, *nieko mėsiška nevalgo* «Он ничего молочного (ср. р.), ничего мясного (ср. р.) не ест»].

Значительным достижением «Грамматики» являются разделы, посвященные фонологии, в частности — описанию правил фонологически и морфонологически обусловленных чередований. Некоторые из этих правил упоминаются повторно в разделах, посвященных словоизменению. Однако здесь они в ряде случаев сформулированы не лучшим образом. Например, в § 352 (с. 255) раздела о глагольном словоизменении говорится о замене *d*, *t* → *s* перед *t*. Однако данное правило следовало бы формулировать в более общем виде: замена зубных свистящими происходит не только перед *t* (т. е. в инфинитиве), но и вообще перед зубными (а если речь идет только о спряжении — то и перед любым согласным!), в частности, перед суф. *-dam-* полупричастия и суф. *-dav-* — прошедшего многократного времени: *vedu* — *vesdamas*, *vesdavo*.

В разделе, посвященном порядку слов (написанном в целом весьма удачно), некоторые сомнения вызывает трактовка предложения *Didžiausias kaimo turtas buvo žmonės* «Самым большим богатством [им. п.] деревни были люди» (с. 674). Здесь (если мы правильно понимаем авторов) первая именная группа квалифицируется не только как тема, но и как подлежащее («S»), а вторая именная группа (*žmonės* «люди») — не только как рема, но и как (именное) сказуемое («V»). С нашей точки зрения, бесспорной является только предлагаемая трактовка тема-рематической структуры данного предложения; что касается логико-синтаксической структуры, то соотношение здесь, скорее, обратное: *žmonės* («люди») представляет собой «S», а *didžiausias kaimo turtas* («самое большое богатство деревни») — «V». Это доказывается, между прочим, переводом данного предложения на русский язык, в котором именное сказуемое, в отличие от подлежащего, может выступать в форме творительного падежа (так, **Самое большое богатство деревни было людьми* аномально — ср. выше русский перевод литовского предложения с препозитивным творительным и постпозитивным именительным падежом).

Из терминологических замечаний можно упомянуть следующие.

Употребляемый во многих местах «Грамматики» термин «(не)отмеченный» (член оппозиции) является, вообще говоря, не очень удачным эквивалентом немецких терминов «merkmallos, merkmalhaltig», которые сами представляют собой перевод русск. «(бес)признаковый» (см. специальную статью Р. О. Якобсона о «круговороте терминов» в связи с русск. «(не)маркированный» — [8]). В русской лингвистической литературе в данном значении в настоящее время обычно употребляется именно этот последний термин. Термин «(не)отмеченный» чаще употребляется в смысле

«(не)грамматичный», а также «стилистически (не)нейтральный» (как в §§ 1094, 1097 «Грамматики»).

В некоторых (редких) случаях одно и то же явление называется разными терминами, а разные — одним и тем же термином. Так, например, различным образом используется термин «стандарт сравнения» в §§ 704 и 1123: в § 1123 «стандартом сравнения» называется тот член сравнительной конструкции, который указывает на предмет, с которым нечто сравнивается и который противопоставляется другому члену, указывающему на параметр, по которому проходит сравнение, называемому «критерием сравнения»; между тем в § 704 этот последний называется «стандартом сравнения».

Следует указать на досадную опечатку в примере из стихотворения Янониса: *Tekęsiu aš, o tu kentėti neturi! Te laimę aš viena matysiu tik sapne!* «Пусть буду страдать я, а ты страдать не должен! Пусть счастье я одна буду видеть только во сне!». Опечатка превратила форму *tekęsiu* (1-е л. буд. времени от глагола *kęsti* «страдать» с оптативным префиксом *te-*) в форму *tekėsiu* (1-е л. буд. времени от глагола *tekėti* «жениться, выходить замуж»), т. е. в беспрефиксальную форму другого глагола, лишенную соответствующего оптативного значения. Это привело (очевидно, в результате контаминации с прежним переводом неискаженной строчки Янониса) к грамматически неточному переводу формы *tekėsiu* «Пусть я выйду замуж...» (с. 226) вместо правильного «я выйду замуж...».

*

Возможность альтернативных решений, отмеченных для ряда случаев выше, разумеется, как уже было сказано в начале этой статьи, никоим образом не означает неприемлемость решений, предложенных в «Грамматике». Напротив, необходимо подчеркнуть именно возможность с о с у щ е с т в о в а н и я различных решений некоторых грамматических проблем.

«Грамматика литовского языка» — это подарок всем, кто использует литовский язык как предмет профессионального лингвистического интереса.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Булыгина Т. В.* Морфологическая структура слова в современном литовском литературном языке (в его письменной форме) // Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. М., 1970.
2. *Girdenis A., Žulys V.* // Kalbotyra. 1973. IX. 2 // Rec.: Lietuvių kalbos gramatika.
3. *Veleckienė A.* Lietuvių kalbos gramatinė sistema. Giminės kategorija. Vilnius, 1984.
4. *Булыгина Т. В.* По поводу трактовки «слабо дифференцированных падежей» в литовском склонении // Международный конгресс балтистов: Тез. докл. Вильнюс, 1985.
5. *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967. С. 87.
6. *Климов Г. А., Алексеев М. Е.* Типология кавказских языков. М., 1982. С. 157.
7. *Булыгина Т. В.* Грамматические оппозиции // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968. С. 216—217.
8. *Якобсон Р. О.* Круговорот лингвистических терминов // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

АБАЕВ В. И.

Parerga 3

К СЕМАНТИКЕ ГЛАГОЛОВ С ОСНОВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ «ДЕЛАТЬ»

В глагольной лексике самых различных языков выделяется группа глаголов, которые, занимая важное место в словаре, в то же время используются также для выражения тех или иных грамматических значений: временных, видовых, залоговых, модальных. Так как они «помогают» выражать эти значения, то в школьной грамматике они так и называются «вспомогательными».

Таков, прежде всего, глагол «быть», verbum substantivum. Его «вспомогательные» грамматические функции многообразны и универсальны.

Из других глаголов, обслуживающих и лексику, и грамматику, отметим некоторые.

«Становиться»; например, нем. *werden* в перифрастических формах будущего времени, перс. *šudan* [1] в формах пассива.

«Иметь»; например, использование соответствующих глаголов для образования форм прошедшего времени в романских и германских языках.

«Хотеть»; используется в некоторых языках для образования форм будущего времени; например, перс. *xāstan*, англ. *to will*.

К числу таких многофункциональных глаголов, без которых не обойтись ни в лексике, ни в грамматике, относятся в ряде языков глаголы с основным значением «делать»: англ. *to do*, нем. *tun*, франц. *faire*, перс. *kardan*, осет. *kænyn* (прош. вр. *kodta* «он делал»), тюрк. *et-*(*ät-*), груз. *kmna* (*kna*). Эти глаголы означают «делание» в самом общем значении. Параллельно в этих языках имеются глаголы для более конкретного «делания»: «изготовлять», «выделывать», также «сооружать, строить» и т.п. Так, в английском рядом с *to do* имеем *to make*, в немецком рядом с *tun* — *machen*, в персидском рядом с *kardan* — *sāxtan*, в осетинском рядом с *kænyn* — *arazyn*, в грузинском рядом с *kna* — *k'eteba*.

Благодаря широкому семантическому полю, присущему глаголам «делания» первого ряда, они используются в весьма разнообразных, часто неожиданных лексических и грамматических значениях.

Ниже мы попытаемся показать сперва, какие лексические значения и нюансы присущи глаголам с основной семантикой «делания», а потом остановиться на их использовании в грамматике.

---

[1] Персидские слова здесь и далее даются, как правило, в фонетическом облике классического (а не современного) персидского литературного языка.

Лексические значения [2]

«Делать» — «делаться, случиться, становиться».

Если вы хотите по-осетински спросить «что ты делаешь»? («чем ты занят?»), нельзя сказать *cy kænys*? Надо сказать *cy mi kænys*? «какое дело делаешь?»; как в английском нельзя сказать *what do you*?, а надо *what do you do*? Вопрос *cy kænys*? будет понят в осетинском не как «что делаешь?», а «что с тобой?» или «чего тебе?». Осет. *kænyn* в значении «делаться» весьма обычно: *bon kæny* «светает» («наступает день»), *æntæf kæny* «становится жарко», *talyng kæny* «темнеет», *dymgæ kæny* «ветрено»; ср. франц. *il se fait jour, il se fait chaud, il se fait sombre, il fait du vent*; осет. *ci kænuj cuma me 'lxujnæ, ku næbal zeluj zæbæx*? «что (случилось) с моим веретеном, оно больше не вертится исправно» (из стихотворения Г. Малиева); *uj læg kænzæn* «он станет мужчиной» (из нартовских сказаний).

«Делать» — «творить». Эти два близких значения совмещаются в одном глаголе во многих языках. Так, ст.-сл. *tvoriti* означало «делать» вообще. Например, в переводе Евангелия: «*Что ми зовете: Господи! Господи! и не творите яже глаголю*». Да и в современном русском такие выражения, как *творить добро, что ты натворил*! идентичны по смыслу с *делать добро, что ты наделал*! Ср. также груз. *kmnili* «творение», *mkmneli* «творец» от *kmna* «делать», осет. *ys-kænyn* «сотворить» (*me'skænæg Хисаw* «сотворивший меня Бог», из молитвенной формулы), армян. *anel* «делать, создавать, творить».

«Делать» — «причинять». Ср. англ. *to do*, нем. *tun* в этом значении; нем. *es tut mir Leid* = осет. *uj myn mast kæny* «это причиняет мне горе», лат. *dolorem facit*, перс. *bi man dard mīkunad*.

«Делать» — «значить, иметь значение», Ср. франц. *cela ne fait rien*, нем. *das tut nichts*, осет. *uj nicy kæny* «ничего не значит», букв. «это ничего не делает».

«Делать» — «принимать вид, притворяться». Ср. осет. *jæxi aftæ akodta, cyma nicy wydi* «он сделал вид («сделал себя»), как будто не при чем», лат. *se aliquis facere* «выдавать себя за другого», русск. *при-творяться* (от *творить*).

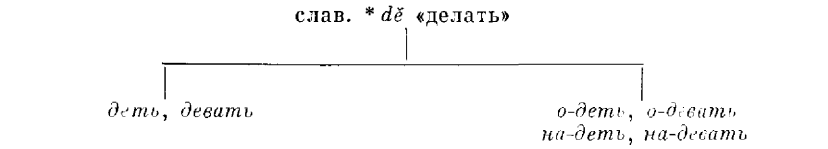
«Делать» — «деть, девать». Это семантическое развитие в славянском лежит на поверхности. Русск. *деть* восходит к славянской базе **dě-* «делать». Отсюда такие производные, как *дело, деяние, действие, содеять* и пр. [1]. Использование глагола «делать» в значении «девать» мы найдем в самых различных, в том числе неродственных, языках: французском (*faire*), немецком (*hin-tun*), грузинском, тюркских, осетинском. Приведем для иллюстрации одну ««дежурную» фразу на этих языках («куда ты дел книгу?»): франц. *qu' as tu fait de livre*? (от *faire* «делать»), груз. *c'igni ra keni*? (*keni* от *kna* «делать»), балкар. *sen kitabnə ne etding*? (*etding* от *et-* «делать»). осет. *činyg cy fæ-kodtaj*? (*kodtaj* от *kænyn* «делать»). Ср. еще анатол. тур. *pala kaida edezin*? «куда ты девал ребенка?» [2, с. 838]. На иранской почве это значение распознается с древнейших времен. В Авесте богиня Арти восклицает: *kuϑa hiš azəm kərənavāni*? *asmanəm avi frašusāni, zəm avi ni-urvisyāni*? «куда я денусь? подымусь ли в небо или спущусь на землю?» Здесь *kərənavāni* — конъюнктив от *kar-* «делать» и *kuϑa kərənavāni* следует переводить «куда денусь», а не «что я буду делать», как

---

[2] В полисемии глаголов большую роль играют п р е в е р б ы. Они часто весьма капризным и неожиданным образом меняют значение базового глагола. Некоторые значения реализуются только с определенными, а не с любыми превербами. Богатым набором превербов располагает осетинский язык: *a-*, *ær-*, *ærba-*, *ba-*, *fæ-*, *ny-*, *(y)s-*.

обычно переводят. Ср. осет. *mæxi cy fækænon*? «куда мне деваться?». Ср. перс. *kitābrā kuǰā kardī*? «куда ты дел книгу?».

«Делать» — «одевать». Не вызывает сомнения, что *деть*, *девать*, с одной стороны, и *о-деть*, *о-девать*, с другой,— один и тот же глагол, только снабженный во втором случае превербом *о-*. Но как связать значения? Только через славянскую базу **dĕ-* «делать»:



Ср. также литов. *dėvėti* «носить одежду». Полную параллель находим в осетинском, где *kænyn* «делать» означает также «одевать», «надевать»: *dæ gærztæ 's-kæn* «одень платье»; *jæ xud ær-kodta* «он надел шапку». Ср. еще англ. *to do on* «надевать».

«Делать» — «отворять». Ср. осет. *ba-kænyn* «отворить, открыть»: *dwar ba-kæn* «отвори дверь». Ср. англ. *to do open* «открывать». Берем на себя смелость высказать предположение, что слав. *otvoriti* получилось из **ot(o)tvoriti* и, стало быть, точно соответствует осет. *ba-kænyn*, англ. *to do open*: глагол *tvoriti* «делать» с превербом *ot-*. Обычно считают, что был глагол слав. **voriti*, с превербом *ot-* — *ot-voriti*. Затем, по неизвестной причине, произошло переразложение («falsche Zerlegung», «Dekomposition»): *ot-voriti* → *o-tvoriti*, откуда пошли по аналогии *za-tvoriti*, *za-tvorъ*, *pri-tvoriti*, *pri-tvorъ*, *raz-tvoriti*, *raz-tvorъ* и пр. Иными словами, ясно выделяемая в этих словах во всех славянских языках база **tvor-* не имеет будто бы никакого отношения к *tvoriti* «делать», а представляет своего рода обман зрения (ghost-word). При этом глагол **voriti*, который нигде не засвидетельствован и действительно является привидением, сопоставляется с литов. *vérti*, а *otvoriti* с литов. *atvérti* «открывать» [3, 4]. Указывают на русское диалектное *верать*. Но оно засвидетельствовано в следующих значениях: «плести, совать, прятать, шить наспех, кропать, копаться, толкать, ударять резкими движениями кого-л.» [5]. От этих значений до «отворять» — дистанция огромного размера. Но дело даже не в этом. Главное — «переразложение» *ot-voriti* → *o-tvoriti* совершенно неправдоподобно. Глагольные пары *отворить* — *затворить*, *открыть* — *закрыть*, *отпереть* — *запереть*, *ото-мкнуть*, *замкнуть*, *отчислить* — *зачислить*, *ото-двинуть* — *задвинуть* представляют системный ряд антонимов. Их антонимичность держится на оппозиции превербов *от-* ‖ *за-*, которые соотносятся между собой с железной необходимостью. Замена преверба *ot-* в *ot-voriti* превербом *o-* (*o-tvoriti*) разрушила бы эту четкую оппозицию *ot-* ‖ *za-*. Переразложение, в тех случаях, когда оно действительно имеет место, бывает продиктовано желанием сделать менее понятное более понятным, знакомым, более отвечающим этимологическому сознанию. Здесь же, если верить общепринятой этимологии, произошло нечто противоположное: единственно подходящий в данной оппозиции преверб *ot-* был заменен совершенно неподходящим *o-*. Остаются балтийские факты: литов- *atvérti*, лтш. *atvẽrt*, прусск. etwēre «открывать, отворять» [6]. Но и здесь нельзя не отметить, что простой (без преверба) глагол *vérti* в литовском означал «вдевать нитку в иголку, нанизывать, шнуровать, протыкать». Что касается значения «отворять», то оно возникло вторично под обратным влиянием *atvérti*. Таким образом, имеем, с одной стороны, одинокую в значении «отворять» балтийскую группу, с другой — весь славянский мир,

дружно указывающий на базу *tvor-, а не *vor-. Совсем как в известной шутке: вся рота идет не в ногу, только прапорщик идет в ногу. Естественнее думать, что значение «отворять» в балтийских словах не является исконным, а «выработалось» под влиянием славянского. Подобная семантическая интерференция между близкородственными языками — явление нередкое. Итак, если даже глагол *voriti в славянском когда-либо существовал (что не доказано), он мог только породить закономерную пару антонимов: *ot-voriti — za-voriti* и, далее, *pri-voriti, raz-voriti* и пр. Для «переразложения» *ot-voriti → o-tvoriti* и для появления форм *za-tvoriti, pri-tvoriti, raz-tvoriti* не было ни малейших оснований.

«Делать» — «говорить, сказывать» и т. п. «Давно обращено внимание на родство значений „*facere*" и „dicere" на слав. почве» [1]. Ср. латинское выражение *facere verba* «говорить» («делать слова»). Ст.-сл. *děti* означало не только «класть» и «делать», но также «говорить». Ср. словен. *dejati* «делать, говорить», чеш. *diti* «говорить, сказать». Далее, от той же базы **dhe-* хетт. *te-* «сказать» [7]. Осет. *kænyn* «делать» применяется к разным видам речевой активности и даже к пению: *gædy zyrdtæ cæmæn kænys?* «почему ты врешь?» («говоришь лживые слова») (из нартовских сказаний); *arǧaw myn ra-kæn* «расскажи мне сказку»; *kadæg kænyn* «исполнять эпическое сказание, сагу», *qaræg kænyn* «исполнять ритуальный плач по покойнику»; *dæ zaræg ra-kæ* «спой свою песню» (К. Хетагуров): *ra-kæn iw, ra-kæn jæ sağæs dæ qarædžy* «расскажи, расскажи о его горьких думах в твоем причитании» (К. Хетагуров), «*dæxi qaqqæ!*» *zæǧgæ fækodta* «берегись! — сказал он»; *mængæj n' a-kænync, sag jæ ræwædy næ mary* «не зря говорят, олень не убивает своего теленка»; *waʒæn aftæ a-kænync...* «как пословицу говорят...». Ср. франц. *nous voila tous réunis, fit il* «вот мы и все в сборе,— сказал (сделал) он».

«Делать» — «справлять тризну». Это значение отложилось в осетинском слове *kænd* «тризна», представляющем лексикализованное причастие от *kænyn* «делать», собственно «дело» par excellence [8]. Ср. греч. ὄργια «ритуальное действие», «посвящение», от и.-е. базы **werǵ-* «делать».

«Делать» (в определенных сочетаниях) — «пахать». Осет. *xum kænyn* «пахать» («делать пашню»), *xum-gænd* «пахотный участок»: *næ xumtæ kænddytæ* «наши поля вспаханы» (К. Хетагуров). Греч. ἔργον «дело» (от базы **werǵ-*) в определенном контексте получает значение «пахота, пашня».

«Делать» — «иметь нужду в ком-, в чем-л.» Осет. *cy mæ kænys?* «зачем я тебе нужен?» (букв. «что ты мною делаешь?»); *færætæj cy kænys?* «зачем тебе нужен топор (*færæt*)?».

«Делать» — «оценивать (продавая что-л.), запрашивать цену». Осет. *dæ bæx cas kænys?* «во сколько ты оцениваешь своего коня?». Ср. франц. *faire* «делать» в этом же значении: *faire un objet 20 francs* «запрашивать за вещь 20 франков» [3]. Ср. также тюрк. (анатол.) *etmek* «делать» в значении «стоить» [10; 2, с. 837].

«Делать» — «наливать, насыпать», осет. *don ær-kæn* «налей воды»; *ænqizgæ sæn zærond lalymty næ kænync* «не вливают вина молодого в мехи ветхие» (Матфей 9.17); *ssad golladžy nykkodta* «насыпал муку в мешок».

«Делать» — «отсекать, отрезать». Осет. *jæ sær yn ra-kodta* «отсек ему голову», *kæd mæ næ bafynæj kænaj, wæd dyn dæ ragæj ærtæ gærzy ra-kænʒynæn*

---

[3] Г. Рюдберг в обширной докторской диссертации, посвященной судьбе лат. *facere* в романских языках, скрупулезно прослеживает историю форм, не касаясь значений [9]. Не менее, а, может быть, более интересно и поучительно было бы осветить богатейшую семантическую жизнь этого глагола и его производных во всех романских языках. Но такой монографии, насколько мне известно, не существует.

«если ты меня не усыпишь, то я вырежу с твоей спины три ремня» (С. Гадиев); *ær-kodton omæn æ ǧos* «я отрезал ему ухо» (Т. Бесаев); *jæ k'uxy nyxtæ æmæ jæ k'axy nyxtæ kond kwy fæci Wyryzmæg...* «когда Урызмаг кончил стричь ногти на руках и ногах...» (из нартовских сказаний). Возможно, что здесь значение «отрезать» для *kænyn* возникло из сочетания *lyg kænyn* «делать отрезанным». В результате высокой частотности употребления слово *lyg* «отрезанный» стало выпадать и глагол *kænyn* сам по себе стал употребляться в значении «отрезать». Ср. ниже.

«Делать» — «вести». Такое развитие значения представляется странным и необычным. Но в осетинском оно документируется обильно и надежно. *Kædæm næ kænys*? «куда ты ведешь нас»; *axa'stony jæ ba-kodtoj* «его заключили в тюрьму»; *Nartæ wazdžyty a-kodtoj æxsæviwat kænyntmæ* «Нарты отвели гостей на ночлег» (из нартовских сказаний). Для объяснения семантического перехода «делать» — «вести» можно предложить такую догадку. Глагол *kænyn* используется для образования каузатива (побудительного залога). Например, *qusyn* «слышать», *qusyn kænyn* «давать знать», «оглашать» («заставлять слышать»). От *cæwyn* «идти» имеем *cæwyn kænyn* «заставлять идти» → «вести». Такое сочетание употреблялось так часто, что со временем *cæwyn* выпало и глагол *kænyn* сам стал означать «вести». Ср. выше *kænyn* «отрезать», возможно, из *lyg kænyn* «делать отрезанным». Выдающийся краковский лингвист Витольд Манчак в ряде работ показал, какое большое значение в истории языка имеет частотность употребления. Не только фонетический облик слов и морфология, но даже словосочетания и синтаксис подвержены разнообразным изменениям и упрощениям от частого употребления [11]. В свете подобных фактов упрощение сочетания *cæwyn kænyn* «заставлять идти» в *kænyn* в значении «вести» нельзя считать исключенным.

Грамматическое использование

Как мы говорили вначале, глаголы с основным значением «делать» в ряде языков весьма активны не только в лексике, но и грамматике. Приведем несколько примеров.

Каузатив (побудительный залог). В осетинском выражается сочетанием инфинитива глагола с *kænyn* «делать»: *xudyn* «смеяться», *xudyn kænyn* «смешить»; *badyn* «сидеть», *badyn kænyn* «усаживать»; *tasyn* «гнуться», *tasyn kænyn* «гнуть, сгибать»; *zonyn* «знать», *zonyn kænyn* «давать знать»; *zmælyn* «двигаться», *zmælyn kænyn* «двигать»; *kænyn kænyn* «заставлять делать». Совершенно также используется во французском глагол *faire* «делать»: *rire* «смеяться», *faire rire* «смешить»; *savoir* «знать», *faire savoir* «доводить до сведения»; *faire faire* = осет. *kænyn kænyn* «заставлять делать». В принципе такое употребление глагола «делать» в осетинском и французском можно было бы рассматривать как факт словаря, а не грамматики, а именно в список значений осет. *kænyn* и франц. *faire* ввести еще значение «заставлять» («усаживать» = «заставлять садиться» и т. д.). Но поскольку во многих языках каузативность выражается чисто морфологическими средствами (например, в древнеиранском и санскрите сильной ступенью корневого гласного плюс формант *-aya-*, в персидском формантом *-ān-*, в грузинском инфиксом *-in-*, в тюркских также различными формантами), то правомерно говорить о грамматическом использовании осет. *kænyn* и франц. *faire* как вспомогательных глаголов для образования каузатива. Мы как бы находимся в пограничной зоне между лексикой и грамматикой. В само́м осетинском древнеиранские каузативы легко рас-

познаются в глагольных парах; переходное значение связано с сильным гласным в корне, а непереходное — со слабым: *maryn* «убивать» (др.-иран. *mārayati* «убивает») — *mælyn* «умирать» (др.-иран. **maryate* «умирает»), *kalyn* «лить» — *kælyn* «литься», *tadzyn* «капать» — *tædzyn* «течь каплями», *arazyn* «делать» — *aræzyn* «устраиваться», *qusyn* «слышать» — *qwysyn* «слышаться», *æftawyn* «прибавлять» — *æftyn* «прибавляться», *tavyn* «греть» — *tæfsyn* «согреваться», *udajyn* «мочить» — *udæsyn* «мокнуть» и др. [12].

Составные глаголы. Имеется в виду, когда то или иное глагольное понятие выражается не простым глаголом, а сочетанием глагола «делать» с именем; скажем, понятие «думать» передается словами «делать думу» и т. п. Такие сочетания очень обычны в персидском, осетинском, отчасти в тюркских языках.

«Думать»: перс. *fikr kardan*, осет. *qwydy kænyn*, тур. *akəl etmek*.

«Благодарить»: перс. *šukr kardan*, осет. *arfæ kænyn*, тур. *rahmet etmek* [2, с. 839].

«Тратить»: перс. *xardž kardan*, осет. *xardz kænyn*, тур. *harc etmek*; ср. также франц. *faire les frais*.

«Сожалеть»: перс. *afsūs kardan*, осет. *fæsmon kænyn*, казан. татар. *təübə itü*.

«Возвышать»: перс. *bālā kardan*, осет. *styr kænyn*, тур. *ulu etmek*.

«Унижать»: перс. *past kardan*, осет. *nyllæg kænyn*.

«Уменьшать»: перс. *kamtar kardan*, осет. *k'attær kænyn*.

«Укорачивать»: перс. *kūtāh kardan*, осет. *cybyr kænyn*.

«Светить»: перс. *roušan kardan*, осет. *ruxs kænyn*.

«Сушить»: перс. *xušk kardan*, осет. *xus kænyn*.

«Точить»: перс. *tīz kardan*, осет. *cyrǧ kænyn*.

«Чистить»: перс. *pāk kardan*, осет. *syǧdæg kænyn*.

«Будить»: перс. *bīdār kardan*, осет. *qal kænyn*.

«Забывать»: перс. *farāmūš kardan*, осет. *rox kænyn*.

«Помогать»: перс. *imdād* (или *kumak*) *kardan*, осет. *æxxwys kænyn*.

«Удивляться»: перс. *hairat kardan*, осет. *dis kænyn*.

«Наполнять»: перс. *pur kardan*, осет. *dzag kænyn*.

«Потеть»: перс. *araq kardan*, осет. *xīd kænyn*.

«Плевать»: перс. *tuf kardan*, осет. *tu kænyn*.

«Соглашаться»: *qabūl kardan*, осет. *razy kænyn*.

«Готовить»: перс. *hāzer kardan*, осет. *cættæ kænyn*.

«Охотиться»: перс. *šikār kardan*, осет. *cwan kænyn*.

«Выходить замуж»: перс. *šouhar kardan*, осет. *moj kænyn* (букв. «делать мужа»).

«Охлаждать»: перс. *sard kardan*, осет. *wazal kænyn*.

«Греть»: перс. *garm kardan*, осет. *qarm kænyn*.

«Обнаруживать»: перс. *peydā kardan*, осет. *ærgom kænyn*.

«Спешить»: перс. *ta'džīl kardan*, осет. *taǧd kænyn*.

«Разрушать, разорять»: перс. *xarāb kardan*, осет. *pyrx kænyn*.

«Размельчать»: перс. *xurd kardan*, осет. *lystæg kænyn*.

«Обнажать»: перс. *berehne kardan*, осет. *gom kænyn*, *bæǧnæg kænyn*.

«Делить»: перс. *taqsīm kardan*, осет. *dīx kænyn*.

«Спать»: перс. *xāb kardan*, осет. *fynæj kænyn*.

«Исправлять, поправлять»: перс. *rāst kardan*, осет. *rast kænyn*.

«Душить»: перс. *xafa kardan*, осет. *xurx kænyn*.

«Учиться»: перс. *tahsīl kardan*, осет. *axwyr kænyn*.

«Пахнуть»: перс. *bū kardan*, осет. *tæf kænyn*.

«Плавить»: перс. *āb kardan*, осет. *don kænyn* («обращать в воду»).

«Замораживать»: перс. *yax kardan*, осет. *ix kænyn* («обращать в лед»).

«Лечить»: перс. *ʿalādž kardan*, *darmān kardan*, осет. *dzæbæx kænyn*, *xos kænyn*.

«Оценивать»: перс. *qeymat kardan*, осет. *arǧ kænyn*.

«Судить»: перс. *dāvarī kardan*, осет. *tærxon kænyn*.

«Печатать»: перс. *čāp kardan*, осет. *myxwyr kænyn*.

«Поселяться, обосновываться где-л.»: перс. *manzil kardan*, осет. *ærbynat kænyn*.

«Издеваться»: перс. *masxara kardan*, осет. *xyndžylæg kænyn*.

«Торговать»: перс. *soudā kardan*, осет. *bazar kænyn*.

«Отмечать»: перс. *nišān kardan*, осет. *nysan kænyn*.

«Смешивать»: перс. *maxlūt kardan*, осет. *xæccæ kænyn*.

«Собирать»: перс. *džam' kardan*, осет. *æmbyrd kænyn*.

«Пировать»: перс. *bazm kardan*, осет. *minas kænyn*.

«Мочить»: перс. *tar kardan*, осет. *xwylydz kænyn*.

«Плавать»: перс. *šinā kardan*, осет. *lenk kænyn*.

«Вредить»: перс. *zarar kardan*, осет. *zian kænyn*.

«Жертвовать»: перс. *qurbān kardan*, осет. *nyvond kænyn*.

«Сердиться»: перс. *qaxr kardan*, осет. *mæsty kænyn*.

«Жаловаться»: перс. *šikāyat kardan*, осет. *qast kænyn*.

«Лениться»: перс. *tanbalī kardan*, осет. *zivæg kænyn*.

«Прощать»: перс. *afv kardan*, осет. *xatyr kænyn*.

«Жалеть, сострадать»: перс. *rahm kardan*, осет. *tærīǧæd kænyn*.

«Протыкать»: перс. *sūrāx kardan*, осет. *xwynk' kænyn*.

«Чтить»: перс. *ihtirām kardan*, осет. *cyt kænyn*.

«Умолять»: перс. *iltimās kardan*, осет. *læxstæ kænyn*.

«Гулять»: перс. *gardiš kardan*, осет. *tezǧo* (*ozer*) *kænyn*.

«Обвинять, выдвигать обвинение»: перс. *daʿvā kardan*, осет. *daw kænyn*.

«Пахать»: перс. *šīyār kardan*, осет. *xwym kænyn*.

«Пачкать»: перс. *čerkīn kardan*, осет. *č'izi kænyn*.

«Ссориться, затевать свару»: перс. *γouγā kardan*, осет. *qawǧa kænyn*, *xyl kænyn*.

«Освобождать»: перс. *xalās kardan*, осет. *særibar kænyn*.

«Отделять»: перс. *džudā kardan*, осет. *xicæn kænyn*.

«Служить, прислуживать»: перс. *xidmat kardan*, осет. *læggad kænyn*.

«Растягивать»: перс. *dirāz kardan*, осет. *adarǧ kænyn*.

«Переводить (с одного языка на другой)»: перс. *tardžuma kardan*, осет. *tælmac kænyn*.

«Побеждать»: перс. *γalaba kardan*, осет. *wælaxīz kænyn*.

«Опорожнять»: перс. *xālī kardan*, осет. *ævdælon kænyn*.

«Скакать»: перс. *džoulān kardan*, осет. *duǧ kænyn*.

«Путешествовать»: перс. *safar kardan*, осет. *balc kænyn* (также *balcy cæwyn*).

Приведенный материал не претендует на исчерпывающую полноту. Но он дает представление о продуктивности данной модели и о далеко идущем параллелизме между персидским и осетинским.

Следует отметить, что обороты с *kardan* // *kænyn* имеют обычно переходное значение. Им соответствуют непереходные составные глаголы с перс. *šudan* «становиться», осет. *wyn* «быть»: перс. *dirāz kardan* «растягивать», *dirāz šudan* «растянуться», осет. *adarǧ kænyn* «растягивать», *adarǧ wyn* «растянуться». Ср. в тюркском. «Глагол *et-* „делать“ по своему значению антонимичен глаголу *bol-* „быть; стать; являться“. Если глагол *bol-*, как

связка при именном сказуемом выражает непереходное значение глагола, то глагол *et-* в сочетании с именем образует основу переходного глагола...» [13].

В числе сочетаний с «делать» выделяется особая группа, где именная часть представляет звукоподражание: «свистеть» — «делать свист» и т. п.

«Блеять»: перс. *baʿ-baʿkardan*, осет. *bæǧ-bæǧ kænyn*.

«Ворчать»: перс. *γur-γur kardan*, осет. *qwyr-qwyr kænyn*.

«Хрюкать»: перс. (диал.) *xur-xur kardan*, осет. *k'ox-k'ox kænyn*

«Ржать»: перс. *šayha kardan*, осет. *xwyrrytt kænyn*.

«Щебетать»: перс. *wīk-wīk* (*džik-džik*) *kardan*, осет. *c'iw-c'iw kænyn*.

«Жужжать»: перс. (диал.) *γing-γing kardan*, осет. *gwyz-gwyz* (*gwyv-gwyv*, *dyv-dyv*) *kænyn*.

«Пыхтеть»: перс. *puf-puf kardan*, осет. *pyf-pyf kænyn*.

«Храпеть»: перс. *xur-xur kardan*, осет. *xwyr-xwyr kænyn*.

«Хрипеть»: перс. *xir-xir kardan*, осет. *xyr-xyr kænyn*.

«Стучать»: перс. *taq-taq kardan*, осет. *gwypp-gwypp kænyn*; ср. также татар. *döp-döp itü* «то же».

«Лязгать»: перс. (диал.) *džarang-džurung kardan*, осет. *džyǧal-myǧul kænyn*.

«Скрипеть, скрежетать»: перс. *qiz-qiz kardan*, осет. *qys-qys kænyn* и мн. др.

Всего около 90 составных глаголов, образованных в персидском и осетинском по одной модели: имя плюс глагол «делать» (перс. *kardan*, осет. *kænyn*).

Первый вопрос, который возникает по поводу этого параллелизма, состоит в следующем: является ли он чисто типологическим или же генетическим. Иными словами, имеет ли он только сопоставительный или сравнительно-исторический смысл, учитывая, что оба языка относятся к одной и той же иранской группе.

В пользу первого объяснения можно было бы указать на то, что составные глаголы данного типа встречаются и во многих других языках, как индоевропейских, так и неиндоевропейских. Полную аналогию к персидским и осетинским составным глаголам с участием перс. *kardan*, осет. *kænyn* «делать» представляют, например, английские составные образования с *make*: *to make fast* «укреплять», *to make angry* «сердить», *to make dizzy* «дурманить», *to make bare* «обнажать», *to make water* «мочиться» и др. За пределами индоевропейского можно указать, к примеру, на многочисленные турецкие составные глаголы с *etmek* «делать».

Эти и подобные факты склоняют нас к тому, чтобы приведенные выше персидско-осетинские схождения в образовании составных глаголов признать фактами сопоставительной, а не сравнительно-исторической грамматики этих языков, т. е. рассматривать их в какой-то мере как «случайные».

Но против «случайности» говорит как количество приведенных схождений, так и то, что составными глаголами в обоих языках выражаются одни и те же глагольные понятия. Следует также считаться с древностью данной модели: она распространена во всех иранских языках вплоть до древнеперсидского и Авесты. Ср. др.-перс. *hamaranam kar-* «сражаться» (букв. «делать сражение»), авест. *skəndəm kar-* «разрушать» («делать разрушение»), *raekō kar-* «оставлять» («делать оставление»). Модель восходит к общеарийскому; ср. ведийское *mahás kar-* «возвеличивать» («делать великим») и др.

Взвесив все изложенные факты, следует, вероятно, сделать компромиссный вывод: модель составных глаголов в персидском и осетинском восходит еще к индо-иранской общности, а со временем закрепилась и размножилась в результате вторичной типологической конвергенции.

Перифрастические обороты с *kænyn* «делать» представлены в осетинском еще одной разновидностью: сочетанием *kænyn* с деепричастием на *-gæ*. Их продуктивность неограниченна. Можно сказать *æz kusyn* «я работаю», но можно сказать и *æz kusgæ kænyn* (букв. «я работая делаю»), и так от любого беспревербного глагола. Составным формам типа *kusgæ kænyn* отдается предпочтение перед простыми (*kusyn*), когда хотят подчеркнуть данное действие или состояние, сделать на нем логическое ударение. *Mæsty ma kæn, æz qazgæ kodton* «не сердись, я пошутил» (букв. «шутя сделал»). Здесь подчеркивается, что это было именно в шутку, а не всерьез. Простая форма *æz qazydtæn* была бы в данном случае менее уместна.

Существует соблазн сблизить осетинские обороты типа *kusgæ kænyn* с английским *-ing*-овыми выражениями типа *I am working*. Но тут надо проявить осторожность. Не всегда английские *-ing*-овые формы требуют перевода на осетинские с деепричастием. Фраза «я еду в Москву» в английском будет звучать скорее *I am going* (а не *I go*) *to Moscow*. В осетинском же мы ждем *æz Mæskwymæ cæwyn* (а не *æz Mæskwymæ cæwgæ kænyn*). Если взглянуть на осетинский и английский обороты бегло, крупным планом, то между ними есть нечто общее. Но вместе с тем в каждом из этих языков есть свои тонкости, и эти тонкости не совпадают.

Подведем итог.

Глаголы с основным значением «делать» бывают двух семантических типов. Одни означают «делание, действие» в самом общем смысле, другие — в более конкретном: «выделывать, изготовлять, строить» и т. п. Примерами первого типа могут быть англ. *to do*, нем. *tun*, перс. *kardan*, осет. *kænyn*, груз. *kmna* (*kna*). Примерами второго — англ. *to make*, нем. *machen*, перс. *sāxtan*, осет. *arazyn*, груз. *k'eteba*. В славянских и романских языках это различие не проводится четко.

Глаголы первого типа, как лексические единицы, обладают обширным, иногда расплывчатым семантическим полем, могут выступать — помимо основного значения «делать, действовать, производить» — во множестве разнообразных, часто неожиданных значений: «творить», «причинять», «говорить, сказывать», «девать, одевать», «отворять — затворять», «значить, иметь значение», «иметь нужду в чем-, в ком-л.», «оценивать», «справлять тризну», «отрезать, отсекать», «убивать», «пахать», «вести» и др. [4].

Эти же глаголы в ряде языков используются как вспомогательные в грамматике. С их помощью образуются составные глаголы обычно активного (в том числе побудительного) залога по модели: «греть» — «делать теплым» и т. п. Им соответствуют в этих случаях медиальные составные глаголы, где в роли вспомогательных выступают глаголы со значением «быть, становиться», по модели: «согреваться» — «становиться теплым». Здесь наблюдается много общего между иранскими и тюркскими языками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 4. М., 1977. С. 229.
2. *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. I. СПб., 1893.

[4] Об огромных семантических потенциях английского *to do* можно судить хотя бы по словарю Webster'a.

3. *Vasmer M.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg. I. 1953; II. 1955. S. 290; III. 1958. S. 86—87.
4. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg. I. 1962; II. 1965. S. 1230.
5. Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Филин Ф. П. Вып. IV. М. — Л., 1970. С. 120.
6. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. Е — Н. М., 1975. С. 113.
7. *Friedrich J.* Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952. S. 202 ff., 219 ff.
8. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.— Л., 1958. С. 579; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979.
9. *Rydberg G.* Le développement de *facere* dans les langues romanes. P., 1893.
10. *Магазаник Д. А.* Турецко-русский словарь. М., 1931. С. 297.
11. *Mańczak W.* Fréquence et évolution // Statistique et analyse linguistique. P., 1966. P. 99—103.
12. *Абаев В. И.* Грамматический очерк осетинского языка. Орджоникидзе, 1959. С. 57—58.
13. *Баскаков Н. А.* Очерк грамматики ногайского языка // Ногайско-русский словарь. М., 1963. С. 529.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

ЗАЙЛЕР Г.

ИНВАРИАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ: ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ

1. Введение. В настоящей статье я собираюсь охарактеризовать некоторые черты той модели анализа языковых универсалий, которая предложена автором этих строк и исследовательской группой УНИТИП («Языковые универсалии и типология») Кёльнского университета. Ключевыми понятиями модели являются функция, инвариантность и вариативность. Два последних понятия находятся в отношении взаимной дополнительности: инвариантность мыслима лишь тогда, когда имеет место вариативность, и наоборот. Функция соотносима с комплексом инвариантности/вариативности двояким образом: 1) «функция» может обозначать некий класс выражений в логической модели грамматики, 2) «функция» может использоваться при телеономическом анализе функционирования естественного языка. Отношения между тремя упомянутыми понятиями будут подробнее разъяснены ниже.

Полную характеристику модели невозможно представить в рамках сравнительно небольшой статьи. Поэтому читатель может быть отослан к обширному корпусу публикаций, подготовленных исследовательской группой УНИТИП [1]. Основные печатные органы группы: 1) akup = Arbeiten des Kölner Universalienprojekts. Hrsg. von Seiler H. Köln, Institut für Sprachwissenschaft (к настоящему времени опубликовано 63 номера); 2) LUS = Language Universals Series. Ed. by Seiler H. Tübingen: Gunter Narr Verlag (опубликовано 5 томов, том I в трех частях) и 3) Continuum. Schriftenreihe zur Linguistik. Hrsg. von Seiler H. Tübingen: Gunter Narr Verlag (опубликовано 4 тома).

Библиография публикаций УНИТИП до июня 1983 г. содержится в [1]. Последнее по времени подробное описание модели и связанной с ней теории можно найти в [2].

Вначале я дам общий обзор параметрической (dimensional) модели. Затем остановлюсь на том, как в модели отражен один частный параметр, а именно ДЕТЕРМИНАЦИЯ. В конце статьи я займусь оценкой отношения между функцией и комплексом «инварианты/вариативность».

2. Обзор модели. Вопросом первостепенной важности мне представляется постановка задач. Зачем заниматься исследованием языковых универсалий и типологией? Что мы хотим объяснить? Неоспоримый факт заключается в том, что хотя языки в огромной степени различаются, они имеют и нечто общее; в противном случае они не могли бы называться «языками». Вполне очевидно, что в языках имеется определенное единство, как бы смутно мы его ни ощущали и независимо от характера причин (научных, практических, нравственных и т. д.), благодаря которым оно

[1] Группа существует на базе Института языкознания Кёльнского университета, и ее деятельность обеспечивается Немецким исследовательским обществом («Deutsche Forschungsgemeinschaft»), которому я пользуюсь случаем выразить признательность.

существует. Однако то, что мы хотим объяснить, не является ни различием, ни единством: мы рассматриваем и то, и другое как изначально данное. То, что мы хотим объяснить,— это феномен сопоставимости языков, переводимости с одного языка на другой, возможности овладения любым языком, изменения языков. Во всех этих случаях говорящие интуитивно отыскивают путь от различия к единству и вновь к различию, а это в высшей степени примечательная особенность, которая заслуживает места в нашем сознании. В общем виде наша основная цель заключается в том, чтобы объяснить тот способ, с помощью которого специфические факты конкретных языков связываются с единым понятием Языка.

Исключительную важность приобретает понятие процесса, в отличие от понимания языка как «формального» или «абстрактного объекта», как предлагают некоторые трансформационалисты, иными словами, как вещи. Это можно продемонстрировать на примере перевода, в котором процессуальная природа языка, быть может, наиболее очевидна. Нам известен вход и выход, но что происходит посередине? Вот некоторая последовательность моделей, представляющих этот процесс, в порядке возрастающей сложности.

Модель 1, предложенная пятилетним ребенком в рамках серии экспериментов, проведенных бывшими сотрудниками Ж. Пиаже, в которых детей от четырех до девяти лет просили объяснить роль переводчика и связанного с ним процесса [3]. Ответ ребенка сводился к следующему: переводчик занимается обучением. Он должен научить каждого из одноязычных участников беседы языку другого, после чего они смогут достичь взаимного понимания. Сам процесс перехода с одного языка на другой здесь практически не затронут.

Модель 2 принадлежит старому греческому крестьянину, с которым я имел случай поболтать в поезде, едущем из Пиргоса в Олимпию. Я сообщил ему, что я швейцарец и занимаюсь преподаванием в ФРГ. В конце нашего разговора он заметил: «Я рад, что в первый раз в жизни мне удалось поговорить по-немецки». Эта простейшая модель, можно сказать, сравнима с той, которая лежит в основе чуда Пятидесятницы: «...ибо каждый слышал их говорящих его наречием» (Деяния Апостолов, глава 2).

Модель 3 — типичная точка зрения профана. Переводчик подбирает слова и конструкции переводящего языка таким образом, что их значение соответствует значению слов и конструкций языка оригинала. Это оставляет в тени самую важную часть процесса: в языках различны не только оболочки слов, но и их значения не накладываются друг на друга. Чтобы все-таки получить приблизительный эквивалент, нам нужна основа для сравнения, tertium comparationis.

Модель 4 выдвинута некоторыми специалистами в области семантики. Tertium comparationis — это то, что должно быть выражено в языке независимо от того или иного конкретного языка, т. е. концептуально-когнитивное содержание («das Gemeinte») [4]. Переводчик переходит от звуковых последовательностей и смыслов языка оригинала вначале к концептуально-когнитивному содержанию X, принадлежащему к основе сравнения, а затем — к звуковым последовательностям и смыслам переводящего языка. Здесь также некоторые существенные стороны остаются в тени: если верно, что значения форм в различных языках не соответствуют друг другу, то откуда мы знаем, что они все же могут быть соотнесены с общим содержанием? Поэтому представляется неизбежным постулирование еще одного промежуточного уровня: уровня инвариантов.

Модель 5 предложена в рамках УНИТИП. Это не только модель перевода, но также модель универсалий и типологии.

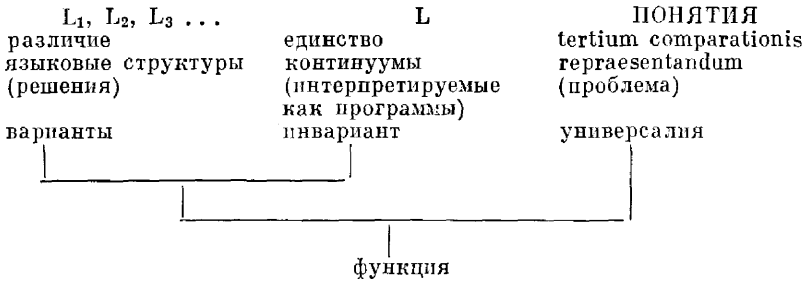


Схема 1.

Здесь наглядно представлено то, как специфические для отдельных языков факты соотносятся с инвариантом и универсалией. L_1, L_2, L_3 ... обозначают данные различных языков, в то время как L обозначает единое понятие Языка. Реконструкция этого соотношения выполняется в двух различных аспектах — дедуктивном и индуктивном. В дедуктивном аспекте мы устанавливаем в качестве tertia comparationis когнитивно-концептуальные единицы. Этим в сущности занимается каждый грамматист. Например, когда исследователь собирает и интерпретирует языковые данные, относящиеся к детерминации, т. е. к отношению между determinans и determinatum, он должен иметь представление о том, что собой представляет это отношение когнитивно и концептуально. Это означает, что он использует понятие детерминации. Поскольку он употребляет такое понятие при изучении любого языка, то именно понятие может считаться обладающим действительно универсальным статусом. Понятия нельзя смешивать со значениями частных языковых структур. Последние, как мы знаем, различны в отдельных языках, независимо от того, насколько они могут сближаться в конкретных случаях. Но и различие, и сходство должны обнаруживаться на одной общей основе — tertium comparationis.

Индуктивный аспект нашего исследования включает упорядочение данных, охватываемых одним и тем же общим понятием. В этом случае мы делаем обобщения относительно их формы и содержания и пытаемся упорядочить их в соответствии с их тождеством и различием. Важнейшим средством выполнения этой задачи является континуум, включающий шкалу отрицательно соотнесенных значений. Если континуум установлен, мы можем извлечь общий функциональный знаменатель, представляющий собой инвариант, в то время как значения, занимающие различные позиции внутри континуума, являются соответствующими вариантами. Таким образом, инвариант обладает иным эпистемологическим статусом, чем универсалия: последняя принадлежит к сфере дедукции и априоризма, первый — к сфере индукции. Но значение инварианта таково, что его можно непосредственно сравнивать с универсалией.

Итак, как подчеркивалось во вводной части, понятие функции в нашей модели обладает двуликим (Janus-like) характером: с априористической, дедуктивной точки зрения функция отражает ту задачу, которая должна быть выполнена, или проблему, которая должна быть решена, в то время как разнообразные структуры, которые мы обнаруживаем в конкретных языках, представляют собой соответствующие решения.

С точки зрения индуктивного подхода функция отражает комплекс инвариантность/вариативность, соотнесенный с общим когнитивным понятием.

Схема 1 обозначает целенаправленный процесс. ПОНЯТИЯ — это не только tertium comparationis, но также repraesentandum или exprimendum, т. е. то, что должно быть представлено или выражено средствами языка. Это представление не есть нечто само собой разумеющееся: речь идет о задаче, которая должна постоянно решаться говорящим и слушающим. Начальной ступенью процесса решения проблемы являются repraesentanda, конечной ступенью, т. е. выходом, результатом,— всевозможные языковые структуры в разных языках, в данном случае — структуры, имеющие отношение к детерминации. Таким образом, главная задача состоит в том, чтобы показать, как эти варианты соотносятся с инвариантом и как инвариант соответствует предполагаемой концептуализации. Наши основные положения сводятся к следующему: 1) данные, относящиеся к одному частному понятийному repraesentandum'у, могут быть упорядочены в континуумы в соответствии с двумя дополнительными (complementary) функциональными принципами; 2) последние образуют инвариант; 3) инвариант соответствует универсалии; и, наконец, 4) континуумы представляют собой программы, в соответствии с которыми носители языка отыскивают путь от разнообразия к единству.

Существенное отличие модели УНИТИП от большинства современных исследований языковых универсалий состоит в том, что мы ищем инвариант и универсалию (т. е. то, что есть во всех языках общего) не в некоторых отдельных свойствах или пучках свойств, имеющихся во всех языках, но скорее в тех путях, или программах, которые используют говорящие и слушающие. Проще говоря, говорящие и слушающие на всех языках используют в конечном счете одну и ту же программу. Этот факт, если нам удастся осознать его, может иметь далеко идущие последствия в таких областях, как компьютерная техника и т. п.

3. Параметр ДЕТЕРМИНАЦИЯ. Данный вопрос рассматривался нами раньше, и некоторые из опубликованных по нему положений требуют дальнейшей разработки. Все же я решил остановиться на этом вопросе, потому что он сравнительно ясен и соответствующие факты хорошо известны.

Прежде всего следует иметь в виду, что существует предполагаемое понятие — неважно, сколь смутное — отношения между determinans и determinatum. Интуиция подсказывает, что оно должно быть связано с задачей сужения диапазона подразумеваемых объектов. «Красные яблоки» — это некоторые определенные яблоки, и «эти яблоки» — также некоторые определенные яблоки. У нас есть ощущение одновременно одинаковости и различия. Сужения сферы подразумеваемых объектов можно достичь указанием на определенные их характеристики или же с помощью дейксиса. В языках это отражается как в виде сходств, так и в виде различий. Такое положение вещей отразилось и в лингвистической терминологии. Детерминацию можно понимать как в широком смысле (так обстоит дело в европейской традиции, где под этим термином имеется в виду любой вид модификации имен), так и в узком смысле (это характерно главным образом для американской традиции, где детерминация обозначает референциальную идентификацию, осуществляемую преимущественно грамматическими средствами — с помощью таких определителей, как артикль или указательное местоимение). В нашей параметрической модели мы принимаем во внимание максимальный диапазон в соответствии с единым понятием, из которого исходим. При этом обнаружива-

ется, что закономерности, выявляемые в континууме, способны объяснить как сходства, так и различия. В самом деле, граница между детерминацией в широком и в узком смысле хорошо согласуется с расположением той поворотной точки, которую мы постулировали на основании нескольких независимых соображений.

В моей работе 1978 г., посвященной детерминации, я сосредоточил внимание на именных группах в современном литературном немецком языке, включив несколько замечаний по межъязыковому сравнению, и расширил область рассмотрения практически на все возможные «единицы», встречающиеся в составе именной группы [5]. Я приводил в известной степени искусственный пример:

(1) *alle* $\underbrace{\textit{diese meine}}_{\textit{die}}$ *erwähnten zehn schönen roten*

hölzernen Kugeln Karls auf dem Tisch, die ich dir jetzt gebe, ein Geschenk

«все $\underbrace{\text{эти мои}}_{\text{артикль}}$ упомянутые десять красивых красных деревянных шариков Карла на столе, которые я сейчас даю тебе, подарок».

Отметим, что для определения относительных порядков, конечно, нет необходимости, чтобы все «единицы» были представлены в одной и той же именной группе. Заметим далее, что рассматривались только гнездовые (nested) конструкции. Если преноминальные (или постноминальные) «единицы» обозначить и пронумеровать, начиная от вершинного имени (ВИ — head noun) *Kugeln* «шарики» (D_1, D_2, . . . и т. д.), то тогда D_1 относится к ВИ, D_2 к комплексу ВИ + D_1, D_3 — к комплексу ВИ + + D_1 + D_2 и т. д. Нормальный порядок, наблюдаемый в (1), я изобразил на следующем рисунке: [2]

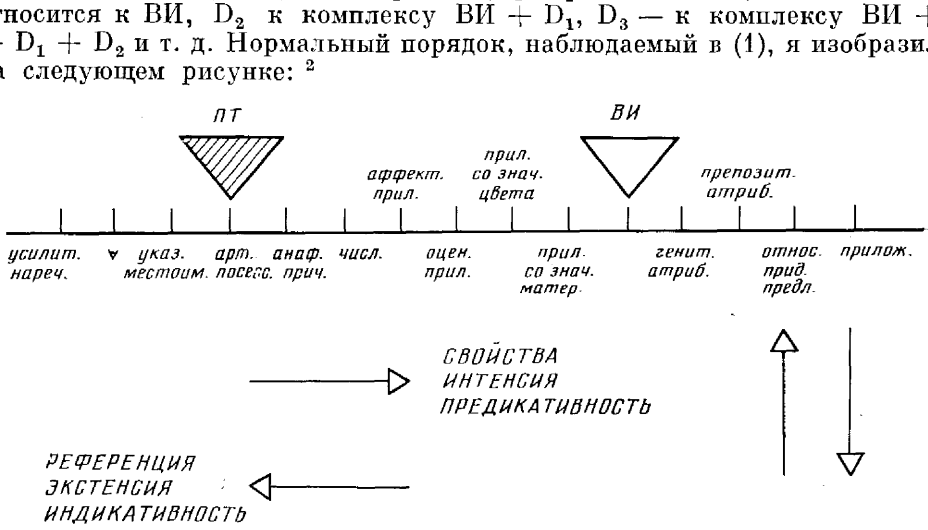


Рис. 1.

На основе экспериментов с различными порядками и с учетом параметра маркированности я предложил следующие две закономерности (R_1 состоит из двух частей):

(R_1)(i) Диапазон ВИ, к которому потенциально применим «определитель» D, возрастает с возрастанием позиционного расстояния этого «определителя» от ВИ;

[2] Более адекватную трактовку см. в [6].

(R_1)(ii) Способность «определителя» D к выделению обозначаемого ВИ объекта возрастает пропорционально возрастанию позиционного расстояния D от ВИ.

(R_2) «Определители» обозначают свойства, имеющие отношения к понятию, выраженному ВИ. Степень естественности такого отношения уменьшается пропорционально расстоянию D от ВИ.

Детальное обоснование последовательного, непрерывного характера R_1 и R_2 читатель может найти в моей ранней публикации [5, с. 307 и сл.]. Особенность этого параметра, отличающая его от других, изучаемых нами, заключается в том, что классы определителей, соответствующие различным позициям, могут проявляться in praesentia, т. е. в одной и той же синтагме при одном и том же ВИ или determinatum'е. Упорядочение данных, имеющих отношение к ДЕТЕРМИНАЦИИ, таким образом, иконически отображается в последовательном расположении определителей по отношению к ВИ. Как обозначено в схеме, R_1 соответствует принципу экстенсии. Этот принцип сужает референцию объекта, обозначенного ВИ, что достигается благодаря дейксису в тех случаях, где прототипической оказывается категория демонстратива. R_2 соответствует принципу интенсии. Он сужает содержание, обозначаемое ВИ, указывая на его качества, т. е. с помощью предикации. Эти закономерности и соответствующие им принципы были вначале получены на основе ограничений, накладываемых на порядок слов в преноминальной позиции. Постноминальные «единицы» обнаруживают те же принципы, хотя они слабее проявляются в определенном порядке относительно ВИ, чем в морфосинтаксических свойствах каждой из этих категорий (например, при различении рестриктивных и нерестриктивных предложений в пределах относительных предложений). Это можно обозначить двумя обращенными в разные стороны вертикальными стрелками, в противоположность двум горизонтальным в преноминальной области, которые отражают закономерности порядка слов. Для того, чтобы показать, что все единицы в схеме имеют отношение к двум противоположным закономерностям, мы вправе обозначить их единым термином «Детерминация». Всю область, в которой действуют два противоположных принципа, соответствующих R_1 и R_2, мы называем п а р а м е т р о м (dimension): параметр ДЕТЕРМИНАЦИЯ. В первом приближении можно следующим образом определить именную детерминацию:

Детерминация есть отношение между determinatum'ом и одной или несколькими determinantia. Эти отношения используются с целью сужения сферы возможных обозначений объектов. Сужение осуществляется в соответствии с двумя противоположными принципами: принципом индикативности (экстенсии, референции) и принципом предикативности (интенсии, свойств). Оба принципа одновременно представлены в каждой релевантной структуре, но с разной степенью доминантности (dominance). Структуры представляют различный выбор сужения сферы объектов и могут быть организованы в континуум, называемый параметром, в соответствии с обоими противоположно соотнесенными степенями доминантности.

Отметим, что здесь ничего не говорится о конкретных способах выражения. В таких языках, как английский и немецкий, порядок слов — очень заметное средство, но это средство не является ни единственно возможным — в особенности по отношению к постноминальной части континуума,— ни предпочтительным во всех языках. Отметим далее, что здесь не дается никаких определений относительно каких-либо частных катего-

рий. Конечно, категории нужны нам для описания; однако категории подвержены варьированию и должны быть поняты в рамках континуума, а не наоборот (континуум в рамках категоризации).

Категоризация и континуальность в нашем описании не исключают, а скорее обусловливают друг друга. На рис. 2 указана главная точка отсчета, определяемая позицией ВИ. Постноминальные структуры отличаются от преноминальных тем, что они все содержат дополнительное *N* и тем самым являются более сложными. Это, в свою очередь, может привести к предположению о том, что они могут взять на себя другие функции, кроме детерминации. В преноминальной части континуума я указал переходную точку (ПТ: turning point). Это «точка развязки» (catastrophe point) (см. [7]), где изменяются сразу несколько структурных свойств. Заметим, что это не противоречит континуальности обоих признаков, которая имеет место как до, так и после ПТ. Отличия здесь главным образом следующие:

1. Определители справа от ПТ допускают позиционную вариацию, в то время как находящиеся слева не могут быть перемещены.

2. Позиции справа от ПТ могут быть релятивизованы, т. е. трансформированы в предикацию, в то время как это невозможно для позиций слева от ПТ.

В этом параметре интенсиональность и экстенсиональность являются частными проявлениями более общей дополнительности, а именно между индикативностью и предикативностью. Таким образом, мы можем сказать, что отношение ДЕТЕРМИНАЦИИ лингвистически представлено либо выделением (дейктически), либо определением и характеризацией, т. е. предикативно. Соответственно этому дейктические определители, такие, как указательные и посессивные местоимения, находятся на одном конце континуума, а относительные придаточные предложения и приложения — на другом. При этом главное заключается в том, что промежуточные позиции обнаруживают градиентность в обратном соотношении обоих функциональных принципов: возрастание экстенсиональности/индикативности скоррелировано с уменьшением интенсиональности/предикативности и наоборот. Суть дела состоит в том, что оба функциональных принципа одновременно действуют во всех структурах, относящихся к ДЕТЕРМИНАЦИИ, именно это наложение и образует инвариант. Соответствующее варьирование ограничивается закономерностями R_1 и R_2.

До сих пор речь шла о закономерностях в порядке слов; в английском языке они почти те же, что и в немецком. Во многих языках обнаруживаются сходные или аналогичные порядки, как это было показано в ряде исследований, появившихся вслед за моей ранней публикацией по этой теме.

Однако по сути та же вариация на тему детерминации с тем же инвариантом и в принципе с теми же категориальными позициями может быть представлена с помощью языковых средств, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к порядку слов. Этот вывод мы сделали из так называемой «иерархии связывания» (bondedness hierarchy), установленной У. А. Фоли на материале филиппинских языков [8]. Здесь появление связующего элемента между determinans и determinatum распределено по языкам таким образом, что при относительных придаточных предложениях этот элемент всегда обязателен, в то время как с артиклями и дейктиками он обязателен только в тагальском и палау. Распределение в зависимости от промежуточных классов определителей вскрывает определенную шкалу. Как справедливо указал Фоли, основным принципом

является связывание, т. е. различная степень связи или слитности между различными видами определителей и ВИ. Слитность наиболее сильна в преимущественно референциальных/экстенсиональных определителях, таких, как артикли и дейктики; она, так сказать, им ингерентно присуща. Поэтому они могут легко обходиться без особого связующего элемента. То же соображение дает возможность понять, почему при порядковом типе представления отношения детерминации референциональные / экстенсиональные определители в большинстве языков дальше всего отстоят от ВИ: слитность здесь достаточно сильна. Напротив, слитность слабей в отношении предикативных / интенсиональных определителей. Поэтому они располагаются ближе к ВИ, с которым образуют семантическое единство. Фактически в этом случае речь идет о действии закона Бехагеля.

Следующий вывод, который мы делаем в результате расширения перспектив межъязыкового сравнения, заключается в том, что два противоположных градиента связаны с разными операционными подсистемами языкового поведения. Интенсиональность/предикативность представлены семантико-синтаксическими явлениями. Экстенсиональность содержит указания на говорящего, речевой акт и подобные явления, которые могут быть обобщены термином «прагматика». Градиенты указывают на направленность и динамику двух сил, «тянущих» в противоположные стороны, следствием чего, в свою очередь, является то, что континуумы образуют locus языковых изменений. Так, когда в языке возникает определенный артикль, он почти всегда восходит к указательному местоимению (романские, германские языки, греческий), а они занимают в континууме указанного параметра соседнее положение. Это сдвиг в сторону большей предикативности и меньшей индикативности. С другой стороны, неопределенные артикли часто развиваются из числительного «один», и вновь числительное и артикль обнаруживаются в нашем параметре на смежных позициях. Это, тем самым, сдвиг в сторону большей индикативности и меньшей предикативности. По синхронно-системным соображениям мы пришли к выводу, что артикль располагается на переходной точке между двумя градиентами. Это поддерживается диахроническими фактами: артикли — вообще нестойкая категория, допускающая значительное варьирование как в форме, так и в употреблении.

Мы пока еще далеки от установления межъязыкового параметра ДЕТЕРМИНАЦИИ, который охватил бы все языки. В идеале это следовало бы сделать наложением внутриязыковых параметров, что для других параметров [таких, как ПОНИМАНИЕ (APPRENENSION: представление вещей [9; 10; 2]), ОБЛАДАНИЕ [11] и ПАРТИЦИПАЦИЯ (отношение между процессом или состоянием и его участниками)] фактически уже достигнуто. Как и все они, параметр ДЕТЕМИНАЦИЯ может быть окончательно обобщен в следующем графическом представлении:

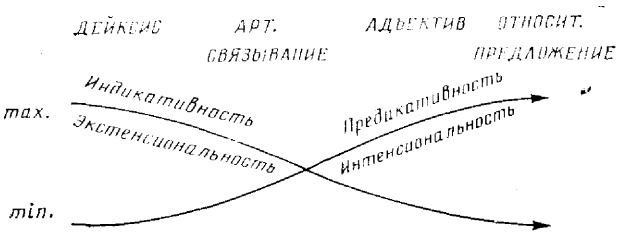


Рис. 2.

Здесь важно помнить, что позиции заполняются не отдельными категориями, такими, как «указательное местоимение», «прилагательное», но опять-таки с помощью континуумов, вернее, субконтинуумов или сочетаний субконтинуумов. В их составе некоторая частная морфосинтаксическая категория действует как прототипический вид субконтинуума (ср., например, «указательное местоимение» в субконтинууме ДЕЙКСИС). Различные типы прилагательных, учитываемые в правилах сериализации в немецком языке, также должны быть объединены в субконтинуумы. Подобным же образом и вариация именного vs. местоименного склонения местоименных прилагательных образует субконтинуум, предложенный для санскрита в [12]. Как ясно видно в последнем случае, те же два дополнительных принципа, действующих в пределах параметра, оказываются действующими также и в субконтинууме [3].

4. Инварианты и вариативность. Вернемся к этой основной проблеме. В вопросе о существе данного отношения внимание в основном сосредотачивалось на предметных сущностях, таких, как отдельное слово или категория с ее разнообразными значениями. Модель УНИТИП, напротив, предлагает объединять языковые структуры, значительно отличающиеся как по форме, так и по значению, в качестве вариантов одного и того же инварианта. Это вынуждает к переориентации и к перемещению центра тяжести со стативного рассмотрения отдельной морфосинтаксической категории или отношения на динамические аспекты взаимосвязи морфосинтаксически различных структур, входящих в модель целенаправленного языкового поведения. Динамика в синхронии была одной из заветных идей Р. Якобсона, как и естественное ее следствие — взаимное воздействие синхронной и диахронической динамики.

Такое расширение диапазона исследования от категориальной до операциональной инвариантности влечет за собой бо́льшую сложность аппарата критериев, необходимых для проверки или опровержения наших выводов. При этом использование категориальной базы в качестве критерия оказывается уже недостаточным для постановки вопросов типа: возникает или нет в наших данных некоторая категория или синтаксическое отношение при таких-то исходных условиях? Вместо этого нам нужна система критериев, которые могут быть объединены под общим знаменателем

---

[3] В некоторых языках есть основание включать в континуум особую категорию местоименных прилагательных. Один из таких языков — латинский, где эта категория маркируется смешанным склонением: местоименным в генитиве и дативе, именным в остальных падежах: *ūnus* «один», *sōlus* «единственный», *tōtus* «целый», *ullus* «некий» и т. д.

Еще заметней это в местоименных прилагательных санскрита, где смешение двух типов склонения не фиксируется по падежам, но подвержено варьированию. Категория включает такие единицы, как *śarva-* «весь», *ubha-* «оба», *itara-* «другой (из двух)», *anya-* «другой», *dakṣina-* «правый» и т. д. Б. и У. Кёльверы [12, с. 392 и сл.] обнаружили, что точное значение этих единиц следует устанавливать с помощью контекста. Это делается двумя способами. В первом случае — с учетом ситуационного контекста или прагматики; при этом местоименное прилагательное преимущественно референтно и предпочтительна местоименная форма склонения. Второй способ опирается на содержание ВИ; в этом случае местоименное прилагательное более предикативно и предпочтительно именное склонение.

Эти данные (они отличны как от закономерностей порядка слов, так и от средств связывания) обнаруживают следующие инвариантные черты:

1) Дополнительность двух функциональных принципов: индикативности vs. предикативности;

2) Наличие формального континуума, представленного контекстно мотивированными и формально различными предпочтениями местоименного или именного склонения.

при каждом из двух дополнительных функциональных принципов. Для всех параметров, которые нами изучались, выяснилось, что индикативность vs. предикативность оказываются двумя основными дополнительными функциональными принципами, и теперь можно предположить, что они являются составляющими инвариантности во всех языковых структурах. Объединение критериев под каждым принципом может быть изображено следующим образом [2, с. 3 и сл.]:

Индикативность	**Предикативность**
более слитный	менее слитный
более грамматикализованный	менее грамматикализованный
менее регулярный	более регулярный
менее информативный	более информативный
лексический	синтаксический
более открытый для прагматики поддающийся немедленному опознаванию	менее открытый для прагматики опознаваемый постепенно

Переходная точка
Нейтрализация
Нестабильность
Развязка (catastrophe)

Схема 2.

Эти критерии образуют два противоположных ряда. Речь идет не о таксономических рядах, основанных на чисто количественных соображениях, но скорее о качественных, напоминающих теорию выбора. Континуумы отражают не нормативные предписания, а предпочтения, избираемые носителями языка, не только последовательность, но и импликационную иерархию. При этом вместо одной иерархии в последовательности, ведущей откуда-то и никуда, континуумы отражают две противоположные иерархии. Оказывается, что «цена» возросшей сложности модели оказывается приемлемой, т. к. мы получаем сильные ограничения и многообещающий объяснительный потенциал.

Что касается функции, то, как уже было сказано, она носит двуликий (Janus-like) характер. В индуктивной перспективе она представляет отношение между инвариантом и вариативностью, т. е.

$$f(a) = x,$$

где f (функция) — инвариант, a (аргумент) — переменная и x (значение функции) меняются при изменении аргумента. Например, если f — ДЕТЕРМИНАЦИЯ и a — СВЯЗЫВАНИЕ, то x — конструкция с артиклем или связующим элементом. Функция во втором, телеономическом смысле есть отношение между понятием и комплексом «инвариант/вариативность». Скажем, если понятие есть «сужение сферы объектов» и комплекс инвариант/вариативность есть ДЕТЕРМИНАЦИЯ, то отношение является телеономическим, а функция состоит именно в следующем: представить в языке «суженный диапазон объектов».

Модель включает основное предположение, которое я эксплицитно высказал в начале и о котором хотел бы напомнить в конце этой статьи: когнитивно-концептуальные единицы отражают начальную ступень процесса решения задач, который лежит в основе языкового поведения. Знание этих понятий предполагается изначально, хотя это очень несовершенное и смутное знание. С другой стороны, инварианты, которые мы реконструируем, дают нам более ясное представление о признаковой структуре понятия. Например, о детерминации мы узнаем, что это есть отно-

шение, при котором determinans сужает сферу determinatum экстенсионально и интенсионально с разной степенью доминации этих признаков.

Конечно, здесь в определенной степени допущена кругообразность. В современной лингвистической методологии, как кажется, круги признаются порочными per se. Я, напротив, полагаю, что круг представляет образец высокого эстетического совершенства, и, кроме того, модель определенного типа движения, а не неподвижную фигуру. Рассматривая нечто в движении, можно оказаться и в круге. В литературоведении это называют герменевтическим кругом; думаю, что то же применимо и к изучению языка. Конечно, в ходе исследования мы никогда не исходим из абсолютного нуля. Скорее, мы делаем некоторые предположения и на их основе обнаруживаем закономерности, которые in nuce уже содержатся в наших предпосылках. Это в сущности означает, что мы должны считаться с тем фактом, что язык является одновременно объектом и средством описания и что человек является и субъектом, и объектом своих поисков сущности языка.

Перевел с английского *Тестелец Я. Г.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Language invariants and mental operations: Proceedings of the International interdisciplinary Conference held at Gummersbach, Cologne, Germany, September 18—22, 1983 (=Language universals series, 5.) / Ed. by Seiler H., Brettschneider G. Tübingen, 1985.
2. *Seiler H.* APPREHENSION: language, object and order. Pt. III: The universal dimension of APPREHENSION. (=Language universals series, 1 / III.). Tübingen, 1986.
3. *Sinclair H. et al.* Constructivisme et psycholinguistique génétique // Archives de psychologie. 1985. 53.
4. *Koschmieder E.* Das Gemeinte // Lexis. 1953.3.
5. *Seiler H.* Determination: A functional dimension for interlanguage comparison // // Language universals: Papers from the conference held at Gummersbach, Cologne, Germany, October 3—8. 1976 (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 111.) / Ed. by Seiler H. Tübingen, 1978. P. 307 ff.
6. *Seiler H.* Kategorien als fokale Instanzen von Kontinua: gezeigt am Beispiel der nominalen Determination // Grammatische Kategorien. Funktion und Geschichte: Akten der VII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Berlin, 20—25. Februar, 1983 / Hrsg. von Schlerath B., Rittner V. Wiesbaden. 1985.
7. *Thom R.* La double dimension de la grammaire universelle // Language universals: Papers from the Conference held at Gummersbach, Cologne, Germany, October 3—8, 1976 (=Tübinger Beiträge zur Linguistik, 111.) / Ed. by Seiler H. Tübingen, 1978.
8. *Foley W. A.* Toward a universal typology of the noun phrase // Studies in language. 1980. 4.
9. Apprehension: Das sprachliche Erfassen von Gegenständen. Tl. I: Bereich und Ordnung der Phänomene (=Language universals series, 1/I.) / Hrsg. von Seiler H., Lehmann Ch. Tübingen, 1982.
10. Apprehension: Das sprachliche Erfassen von Gegenständen. Tl. II: Die Techniken und ihr Zusammenhang in Einzelsprachen. (=Language universals series, 1/II.) / / Hrsg. von Seiler H., Stachowiak F.-J. Tübingen, 1982.
11. *Seiler H.* POSSESSION as an operational dimension of language. (=Language universals series, 2). Tübingen, 1983.
12. *Kölver B., Kölver U.* Referenz und Charakterisierung: Zur Flexion altindischer Pronominaladjektive // Wege zur Universalienforschung: Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler. (=Tübinger Beiträge zur Linguistik, 145) / Hrsg. von Brettschneider G., Lehmann Ch. Tübingen, 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

РУДЕНКО Д. И.

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ РЕФЕРЕНЦИИ

Целью данной статьи является обоснование трактовки собственных («единичных») имен как категории, основывающейся на таких естественно-языковых процессах номинации, концептуализации, семантического отражения действительности, которые существенным образом отличны от одноименных, зачастую представляющихся аналогичными процессов, протекающих в сфере имен других типов. Основная идея работы состоит в том, что логико-семантические процессы, проявляющиеся в сфере собственных имен, более всего сходны со специфическими процессами референции осуществляющейся с помощью так называемых «эгоцентрических слов», т. е. дектических единиц естественного языка. В качестве приблизительных формальных аналогов этих процессов можно рассматривать понятие «функции актуальной интерпретации» (в смысле Монтегю) и понятие «жесткого десигнатора» (в смысле Крипке). Выдвигаемая трактовка собственных имен, таким образом, тесно связана с концепцией референции и именования, представленной в современной модально-логической семантике, прежде всего с той разновидностью данной концепции, которая развивается в работах С. Крипке и его последователей и более всего ориентирована на исследование семантики естественного языка.

*

Среди различных именных категорий в лингвистике, как и во многих направлениях логики, наибольшее внимание уделяется собственным именам. Ни общие, ни абстрактные, ни собирательные имена (вполне представительные логико-лингвистические типы имен), ни нарицательные имена вообще не связаны с особой отраслью лингвистической науки, которая занималась бы изучением лишь одного из данных классов. Собственные же имена соотносятся с отдельным, достаточно четко отграниченным от других разделом лингвистики. Это ономастика, само название которой содержит в своей внутренней форме общее обозначение имени (др.-греч. ὄνομα).

Вместе с тем ни одна именная категория не порождает такого количества разноречивых точек зрения на ее природу, как собственное имя. Традиционным для работ по ономастике стало указание на нерешенность большого числа проблем собственных имен. При этом немалые затруднения до сих пор вызывает само определение данных языковых единиц, в некоторых случаях — и выявление состава соответствующей категории [1, с. 37—39, 200]. Понятно, что граница класса собственных имен определяется по отношению к границам других именных классов. Однако основные трудности здесь все же идут не от нарицательных имен или каких-

либо их подклассов, а от имен собственных. Так, общие имена, которые наиболее часто непосредственно противопоставляются собственным, могут трактоваться как обозначения предмета вообще, класса предметов в целом, неопределенного предмета (предметов), входящего в некоторый класс [2, с. 15]. Тем не менее независимо от того, какая точка зрения из данных будет выбрана (по-видимому, наиболее близка к действительности последняя: общие имена естественного языка содержат в своей семантике значение дискретности, отражающее разложимость класса на отдельные элементы [3]), правомерность самого применения к общим именам понятия «общего», прежде всего «общего признака» или по крайней мере «общего значения», особых сомнений не вызывает. Даже такие общие имена, значение которых нельзя представить через набор отдельных дифференциальных признаков,— это «имена естественных классов»: слова типа *тигр*, *овчарка*, *береза*, *тюльпан* — все же обладают обобщающей семантикой. Значение таких имен сводится к целостному чувственному образу объекта, в основной тенденции — к образу обобщенному [3, с. 45—47; 4, с. 27—30].

В сфере единичных имен ситуация оказывается несколько иной. Описание собственных имен через категории «единичного» и/или «индивидуального» («единичное» обычно трактуется как важнейший аспект индивидуального или его необходимое проявление) порождает немало затруднений. Ср. одно из последних определений собственных имен, достаточно типичное и на первый взгляд вполне приемлемое: «Собственное имя дается отдельным объектам, принадлежащим к определенному классу вещей, индивидуально выделяемым из этого класса» [5]. По другой дефиниции, собственные имена представляют собой «отдельные слова и слова в словосочетаниях, которые служат для именования индивидуальных, вычлененных из данного вида объектов» [1, с. 38]. Сходная точка зрения может выражаться и в психологизированном виде: «имя собственное дается индивидуальному объекту, воспринимаемому как единственный в своем роде» [1, с. 16]. Возникает, однако, вопрос: с помощью каких лингвистических механизмов осуществляется или по крайней мере фиксируется индивидуализация объекта, являющегося денотатом собственного имени?

Познание объекта как уникального, индивидуально неповторимого вызывает немало затруднений. В частности, его очень сложно достигнуть лишь через соотнесение с предметом тех или иных отдельных, тесно не связанных друг с другом признаков, которые были бы «единичными» по своему содержанию. «Простые признаки», т. е. признаки, не являющиеся комбинацией других, во всяком случае — не осознаваемые в качестве такой комбинации (о психологической реальности понятия «простого признака» см. [6, с. 23, 114, 155]), в познании часто тяготеют к обобщению, отождествлению с однотипными признаками других предметов. Как отмечает, например, Э. К. Лиепинь, «формально всякий конкретный единичный признак может быть переведен в статус общего» [7, с. 147]. Объективную основу этой возможности составляет тот факт, что различие признаков может являться в большей мере количественным, чем качественным: свойство имеет не только качественную сторону, но и обладает определенной величиной [8]. Свойство того или иного типа обладает потенциально бесконечным числом количественных градаций, «оттенков», входящих в сферу общей категории. В свою очередь эти «оттенки» далеко не всегда четко различаются человеческим сознанием и часто мысленно сводятся к общему типу.

Действительная индивидуализация отдельного предмета возможна через соотнесение с ним системы признаков, которые в своей совокупности как бы гарантируют индивидуальность объекта. Практическая необходимость в индивидуализирующем познании предмета возникает тогда, когда он не может быть заменен любым другим предметом того же класса. (Объекты обозначения собственных имен обычно воспринимаются именно таким образом). Осуществление процедуры индивидуализации, однако, не требует (и, очевидно, не может требовать) учета бесконечного числа признаков конкретного объекта. «Идея индивидуального в своем рациональном выражении предполагает выбор некоторого ограниченного числа параметров, по которым данная вещь противопоставляется другим» [7, с. 151]. Это означает, что процедура познания индивидуального имеет в своей основе системное знание, своего рода схему, определяющую те направления, по которым осуществляется рассмотрение единичного.

Таким образом, познание индивидуальности объекта представляет собой достаточно сложный процесс. (Характерно, что во многих науках обоснование необходимости индивидуализирующей ориентации познания было дано сравнительно недавно [9].) Оправданно поставить вопрос: может ли такая процедура в сколько-нибудь полном виде осуществляться или фиксироваться в языковой семантике, в частности, формировать смысловое наполнение собственного имени? Ответ будет отрицательным: в значении словесных знаков естественного языка обычно отражается обыденное, не теоретическое (системное), относительно несложное знание. Предполагать, что собственное имя способно фиксировать совокупность параметров, дающих целостное представление об объекте как системе (ведь даже к исходным средствам индивидуализирующего подхода относятся главным образом системные понятия), значит существенно преувеличивать возможности языковой семантики[1].

Выше мы приводили такие дефиниции собственных имен, в которых они трактуются главным образом в признаковом плане, через индивидуальную выделенность из класса. Однако затруднения часто возникают и при определении собственного имени через другие элементы «семантического треугольника» — денотат или знак. Так, распространенное суждение о том, что собственные имена обозначают единичные объекты, порождает ряд довольно сложных вопросов (особенно в тех случаях, когда данное определение рассматривается как самодостаточное): всегда ли собственные имена называют такие объекты, в каком смысле (по отношению к какому классу) эти объекты являются единичными, какие языковые механизмы обеспечивают референцию собственного имени к «единичному объекту», являются ли эти механизмы семантическими, какие формальные признаки собственных имен обусловливают их приложимость к «единичным объектам» (относятся ли, например, собственные имена к именам singularia tantum)? Определение собственных имен как «индивидуальных (единичных) обозначений» также не безупречно: с его помощью трудно объяснить, например, многочисленные в реальных языковых сообществах случаи совпадения имен у различных объектов, а также решить дру-

---

[1] Однотипная ситуация обнаруживается, например, при применении к материалу естественного языка логической категории «пустых имен». «Пустое имя» не обладает естественно-языковым статусом: существование в языке особого, формально выделенного класса обозначения вымышленных объектов означало бы, что в лексической семантике фиксируется последовательная научная классификация, в которой различаются реальные и фантастические объекты. Однако такое положение дел кажется априорно невозможным и не подтверждается конкретно-языковым материалом [10].

гие вопросы, названные выше, особенно те, которые относятся к смысловой природе единичных имен.

Некоторые исходные положения теории собственного имени, таким образом, не являются лингвистически и логически бесспорными, содержат в себе ряд нерешенных (иногда и не поставленных) проблем. Если принять во внимание существование очень большого, практически необозримого массива работ, посвященных собственным именам, можно заключить, что основной задачей ономастики сейчас должно являться не столько вовлечение в оборот нового фактического материала, сколько более полное осмысление уже имеющихся фактов и сформулированных точек зрения. Однако для этого необходимо не просто модифицировать те или иные частные дефиниции и понятия, а попытаться уточнить общий подход к собственным именам. До сих пор они часто трактовались именно и только как имена, в семантическом или, скорее, в семантико-денотативном плане, т. е. лишь с помощью понятий типа «единичная идея», «единичный признак», «совокупность единичных признаков», «единичный (индивидный) концепт», «единичный объект». Это семантическая парадигма «философии языка» — «философия имени» [11, с. 9—12].

Чисто именной подход к собственным именам предполагает, что противопоставление единичных и общих имен является вполне симметричным и базируется на едином основании — типе отражаемого признака (реже — типе называемого объекта, «единичного» или «общего»). Дж. Локк, например, писал: «Чувства сперва вводят единичные идеи и заполняют ими еще пустое место (empty cabinet), и, по мере того как разум постепенно осваивается с некоторыми из них, они помещаются в памяти и получают имена. Затем, подвигаясь вперед, разум абстрагирует их и постепенно научается употреблению общих имен» [12]. Подобная точка зрения обладает некоторым изяществом и разделяется рядом современных исследователей (см., например, [13]). Вместе с тем и в общепознавательном, и в лингвистическом плане она не является приемлемой. Это очевидно проявляется при соотнесении лингвистической оппозиции «единичное / общее имя» с философской оппозицией «единичный / общий признак».

В диалектическом материализме единичное и общее трактуются как стороны, «моменты» (но не «элементы») отдельного. Из этого следует, что разделение признаков на единичные и общие не является абсолютным, раз и навсегда данным. Говоря об относительности границы между единичным и общим, ее зависимости от способа рассмотрения объекта, единичное и общее обычно понимают в познавательном плане. Характерно, однако, что даже объективное, онтологическое единичное и общее имеют в своем определении гносеологические элементы. Единичное, в частности, понимается как признак данного отдельного элемента класса, находящийся в отношении отличия к признакам всех других элементов того же класса, или (с использованием абстракции отождествления) как признак, присущий только одному элементу класса [14]. Другими словами, определение признака как единичного зависит от определения границ класса, в который входит обладающий «единичным признаком» объект. Расширение данных границ, рассмотрение предмета как элемента более широкого множества может трансформировать единичный — онтологически единичный — признак в общий.

Отдельный объект может быть описан именно через единичные признаки (в их единстве с общими), если он однозначно отнесен к определенному классу: «Признак только тогда ясно и недвусмысленно охарактеризован как единичный, общий, особенный или всеобщий, когда фикси-

рован класс объектов, по отношению к которому он выбран в качестве такового» [15]. (Этот класс не должен быть универсальным, включающим все актуально существующие объекты [15]. Признаки отдельного объекта, рассматриваемого в качестве элемента универсального класса, являются главным образом общими.) Можно заключить, таким образом, что для собственных имен развернутая индивидуализация через единичные признаки маловероятна: данные имена ориентированы на обозначение объектов, прямо и/или однозначно не включаемых в определенный класс. Выше тезис, в соответствии с которым у собственных имен естественного языка отсутствует связь с явлением последовательной индивидуализации объектов, обосновывался через общие представления о природе языковой (лексической) семантики, со ссылкой на относительную простоту, нетеоретичность фиксируемого в такой семантике знания. Сходный вывод, однако, может быть сделан и при рассмотрении специфики самих собственных имен, в их связи с некоторыми познавательными закономерностями.

В концепции С. Крипке и солидаризующихся с ним логиков важное место занимает критический анализ трактовки собственных имен как выражений, синонимичных некоторому множеству идентифицирующих дескрипций, обычно фиксирующих существенные признаки объекта [16, с. 255—260; 17]. Среди сторонников дескрипционистского подхода к именам основными противниками Крипке являются Фреге и Рассел (хотя, возможно, это не вполне справедливо, особенно применительно к Расселу [18; 4, с. 22—23]). Теперь становится более очевидным, что критика «принципа уникально идентифицирующих дескрипций», которая во многих случаях ведется отчасти с психологических позиций (незнание говорящими таких дескрипций, неспособность сформулировать их, возможность ошибок в соотнесении дескрипций с именами), имеет под собой некоторые более общие логико-лингвистические основания.

Ряд исследователей считает, что индивидуализация предмета часто (а в абстрактном мышлении — всегда) осуществляется вообще без соотнесения с объектом каких-либо единичных, присущих только ему признаков. Действительно, достаточно объемный (и, что даже более важно, хорошо организованный, отражающий значимые для объекта признаки) набор общих свойств в большинстве случаев способен гарантировать отличение данного предмета от других [19]. При таком подходе к индивидуализации возможность отражения этой процедуры в семантике собственных имен становится еще более сомнительной. Элементы обобщения в значении данных имен явно факультативны и, тем более, не образуют системы.

В сфере собственного имени могут существовать соответствия между именами и теми или иными классами действительности, для называния элементов которых они употребляются. Практически в каждом языковом социуме, например, представлены относительно устойчивые группы имен для обозначения людей, с одной стороны, и животных различных видов, с другой. Сходные отношения могут проявляться и формально. Так, во многих языках классифицирующие смыслы в семантику собственных имен человеческих существ вносят грамматические показатели рода (мужского и женского). Обобщающие значения у собственных имен, однако, являются не «целью», основным содержанием их семантики, которое целенаправленно передавалось бы другим носителям языка, а скорее «средством», способом предварительного определения общего типа объектов, которые могут именоваться с помощью данных слов. Хотя в русском языке собственные имена мужчин обычно содержат грамматический

показатель мужского рода и, естественно, употребляются для обозначения людей, их нельзя использовать для называния ни мужчин как таковых, ни людей вообще. Случаи, когда какое-либо собственное имя приобретает подобные свойства, являются теми исключениями, которые подтверждают правило. Так имя *Иван* иногда может употребляться для обозначения русского, *Джон* — англичанина, *Жан* — француза и т. д. потому, что эти слова являются наиболее распространенными личными (мужскими) именами в соответствующих языковых сообществах (или, точнее, осознаются как наиболее распространенные имена). Значение здесь явно производно от употребления. Собственные имена, приобретающие некоторые свойства общих имен, приобретают их благодаря речи (в широком смысле), а не системе языка.

Общее имя является общим постольку, поскольку оно фиксирует (расчлененно или в целостном образе) некоторые общие свойства класса отдельных объектов. Однако единичное имя является единичным, собственным не потому, что в его семантике сколько-нибудь последовательно отражаются единичные признаки объектов, а скорее потому, что в ней последовательно не фиксируются признаки общие. (В этом смысле единичные имена точнее называть не-общими.) В таком случае возникает вопрос: каким же образом собственные имена естественного языка все же осуществляют, и вполне успешно, функции именования и референции? Сама постановка такого вопроса является своего рода имплицитным обоснованием необходимости перехода в рассмотрении собственных имен от именной (семантической, «признаковой») парадигмы к парадигме иного типа. Наиболее серьезную конкуренцию чисто именному подходу к собственным именам может составить прагматический подход.

*

Развернутое изложение прагматической концепции собственных имен содержится в современной модально-логической семантике. Здесь мы уделим основное внимание тому ее направлению, которое в наибольшей мере опирается на факты естественного языка и развивается в работах С. Крипке, Х. Патнэма, С. Шварца, Д. Даути, Б. Холл Парти, ряда других логиков.

Роль исходного противопоставления в конструируемой этими исследователями системе языковых единиц выполняет оппозиция жестких и нежестких десигнаторов. Жесткий десигнатор трактуется как языковое выражение, способное обозначать (и почти всегда обозначающее) один и тот же объект во всех возможных мирах; нежесткий, или случайный, десигнатор — как выражение, не обладающее такой способностью. Из того, что a и b — жесткие десигнаторы, следует, что если суждение тождества $a = b$ является истинным, оно является также необходимо истинным. Если же a и b — нежесткие десигнаторы, подобное следование отсутствует. Собственные имена включаются в класс жестких десигнаторов (к которому относятся также имена естественных классов). В качестве нежестких десигнаторов рассматриваются «имена номинальных классов» (слова типа *холостяк*, *профессор*, *лингвист*) [16, 20]. Одновременно в концепции Крипке и его сторонников отчетливо намечается тенденция к трактовке большинства или даже всех без исключения имен в качестве жестких обозначений. По Крипке, «знак любого языка, не являющийся жестким десигнатором, настолько не похож на имя обычного языка, что его нельзя назвать „именем“» [20, с. 5]. Только немногим менее радикальна позиция Патнэма [21].

В теории жесткого десигнатора предполагается, что закрепление имени за предметом почти всегда происходит по случайным свойствам объекта, не образующим какой-либо системы дескрипций, или просто через указание на объект. Функционирование имени в разных ситуациях и у разных носителей языка без нарушения единства референции возможно благодаря непрерывности причинной (каузальной) цепи, идущей от первого употребления имени (от ситуации «крещения объекта») к последующим употреблениям [16] (в другой терминологии употребление собственного имени основывается на отношении «исторического объяснения» [17]). Использование имени не предполагает знания существенных и/или идентифицирующих свойств обозначаемого им объекта, знания подавляющего большинства свойств объекта вообще.

Стремление логиков и философов, разрабатывающих концепцию жестких десигнаторов, полностью или почти полностью исключить из анализа имени понятие существенного (идентифицирующего) признака порождает довольно многочисленные лингвистические импликации. В частности, трактовка имен в качестве жестких десигнаторов оказывается в наибольшей мере применимой к собственным именам (и в меньшей мере — к именам естественных классов [4]).

Собственные имена, не обладая обобщающим и общим для различных носителей языка значением, в то же время ориентированы на отнесенность к одному объекту (уточним — одному не в рамках всего социума, а в рамках конкретной ситуации именования). Эта ориентация, однако, не является безусловной, вполне жесткой. По этой причине случаи, в которых обозначается более чем один объект с одинаковым собственным именем (*Я знаю двух Дим*, *В нашем городе мало Ивановых*), не могут считаться примерами перехода собственных имен в класс общих: у единичных имен в таких употреблениях не развиваются обобщенные смыслы (обладание именем представляет собой метаязыковой, а не отражательно-семантический признак). Однако собственное имя, используемое для обозначения нескольких или многих объектов одновременно, все же утрачивает свою важную, даже наиболее важную функцию — способность идентификации референтов. Ср., например, два варианта ответа на вопрос *Кто к нам пришел*?: — *Таня* и — *Тани*. В последнем случае собственное имя однозначно не отождествляет объект и просто выделяет группу людей, носящих одинаковое имя. Необходимой (хотя и не достаточной) предпосылкой отождествления объекта с самим собой является его отдельность, отделенность от остального мира и следовательно, его единичность. [Характерно, что эксплицитное выражение единичности референта собственного имени также лишает его способности отождествлять объект (ср.: *Ко мне приходила одна Таня, а не две*). Это объясняется тем, что единичность объекта в таких случаях рассматривается не как важное условие использования собственного имени, а только как одна из возможных числовых характеристик его референта.]

Собственные имена, таким образом, можно рассматривать как своего рода singularia tantum. Однако они значительно отличаются от типичных singularia tantum — абстрактных и вещественных существительных, плюрализация которых всегда порождает достаточно явный сдвиг в значении. Ограничения на использование собственного имени во множественном числе, шире — их исчисление носят не чисто семантический, а семантико-прагматический характер. Само значение единичности у собственных имен тесно связано с явлением отождествления обозначаемых данными именами объектов, которое является внесемантическим по сво-

ему характеру. Сема единичности у собственных имен по этой причине также приобретает прагматический оттенок.

«Единичный объект», который называет собственное имя, является единичным не в том смысле, что он последовательно соотнесен с какими-либо единичными (как, впрочем и общими) признаками, особым образом выделен из класса, а в том смысле, что он рассматривается вне прямой и/или четко прослеживаемой связи с определенным классом. Признаки же единичного объекта, прямо не включаемого в тот или иной конкретный класс, не могут расцениваться в качестве существенных. В противном случае нужно было бы признать существенным любое, даже самое незначительное свойство предмета, т. к. без любого свойства предмет не был бы тем, что он есть [22] (об особенностях трактовки «существенных признаков» в концепции Крипке см. [4, с. 23—24]).

Основной для единичных имен является функция референции, а не характеризации. Инвариантное значение собственного имени сводится к предоставлению общей возможности референции, но не к сколько-нибудь детальному и однозначному определению ее условий. Помимо чисто грамматических смыслов и значения единичности (довольно сложного по своей природе), в сферу узуально-языковых элементов собственных имен входит только указание на тип сущностей, для именования которых обычно употребляется имя (в лингвистических терминах — указание на «ономастическое поле»).

Значение собственных имен, как оно определено выше, обнаруживает определенное сходство со значением дектических элементов языка, местоимений. С точки зрения системно-языковой семантики местоимения не являются пустыми, лишенными каких-либо узуальных, внеречевых смыслов словами. Они могут, например, содержать дифференциальные признаки определенности/неопределенности, лица, рода, числа и т. п. В семантике местоимений реализуются и еще более общие противопоставления, например, оппозиция «субъективное—объективное» [23, 24]. При этом, однако, все эти смысловые элементы служат одной цели — определению типа объектов, которые местоимение может обозначать через их отношение к тем или иным элементам контекста или реального речевого акта (конситуации). Местоимение прямо не называет общий тип (типы) предметов, отраженный в его значении, но лишь указывает на него, отсылает к нему. Важнейшим свойством местоимений, объединяющим все их многочисленные разновидности, оказывается свойство референции. Многие дектические слова способны также служить средством идентификации объектов (хотя обычно эта идентификация осуществляется в пределах сравнительно небольших временных отрезков).

Мысль о наличии общих свойств у местоимений и собственных имен, пока не ставшая тривиальной, все же не является абсолютно новой ни для лингвистики, ни для логики. Более или менее развернутые замечания о сходстве собственных имен и дектических выражений представлены в работах ряда исследователей (Б. Бозанке, Л. Стеббинг, Г.-Н. Кастаньеда, А. Нурен, Э. Бюиссанс, П. Кристоферсон, К. Тогебю), см., например, [25]. В общем виде это связано с тем, что местоимения естественного языка выполняют роль, сходную с ролью логических переменных — сингулярных терминов [26]. Сходство единичных имен и дектических выражений иногда постулируется и в рамках теории жестких десигнаторов. С. Шварц, например, указывает, что для местоимений, демонстративов и собственных имен концептуальный подход, в котором слово представляется через совокупность идентифицирующих дескрипций, является по меньшей мере неудобным [27].

Априорно можно предположить, что концепция жестких десигнаторов, входящая в сферу модальной логики и соотносящаяся с прагматической (дектической) «философией языка», объективно позволяет вывести некоторые основания для сближения местоимений и собственных имен. Правда, рассмотрению самих местоимений в ней уделяется немного места. Крипке, определяя жесткие десигнаторы как имена одного и того же объекта во всех возможных мирах, не вводит в их анализ понятие «контекста употребления», без которого дектические выражения не могут быть адекватно описаны (ср., например, позицию Р. Монтегю [28, с. 112]). Жесткие десигнаторы в их каноническом понимании обычно рассматриваются вне зависимости от эпистемологических, в том числе контекстуальных, факторов. Основным понятием, характеризующим данные имена, является понятие материального тождества объекта самому себе, тождества, сохраняющегося в каждом возможном мире [4, с. 24]. Если исходить из понимания модальностей как чисто гносеологических сущностей, концепция Крипке — точнее, ее исходная версия, отраженная в лекциях начала семидесятых годов,— является отчасти амодальной (хотя, конечно, не антимодальной). Как отмечает В. В. Целищев, Крипке придает модальностям метафизический (онтологический) статус и лишает их эпистемологической интерпретации [29] (ср., например, тезис Крипке о том, что случайные свойства объектов могут быть априорно известными).

Понятие «жесткого десигнатора» само по себе прямо не соответствует специфике собственных имен естественного языка. Хотя главной для собственных имен является функция референции и они лишены развитого обобщенного значения, употребление данных языковых единиц необходимо предполагает (как и употребление любых других слов) соотнесение их с некоторыми психическими (шире — гносеологическими) сущностями, представленными в сознании носителей языка (говорящего и слушателя). Собственные имена можно сравнивать с «метками» (что сопоставимо с пониманием их как жестких десигнаторов), но все же они физически («жестко» или хотя бы «нежестко») не прикрепляются к объектам и приобретают референцию только благодаря участию в процессе именования мыслящих существ — носителей языка. Нет оснований думать, что при использовании собственных имен мы «отключаем» свое сознание.

Вместе с тем лингвиста в наибольшей мере интересуют не многообразные, теоретически неисчерпаемые психологические вариации, с которыми сопряжено употребление языковых единиц, а общие, системные свойства лингвистических категорий, так или иначе определяющие специфику их использования в речи. Концепция Крипке объективно (хотя возможно, не вполне осознано) ориентирована именно на обнаружение внеречевых свойств имени. При экстраполяции теории Крипке на материал естественного языка гносеологическая бедность жестких десигнаторов находит соответствие в семантической бедности как собственных имен, так и местоимений, рассматриваемых в их узуально-языковом аспекте: для данных категорий характерна семантическая связанность не с языком в узком (соссюровском) смысле (la langue), а главным образом с речью (la parole). (Это, разумеется, не значит, что собственные имена относятся исключительно к la parole, как полагает Г.-Н. Кастаньеда [30].) Понятие «жесткого десигнатора», таким образом, представляет ценность для анализа явлений естественного языка.

Отметим, что в работах конца семидесятых годов Крипке вводит и подробно разрабатывает речевое по своей природе понятие «референции

говорящего», которая определяется как специфическое, соотносимое с конкретными обстоятельствами (on a given occasion) намерение (интенция) говорящего осуществить референцию к некоторому объекту. Семантическая референция трактуется как общая интенция говорящего к осуществлению референции, не зависящая от обстоятельств употребления десигнатора [31, с. 15]. Возможно, было бы проще описать это различие с помощью лапидарной формулировки К. Доннелана — «People refer and expressions refer» [32], но это не совсем то, что имеет в виду Крипке. Последний включает указание на говорящего даже в понятие семантической референции, как бы компенсируя проявлявшееся в его более ранних работах невнимание к этому аспекту языка. Такой подход дает возможность обнаружения взаимосвязей семантической референции и референции говорящего, трактовки их взаимодействия и даже совпадения как вполне закономерных для языка явлений. Характерно, например, что, по Крипке, дектические элементы языка служат средством сближения двух типов референции: «Если десигнатор... содержит индексикалы, демонстративы и т. п., мы должны говорить о семантическом референте, связанном с обстоятельствами употребления. Референт будет определяться конвенциями языка во взаимодействии с намерениями говорящего и различными контекстуальными факторами» [31, с. 14]. Позиция «позднего Крипке» имеет черты сходства с развитой Р. Монтегю трактовкой значений как функций от возможного мира и контекста употребления, служащих целям актуальной интерпретации выражений («значения» у Монтегю противопоставляются «смыслам» как интенсиональным сущностям) [28, с. 112—113] (детальный анализ точки зрения Монтегю см. [11, с. 253—254]).

Рассматривая собственные имена как особые дектические (эгоцентрические) слова, нельзя упускать из виду существование значительных различий между собственными именами и чисто дектическими выражениями. Местоимение получает в речи конкретное семантическое наполнение через контекст, в котором оно употребляется, или ситуацию, в которой оно встречается, конситуацию. Контекст в большинстве случаев ограничивается несколькими предложениями (часто и одним предложением), а конситуация — непосредственными условиями использования слова. Сближая с местоимениями собственные имена, мы тем самым предполагаем, что и для них контекст играет особо важную роль. Однако этот контекст качественно отличен от контекста, в котором функционируют местоименные единицы языка. Он в большей мере формируется не обстоятельствами употребления слова или его лексическим окружением, а обстоятельствами (в той или иной мере осознаваемыми носителями языка) существования объекта, который называет имя.

Как представляется, контексту местоимений в большей степени соответствует понятие «узкого», «лингвистического» контекста, а контексту собственных имен — понятие контекста «широкого», «исторического», «социально-культурного». Характерно, что почти все исследователи ономастики указывают на гораздо бо́льшую, чем у существительных других типов, зависимость собственных имен (как диахроническую, так и синхроническую) от экстралингвистических факторов. Исследование единичных имен с помощью понятия «широкого контекста» позволяет сблизить логико-лингвистический и социолингвистический (имя как социальный знак [33]) подходы к собственному имени, которые пока имеют относительно немного общих черт. Например, при трактовке собственных имен в рамках дектической парадигмы «философии языка» многочисленные

почти во всех реальных языковых сообществах случаи совпадения имен у разных объектов должны пониматься не как прояление «логической непоследовательности» языка, а как явление, столь же естественное, как использование одного местоимения для обозначения различных объектов в различных ситуациях. Контекст большинства собственных имен формирует знание об объектах, которые не обладают всеобщей или хотя бы достаточно широкой известностью. Это является определенной гарантией непересечения контекстов одинаковых по форме имен. Если же пересечение все же происходит, различение референтов осуществляется через отдельные элементы данных контекстов, т. е. через то знание, которое носитель языка может использовать для разграничения объектов.

Описание собственных имен через «широкий контекст» может быть сближено и с логической трактовкой данных имен как жестких десигнаторов: контекст, не ограниченный непосредственными обстоятельствами употребления слова, отражает различные аспекты существования объекта — различные «возможные миры», в которых представлен объект. Положение о жесткой десигнации собственных имен находит соответствие в «жесткой», длительной или вечной закрепленности имен за их носителями. Конечно, исключений здесь достаточно много («детские, «артистические», «семинарские», «монашеские», «шпионские» и т. п. имена, перемена имен по эстетическим соображениям). Однако все же тенденция к соотнесению с взрослым человеком, социальный статус которого не подвергается резкому изменению и имя которого не вызывает интенсивных отрицательных коннотаций, одного и того же имени на всем протяжении его существования является вполне реальной.

Широкая трактовка контекста единичных имен может порождать опасность сведéния его к бесконечности, потенциально неограниченному числу признаков объекта. Для того, чтобы обосновать лингвистическую значимость контекста, который определяет семантическое наполнение собственных имен, необходимо ввести указание на релятивность этого контекста по отношению к говорящему (а отчасти — и по отношению к тому, кто воспринимает сообщение с собственным именем). Как отмечает Ю. С. Степанов, «... собственное имя индивида является прямым обозначением этого индивида и косвенным обозначением другого индивида — „Я“, который обозначает первого» [11, с. 234]. Формально это проявляется в варьировании формы собствен ного имени в зависимости от позиции и статуса говорящего в ситуации общения. (Излишне говорить, что указание на говорящего, реже — и на адресата, входят также в семантику местоимений.) То, какое содержание соотносит носитель языка с собственным именем, зависит от характера и объема имеющихся у него знаний об обозначаемом объекте, значимости объекта для говорящего или слушателя, условий, в которых произошло знакомство с объектом, обстоятельств и продолжительности этого знакомства, содержания высказывания или текста, в котором употреблено имя, просто от актуального психологического состояния носителя языка. Концепцию жесткого десигнатора в принципе можно совместить с трактовкой собственного имени через понятие коммуникативного намерения (интенции) говорящего [34] или даже через понятие дескрипций, которые говорящий соотносит с именем. Однако это допустимо лишь в том случае, если учитывать особый характер подобных дескрипций. Они обеспечивают именование, но не обеспечивают логически безупречное выделение именуемого объекта из универсума и достаточно полное установление его индивидуальности, постоянно варьируют, в значительной мере зависят

от познавательных установок и возможностей конкретного носителя языка. В современной логике с таким пониманием собственных имен можно сопоставить предложение интерпретировать жесткие десигнаторы как скрытые эпистемические дескрипции, включающие много-однозначные отношения типа «знать как», «воспринимать как», одним из элементов которых является носитель языка, употребляющий собственное имя [35] (развитие последовательно гносеологической трактовки дескрипций, соотносимых с собственными именами, см. также в [36]). Если рассматривать дескрипции подобным образом, оказывается, что «признаковый» подход отчасти приложим и к местоимениям. Близко к такой их трактовке, например, развиваемое О. Н. Селиверстовой понимание местоимений как слов, задающих определенный «уровень характеризации» актантов ситуации [24].

То, что собственные имена обычно соотносятся с дескрипциями эпистемического типа, обусловлено очень тесной связью данных имен с речью, широким контекстом, отсутствием у них развитого узуального значения. Таким образом, определение референтной способности собственных имен не может быть чисто лингвистическим. В семантику единичного имени, в частности, не входит значение тождества (тождественности объекта самому себе). Допустив такую возможность, мы будем вынуждены трактовать случаи отнесения собственных имен не к тем объектам, к которым они должны прилагаться в данном социуме, как нарушения лингвистических правил. Подобный подход, однако, явно противоречил бы языковой интуиции. Собственные имена служат одним из средств идентификации предметов, но собственно лингвистические предпосылки этой их способности состоят главным образом в тяготении данных имен к обозначению единичных (по отношению к ситуации употребления имени) объектов. Характерно, что общепознавательный, концептуальный (а не чисто логический или лингвистический) характер процедуры отождествления, с которой связаны единичные термы, отмечается и в модальной логике (см., например [37]).

Заметим, что собственные имена естественного языка соотносятся главным образом с тем типом отождествления, которое осуществляется в «неветвящемся» потоке времени, элементы которого находятся в отношении временно́й последовательности. Темпоральная логика, однако, вполне допускает и существование «ветвящегося» времени, трактуемого как временной поток, каждая ветвь которого представляет собой возможное развитие событий [38]. Понимание возможных миров как альтернативных направлений событий, противопоставляемых последовательному течению времени, допущение «ветвления» и «слияния» индивидов широко представлены и в модально-логической семантике возможных миров. Временной поток в модальной логике трактуется со значительной долей идеализации, что отчасти обусловливает и идеализированную трактовку жесткого десигнатора, распространение единства его референции на все без исключения возможные миры. Здесь, видимо, и возникают расхождения между логическими «жесткими десигнаторами» и естественно-языковыми «собственными именами».

В данной статье мы детально не останавливались на вопросе о психологической реальности предложенной трактовки собственных имен. Особых возможностей для этого у нас и не было — психолингвистическое исследование собственного имени пока в широких масштабах не осуществлялось. Важно подчеркнуть, однако, что некоторые общие психологические особенности ряда типов опознания (отождествления), причем даже

опознания в рамках класса[2], обнаруживают определенное сходство с лингвистическими особенностями собственных имен, как они трактуются выше. Опознание может осуществляться не с помощью набора существенных (концептуальных, релевантных в психологическом смысле) признаков, а через целостный, единый признак объекта. Как отмечает М. С. Шехтер, в ряде случаев отличительные признаки «представляют собой не группы опознавательных свойств, а целостные, т. е. неразлагаемые на несколько опознавательных свойств, единицы» [6, с. 82]. Данные признаки, выполняя функцию отличения объекта от других, не являются постоянными и необходимо присущими идентифицируемым объектам.

Опознание по релевантным свойствам в психологии расценивается как гносеологически затруднительное и маловероятное для ряда случаев отождествления [39, с. 158—160]. Однако если даже опознание в рамках общего класса может осуществляться без помощи «существенных свойств», то тем менее вероятно участие таких признаков в отождествлении единичных объектов. По-видимому, в обыденном, не теоретическом познании индивидуализация (хотя и не являющаяся логически безупречной) осуществляется прежде всего через непостоянные опознавательные свойства.

Рассмотренный нами материал показывает, что современные модально-логические концепции референции, даже те (может быть, именно те), в которых значению в традиционном понимании уделяется мало места (теория Крипке), дают возможность более адекватно описать семантику собственных имен естественного языка, в частности, перейти в их трактовке от именной парадигмы «философии языка» к дектической парадигме. Собственные имена, понимаемые как особые дектические единицы, не перестают считаться именами. (Характерно, что в класс собственных имен входят только существительные или по крайней мере субстантивированные слова.) Однако все их следует рассматривать как не вполне типичные имена, обладающие многими свойствами другой универсально-семантической категории, категории эгоцентрических слов.

Как представляется, на роль наиболее типичных имен прежде всего может претендовать одна из основных категорий общего имени — имена естественных классов. Специфика таких существительных отчасти соответствует и определению именования как указания (на основе такого понимания собственные имена иногда трактуются как имена по преимуществу [11, с. 15]), и трактовке именной парадигмы «философии языка» как семантической парадигмы [11, с. 5]. С одной стороны, значение имен естественных родов не членится на отдельные семантические компоненты — в связи с этим может создаваться впечатление, что данные имена обозначают объект «жестко», без помощи психологических концептов (ср. позицию Крипке). С другой стороны, имена естественных классов все же обладают общей, хотя и не признаковой семантикой: основу их значения составляет целостный чувственный образ объекта, в большинстве случаев обобщенный.

Собственные имена, таким образом, оказываются за пределами ядра класса имен (что вполне совместимо с тезисом об особом положении ономастической лексики в системе существительного). Однако именно это делает изучение собственного имени особо интересным, расширяет перспективы исследования данной категории.

---

[2] Проблема отождествления единичных объектов, так называемого «воспризнания», не находится в центре внимания современной психологии [39, с. 6]. Поэтому мы обращаемся к данным о категориальном опознании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Теория и методика ономастических исследований / Отв. ред. Непокупный А. П. М., 1986.
2. *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М., 1981.
3. *Руденко Д. И.* Общее имя как явление естественного языка // ИАН СЛЯ. 1986, № 1.
4. *Руденко Д. И.* Имена естественных классов, собственные имена и имена номинальных классов в семантике естественного языка // ИАН СЛЯ. 1987. № 1.
5. *Соболева Т. А., Суперанская А. В.* Товарные знаки. М., 1986. С. 60—61.
6. *Шехтер М. С.* Психологические проблемы узнавания. М., 1971.
7. *Лиепинь Э. К.* Категориальные ориентации познания. Рига, 1986.
8. *Ильин В. В.* Онтологические и гносеологические функции категорий качества и количества. М., 1971. С. 85—86.
9. *Кемеров В. Е.* Понятие общего и логика индивидуального // Средства и факторы развития научного познания. Свердловск, 1986. С. 45—47.
10. *Руденко Д. И.* «Пустое имя» в логике и в семантике естественного языка // Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. Киев, 1986.
11. *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка (Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). М., 1985.
12. *Локк Дж.* Соч.: В 3-х т. Т. 1. М., 1985. С. 103.
13. *Саная К. Д.* Логическая форма и объект познания. Тбилиси, 1985. С. 64—65.
14. *Левин Г. Д.* Абстрактное и общее с логической точки зрения // Философские науки. 1976. № 1. С. 44—45.
15. *Левин Г. Д.* Проблема всеобщего в советской философской литературе // Философские науки. 1985. № 3. С. 141.
16. *Kripke S.* Naming and necessity // Semantics of natural language. Dordrecht, 1972.
17. *Donnellan K. S.* Speaking of nothing // Philosophical review. 1974. № 1.
18. *Linsky L.* Names and descriptions. Chicago, 1977. P. 42—48.
19. *Пивоваров Д. В.* О двух типах взаимосвязи общего и отдельного // Проблемы всеобщего в марксистской философии. Челябинск, 1982.
20. *Kripke S.* Naming and necessity. Oxford, 1980.
21. *Putnam H.* The meaning of «meaning» // *Putnam H.* Philosophical papers. V. 2. Cambridge, 1975. P. 242.
22. *Войшвилло Е. К.* Понятие. М., 1967. С. 147.
23. *Штелинг Д. А.* Семантика оппозиций в системе местоимений // ИАН СЛЯ. 1983. № 5.
24. *Елисеева А. Г., Селиверстова О. Н.* Семантическая структура местоименного значения // ВЯ. 1987. № 1.
25. *Суперанская А. В.* Общая теория имен собственных. М., 1973. С. 65—66, 69—70, 74, 77, 81—82.
26. *Ледников Е. Е.* Критический анализ номиналистических и платонистских тенденций в современной логике. Киев, 1973. С. 27—28.
27. *Schwarz S. P.* Naming and referring: The semantics and pragmatics of singular terms. N. Y., 1979. P. XVI—XVII.
28. *Монтегю Р.* Универсальная грамматика // Семиотика и информатика. 1985. Вып. 26.
29. *Целищев В. В.* Онтологические и гносеологические аспекты понятия твердого десигнатора // Изв. СО АН СССР. 1977. № 1. С. 122.
30. *Castañeda H.-N.* On the philosophical foundations of the theory of communication: reference // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979. P. 133.
31. *Kripke S.* Speaker's reference and semantic reference // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
32. *Donnellan K. S.* Speaker reference, descriptions, and anaphora // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979. P. 28.
33. *Никонов В. А.* Имя и общество. М., 1974.
34. *McKinsey M.* Names and intentionality // Philosophical review. 1978. № 2.
35. *Карпович В. Н.* Некоторые традиционные проблемы в концепции твердых десигнаторов // Изв. СО АН СССР. 1977. № 1.
36. *Schiffer S.* Names and knowing // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
37. *Хинтикка Я.* Семантика пропозициональных установок // *Хинтикка Я.* Логико-эпистемологические исследования. М., 1980. С. 89.
38. *Ишмуратов А. Т.* Логические теории временны́х контекстов. Киев, 1981. С. 28—32.
39. *Шехтер М. С.* Зрительное опознание: Закономерности и механизмы. М., 1981.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

ЗУБКОВА Л. Г.

СООТНОШЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧАЩИМИ В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

(Ономасиологический и семасиологический подходы в фонологии)

1.1 Более ста лет назад И. А. Бодуэн де Куртенэ поставил вопрос: «в какой степени и с какой стороны даже данные фонетики годятся для морфологической классификации» [1, с. 103]. Признавая «одинаковость частных фонетических законов и процессов при совершенно различном морфологическом строе» (там же), Бодуэн вместе с тем считал, что «...морфологические сопоставления составляют исходную точку для сопоставлений фонетических» [2, с. 118], и выводил фонетические различия из морфологических. С особенностями морфологической структуры слова он связывал, в частности, расхождения в его суперсегментной организации и разное направление звуковых влияний и изменений в ариоевропейских и туранских языках [1, с. 103—104].

С течением времени представления о связи фонетического строя языка с морфологическим существенно расширились. В современной лингвистике соотнесенность с основными морфологическими типами языков усматривается не только в звуковой форме значащих единиц, в частности в средствах суперсегментной организации слова, но и в слогоделении и структуре слога (Е. Д. Поливанов, А. А. Драгунов и Е. Н. Драгунова, М. В. Гордина, Ю. В. Рождественский, В. Б. Касевич и др.), в составе фонем и дифференциальных признаков (Г. П. Мельников, Й. Вахек) и, наконец, в самом типе фонологических (Л. В. Щерба, Е. Д. Поливанов, М. В. Гордина, В. Б. Касевич, Нгуен Куанг Хонг и др.) или морфофонологических единиц (А. А. Драгунов).

1.2. В качестве определяющего начала по отношению к фонологическим единицам справедливо признаются значащие, двусторонние единицы языка, в первую очередь морфемы, с которыми звуковые единицы связаны непосредственными конститутивными отношениями. Фонологическая сегментация считается производной от морфологической. И с этим тоже нельзя не согласиться, ибо в языке как единстве формы и содержания ведущая роль принадлежит содержательной стороне. Сомнения появляются тогда, когда тип фонологической единицы выводится из узко понимаемой конститутивной функции, или, точнее, функции потенциального выразителя смысла, и ставится в прямую зависимость от минимального о б ъ е м а морфемы в отрыве от ее з н а ч е н и я и соотношения с другими значащими единицами языка; при этом не учитывается степень автономности звуковых единиц по отношению к морфеме, равно как и степень автономности значащих единиц разного ранга относительно друг друга. Соответственно языки разделяются на слоговые и неслоговые, что соотносится, хотя и не вполне совпадает, с делением их на изолирующие и неизолирующие. В слоговых языках морфема не бывает «мень-

ше» слога, и фонологической единицей — если не единственной, то основной — считается силлабема (слогофонема). В неслоговых языках морфема (морф) может быть экспонирована и неслоговым элементом (согласным), вследствие чего в качестве фонологической единицы принимается звукофонема, или просто «фонема». Правомерность такого разграничения не бесспорна и действительно оспаривается (например, М. К. Румянцевым). Но и противники, и сторонники разграничения силлабем и фонем не затрагивают причин указанных расхождений в звуковой форме морфем.

1.3. В этих расхождениях есть две стороны, требующие объяснения. Одна — количественная — касается минимального объема морфем: почему в одних языках он больше, чем в других? Другая — качественная — относится к форме морфем: почему в изолирующих языках морфема обязательно имеет слоговую форму, т. е. должна быть произносимой? Чтобы ответить на первый вопрос, необходимо учесть функционально-семантические свойства самих морфем как значащих единиц. Для ответа на второй вопрос следует, кроме того, принять во внимание соотношение морфемы со словом и предложением.

2.1. Обычно, когда фонологи говорят о способности или неспособности выделяемых звуковых единиц служить потенциальным выразителем смысла и самостоятельно экспонировать морфему, речь идет о «морфеме вообще», безотносительно к ее типу и значению. В результате упускается из виду самая существенная характеристика морфемы как минимальной значащей единицы языка — ее значение — и учитывается только признак минимальности. Между тем, если распространить ономасиологический подход (от значения к средствам выражения) на фонологический анализ, то нетрудно заметить, что экспонируемые слогом морфемы изолирующих языков в подавляющем большинстве либо являются знаменательными, либо совмещают знаменательную функцию со служебной; в неслоговых же языках морфемы, экспонируемые фонемой, напротив, обычно принадлежат к служебным. Таким образом, за различием в минимальном объеме морфем стоит расхождение в их типе и значении. А это значит, что при определении фонологических единиц знаменательные морфемы одних языков фактически приравниваются к служебным морфемам других языков. Тем самым нарушается принцип соизмеримости языков, требующий использования общих мер, или единиц измерения, в типологическом исследовании [3, с. 105—121].

2.2. Если же, следуя принципу соизмеримости, принять ономасиологический подход и сопоставить знаменательные морфемы слоговых и неслоговых языков, то можно обнаружить, что и в тех и в других односегментные знаменательные морфемы либо крайне редки, либо вообще отсутствуют. Разница лишь в том, что в слоговых языках такие морфемы могут быть экспонированы только гласным, а в неслоговых— и гласным, и согласным. Как правило же, несмотря на возможные межъязыковые различия в звуковой форме, знаменательные морфемы включают не одну сегментную единицу, а несколько. Это закономерность универсального порядка. Она проявляется независимо от наличия или отсутствия в языке собственно служебных морфем и объясняется функционально. Для осуществления номинативной функции, для выражения неисчислимого множества лексических значений, основными носителями которых выступают знаменательные морфемы, необходимо максимально использовать наличные звуковые средства — как в плане парадигматики, так и в плане синтагматики. Поэтому в знаменательных морфемах используется весь набор сегментных единиц и их комбинаторные возможности реализуются

полнее, чем в служебных морфемах. Для передачи более или менее узкого круга грамматических значений, особенно реляционных, обычно требуется меньше звуковых средств. Поэтому набор сегментных единиц (фонем), употребляемых в служебных морфемах, может быть ограничен, а сами служебные морфемы обычно короче знаменательных и нередко экспонируются одной фонемой.

3.1. Если бóльшая длина знаменательных морфем по сравнению со служебными — закономерность универсальная, то слоговая или неслоговая форма знаменательных морфем — примета типологическая, отражающая их соотнесенность со словом и предложением. Слог — это прежде всего произносительная и, следовательно, речевая единица. Однако единство языка и речи проявляется уже в том, что язык имеет линейный характер, который «...исключает возможность произнесения двух элементов одновременно» [4, с. 155]. Вследствие линейности языка синтагматика звуковых единиц изначально ориентирована на произносимость. В этом смысле слог приобретает *языковой статус и может быть признан одной* из рамочных единиц распределения и сочетаемости фонем, хотя и вторичной по отношению к значащим единицам.

Свойство произносимости, предполагающее слоговость, а также просодическую самостоятельность, — непременный атрибут предложения-высказывания как высшей единицы языка/речи и синтагмы (в щербовском смысле) как наименьшей значащей единицы высказывания, представляющей собой семантико-синтаксическое и фонетическое целое.

3.2. Слоговая или неслоговая форма значащих единиц низших рангов зависит от их свободы/связанности, в свою очередь сопряженной со степенью знаменательности. Слоговая форма обязательна для семантически самостоятельных единиц, способных непосредственно либо опосредованно служить экспонентом синтагмы и/или предложения-высказывания. Таковы прежде всего полнозначные слова, которые являются «основными дискретными единицами языка», — и потому, что «только употребление полнозначных слов связано с осознанием их смысла» [5, с. 114—115], и потому, что именно полнозначное слово как «синтаксический атом» может непосредственно составить потенциальный минимум синтагмы/высказывания. Таковы, далее, знаменательные морфемы, способные экспонировать полнозначное слово и — через посредство слова — предложение-высказывание.

Насколько регулярно знаменательные морфемы имеют слоговую форму в том или ином языке, в той или иной части речи, зависит от степени связанности морфем, от господствующего типа словоформы — коллекционного или селекционного (по Г. П. Мельникову), а значит, и от степени грамматичности языка и отдельных частей речи. Если знаменательная морфема только «временно» соединяется с другой знаменательной или служебной морфемой и может употребляться самостоятельно, как, например, в классических агглютинативных и изолирующих языках, то она должна быть слоговой. Если же знаменательная морфема постоянно выступает в связанном виде, в соединении со служебными морфемами и не употребляется самостоятельно в качестве фразового слова, то слоговая форма для нее совсем не обязательна. Не случайно в семитских языках, характеризующихся самым высоким индексом грамматичности [6, с. 321], знаменательные корни имеют обычно неслоговую форму, чаще всего трехсогласную.

3.3. Еще менее обязательна слоговая форма для семантически ущербных слов и морфем, неспособных непосредственно или опосредованно

составить потенциальный минимум высказывания. Таковы в первую очередь служебные морфемы, употребляющиеся только в связанном виде. (В противном случае, как показывает пример отделяемых приставок в немецком языке, и служебные морфемы должны быть слоговыми.) Таковы, наконец, служебные слова, в особенности если они не являются формально автономными. (Значимость последнего фактора подтверждается на материале русского языка обязательностью слоговой формы для союзов, но не для предлогов, среди которых имеются и неслоговые.)

3.4. В случае поливалентности значащей единицы (если она функционирует то как служебная и синтаксически несамостоятельная, то как знаменательная и синтаксически самостоятельная) слоговая форма обязательна. Иначе использование языковой единицы в знаменательной функции, в том числе в качестве потенциального минимума синтагмы/высказывания, станет невозможным. Если употребление значащих единиц то в одной, то в другой функции является правилом и морфемы, постоянно выступающие в связанном виде, либо редки, либо отсутствуют, слоговая форма оказывается обязательной для значащих единиц всех рангов и неслогообразующие сегментные единицы — согласные — не могут самостоятельно экспонировать морфему. Поэтому в изолирующих языках, где «все знаменательные и часть служебных морфем соотносимы с соответствующими словами» [7, с. 51] и способны к самостоятельному употреблению, морфемы всегда имеют слоговую форму.

3.5. Из сказанного ясно, что слоговость не есть общее свойство морфемы, присущее ей независимо от типа, значения и соотношения с двусторонними единицами более высоких рангов. Нет оснований утверждать, будто бы вообще «...морфема тяготеет к тому, чтобы совпасть со слогом» [8, с. 75]. Даже у знаменательных морфем, не говоря о служебных, такое тяготение вряд ли имеет место. Судя по семитским языкам, слоговость вовсе не обязательна для знаменательного корня, как не обязательно и вхождение сегментов корня в один слог. Если же знаменательный корень имеет слоговую форму, то в зависимости от числа сегментных единиц в данном языке и наличия/отсутствия суперсегментных средств организации морфемы и слова он может включать и более одного слога. Для некоторых языков (австронезийских, банту) двусложность корня, а следовательно, и слогораздел внутри корня являются нормой. Наличие в корне одного слогообразующего элемента (гласного), как это чаще всего бывает в индоевропейских языках, еще не означает обязательного совпадения корневых границ со слоговыми. Корень может быть составной частью слога, а может и разделяться слоговой границей. Таким образом, независимо от наличия/отсутствия и числа гласных в знаменательном корне его компоненты могут входить в разные слоги.

Поскольку слоговость — это обязательное свойство синтаксически самостоятельных единиц (предложения-высказывания, синтагмы и — как минимум — полнозначного слова, но не морфемы), то регулярная слоговость морфемы в изолирующих языках служит признаком того, что она (морфема) активно выступает в качестве самостоятельного экспонента значащих единиц более высокого ранга, способных к отдельному употреблению.

4. О том же говорит постоянное совпадение границ смыслового и фонетического членения речи в изолирующих языках. В этом совпадении обычно усматривается действие «закона морфологической значимости слогоделения». Считается, что именно он «...предопределяет тот основной способ соединения неизменяемых морфем, который называется агглютина-

тивной техникой, техникой склеивания» [9, с. 35]. Действительно, поскольку компоненты слога характеризуются максимальной взаимосвязанностью и слитностью, наличие/отсутствие переразложения слогов на морфемных (морфных) стыках может служить одним из важных показателей фузионной или агглютинативной техники соединения морфем. Однако, говоря о «законе морфологической значимости слогоделения», следует учесть, что в классических агглютинативных языках расхождение морфного стыка со слогоразделом вполне возможно. Так называемая «морфологическая значимость слогоделения» есть примета лишь одного типа языков, использующих агглютинативную технику, а именно изолирующих языков. Соответственно причины действия данного закона надо искать в изоляции. Коль скоро изоляция — это синтаксическая характеристика [9, с. 156—158], то и постоянное совпадение слоговых границ с семантическими в изолирующих языках должно быть отнесено за счет синтаксических свойств значащих единиц, тем более что, по данным типологического анализа, совмещение слоговых и семантических границ обязательно прежде всего для синтаксически самостоятельных единиц. Чем выше ранг значащей единицы, тем обязательнее совпадение ее границ со слоговыми [10, с. 322—325]. Следовательно, слогоделение в первую очередь синтактизовано и лишь затем может быть морфологизовано. Так как выраженность синтаксических отношений внутри слова в неизолирующих языках не препятствует переразложению слогов на стыке слов, можно полагать, что в изолирующих языках именно невыраженность синтаксических связей в само́м слове требует стабильности словесных границ в целях сохранения отдельности слова. Устойчивость слоговых границ в составе морфемных комплексов, видимо, объясняется регулярным употреблением их компонентов то слитно, то раздельно [9], вследствие чего границы морфем в изолирующих языках — это, как правило, границы потенциальных слов. Их постоянство поддерживается также просодической самостоятельностью компонентов комплекса и выработавшимся противоположением начальнокорневых эксплозивных согласных конечнокорневым имплозивным, если последние вообще имеются в данном языке.

5.1. С изложенных здесь позиций тон и дистрибуция сегментных единиц в слоговых языках не могут рассматриваться как свойство слога. (Понимание тона как характеристики слога закреплено, в частности, в терминах «тонированный слог», «слоговой акцент».) И тон, и невозможность перемещения слоговых границ (впрочем, не абсолютная), и более или менее жесткие ограничения в распределении сегментных единиц характеризуют не слог как таковой, а слог как означающее морфемы. Причем это такая морфема, которая, в свою очередь, служит или может служить экспонентом знаменательного слова и в этом качестве способна к самостоятельному синтаксическому употреблению. Поэтому распространенное противопоставление слоговых языков неслоговым с точки зрения структуры слога и степени его стабильности представляется некорректным. Слог в слоговых языках и слог в неслоговых языках — единицы несопоставимые. В слоговых языках слог непосредственно соотнесен со значащими единицами ввиду отношений эквивалентности между слогом и морфемой, слогом и простым словом, а через слово благодаря его потенциальной изолируемости слог оказывается соотнесенным с высказыванием. В неслоговых языках слог не соотнесен непосредственно со значащими единицами. Так, в русском языке морфема может быть нулевой, неслоговой, односложной и многосложной. Слог может включать в себя один

или два сегмента морфа и от одного до четырех морфов, вследствие чего в слоге может проходить от одного до трех морфных стыков.

Так как слог слоговых языков в большинстве своем является непосредственным означающим знаменательной морфемы, он сопоставим скорее всего с означающим аналогичной морфемы неслоговых языков. При таком сопоставлении обнаруживается, что в слоговых и неслоговых языках действуют сходные закономерности. И в тех и в других языках условием фонетической самостоятельности морфем является их семантико-синтаксическая самостоятельность. Чем чаще знаменательная морфема совпадает со словом (словоформой), тем более самостоятельна она фонетически, что с очевидностью обнаруживается при словосложении. В составе сложного слова подобные морфемы сохраняют свои суперсегментные характеристики (тон, ударение, сингармонизм) и слоговое строение и претерпевают мену фонем по типу внешнего, а не внутреннего сандхи. В случае ослабления знаменательности в результате грамматикализации одного из компонентов сложного слова он подвергается и фонетическому ослаблению, в том числе в плане суперсегментной и слоговой организации. Тенденции такого рода отмечены как в изолирующих языках, так и в языках флективного и агглютинативного строя.

5.2. Жесткая взаимосвязанность слоговых и морфных границ в слоговых языках определяется, таким образом, функционально-семантическими свойствами морфем, их лексичностью и характером конститутивных отношений между морфемой и словом, их потенциальной эквивалентностью ввиду способности знаменательной морфемы служить самостоятельным экспонентом слова. Отсутствие столь же жесткой корреляции между слогом и морфемой в неслоговых языках не означает абсолютной несвязанности между слоговым и морфным членением и не свидетельствует о несемантизованности слогораздела. Еще Бодуэн заметил, что «...совпадение или несовпадение морфологических единиц с фонетическими единицами второй степени (слогами)..., повторяясь в целом ряде слов..., постоянно ассоциируется с представлением определенных форм и становится по необходимости морфологической чертой» [11, с. 166]. В одном и том же языке разные типы морфных стыков по-разному соотносятся со слоговыми границами, так как техника соединения и варьирование морфем зависят от их значения, положения в слове, от того, присоединяются ли они к основе или к цельнооформленному слову. Например, в русском языке в соответствии с агглютинативным характером префиксов и фузионным характером флексий совпадение морфо- и слогоделения наиболее вероятно на стыке префикса с корнем и крайне редко на стыке корня или суффикса с флексией. «Серединные» стыки — стык корня с суффиксом и особенно стык суффикса с суффиксом — допускают бóльшую свободу. В частности, на стыке суффиксов друг с другом равновероятно как совпадение, так и несовпадение слоговых и морфных границ [12].

5.3. Влияние морфологического строя и, в частности, конститутивных отношений между морфемой и словом на распределение сегментных единиц в структуре слога-морфемы в слоговых языках становится очевидным при сопоставлении простых односложных слов одинакового слогового строения CVC в таких разнотипных языках, как русский, турецкий и вьетнамский. «Специфика отдельных фонетических позиций в плане функционирования сегментных единиц (прежде всего согласных) определяется соотношением морфемы и слова. В любой своей форме слово выступает как „определенный тип связи морфем“ (В. М. Солнцев). С соответствии с этим в консонантной структуре простого слова разграни-

чиваются внутрисловесные/внутриморфемные позиции, позиции потенциального межморфемного стыка и позиции потенциального межсловесного стыка» [13, с. 28—29]. В русском языке благодаря развитой предкорневой и посткорневой аффиксации оба согласных в словах структуры CVC выступают в позиции потенциального межморфемного стыка и являются потенциально серединными. В суффигирующем турецком начальный согласный находится в позиции потенциального межсловесного стыка, конечный — в позиции потенциального межморфемного стыка и, следовательно, начало слова противополагается не собственно конечной, а потенциально серединной позиции. В изолирующем вьетнамском оба согласных занимают позиции потенциального межсловесного стыка и, таким образом, в полной мере осуществляется разграничение начала и конца слова. В соответствии с этим в русском языке согласные в словах данной структуры связаны отношениями существенной положительной корреляции ($r = +0{,}772$). В турецком ($r = -0{,}030$) и вьетнамском ($r = -0{,}463$) подобная корреляция не обнаруживается. При этом во вьетнамском языке в отличие от турецкого намечается отрицательная корреляция между согласными, разрешенными в инициальном и финальном положениях (отрицательное значение r довольно близко к критическому). Как видно, степень дифференциации позиций определяется морфологической структурой слова, наличием или отсутствием предкорневой и посткорневой аффиксации. Дистрибутивные закономерности, приписываемые слогу в слоговых языках, связаны со значащими единицами языка. За особыми свойствами вьетнамского слога стоит морфологический строй языка.

5.4. Если при определении базовых единиц языка принимать во внимание их звуковую организацию, то, учитывая слоговую форму, соотношение слоговых границ с семантическими и характер дифференциации последних в составе значащих единиц, базовой единицей изолирующих языков следует признать не морфему, а слово. И сами эти языки нельзя считать «по природе несловесными» [14, с. 145]. Напротив, это языки по преимуществу «лексические» или даже «ультралексические» [4, с. 165—166], «в высшей степени „словесные“» [7, с. 51].

6.1. Указанная зависимость звуковой формы морфем от их значения и соотношения с остальными значащими единицами убедительно подтверждается данными квантитативно-типологического анализа 11 языков различных типов: вьетнамского, индонезийского, турецкого, монгольского, маньчжурского, японского, телугу, хинди, урду, таджикского и арабского. За основу были взяты художественные тексты и вычисленные по ним типологические индексы, которые представлены в коллективной монографии [6]. Были учтены наиболее важные, как показал С. Е. Яхонтов [6, с. 305—323], индексы лексичности, агглютинации, аналитичности, примыкания, управления и словоизменения. Кроме того, были дополнительно высчитаны индексы, показывающие частоту морфов, экспонированных фонемой, частоту морфов, экспонированных слогом, частоту морфных стыков, проходящих внутри слога[1], а также модифицированный индекс синтеза, который определялся как отношение числа морфов к числу знаменательных слов. Затем языки были ранжированы в порядке убывания

[1] Последние три индекса можно назвать морфонологическими. Ввиду спорности слогоделения при наличии в слове интервокальных консонантных сочетаний, морфные стыки между согласными сочетания и перед ним не учитывались и подсчитывались только стыки между согласным и гласным, а также между гласным и конечным согласным.

численных значений индексов, и на этой основе выведены коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между анализируемыми индексами.

6.2. Согласно полученным данным, по характеру корреляции друг с другом грамматические индексы четко разделяются на две группы. Хорошая корреляция ($r = 1{,}0 \ldots 0{,}7$) связывает, с одной стороны, индексы лексичности, синтеза и агглютинации, а с другой — индексы словоизменения, аналитичности, примыкания и управления. Первая группа индексов включает морфологические характеристики, вторая — синтаксические, указывающие на способ выражения и тип синтаксических отношений. Эти две группы не независимы друг от друга, но межгрупповые корреляции слабее внутригрупповых. Средняя существенная корреляция ($r = 0{,}7 \ldots 0{,}5$) связывает индексы лексичности и синтеза с индексами примыкания и словоизменения, причем между индексами лексичности и примыкания, синтеза и словоизменения имеет место положительная корреляция, между индексами лексичности и словоизменения, синтеза и примыкания — отрицательная. Наиболее регулярны грамматические характеристики языков с выраженными изолирующими тенденциями — индонезийского и особенно вьетнамского. Они имеют самые высокие среди рассматриваемых языков индексы лексичности, агглютинации, примыкания, аналитичности и самые низкие индексы синтеза, словоизменения и управления. На другом полюсе единообразия меньше, и вьетнамскому и индонезийскому противостоит то арабский (самые высокие индексы синтеза и словоизменения, самый низкий индекс лексичности), то турецкий (самые низкие индексы примыкания и аналитичности), то хинди и урду (самый низкий индекс агглютинации), то японский (самый высокий индекс управления).

6.3.1. При ранжировании языков по частоте однофонемных морфов и частоте морфных стыков внутри слога на одном полюсе оказываются урду, хинди и арабский, на другом — вьетнамский и индонезийский. Данные индексы образуют хорошую или среднюю существенную корреляцию с индексами первой группы, малую ($r = 0{,}5 \ldots 0{,}2$) — с индексами примыкания и словоизменения, низкую ($r = 0{,}2 \ldots 0{,}0$) — с индексами управления и аналитичности.

В этой градации, как и в соотношении отдельных морфологических индексов с морфонологическими, можно заметить определенную закономерность. Так как основная функция звуковых единиц состоит в выражении языковых значений путем конституирования морфем различных типов, то на первое место по степени влияния на морфонологические характеристики естественно выдвигаются морфологические показатели, а среди них — соотношение в тексте знаменательных и служебных морфов. Поскольку же фонема конституирует морфему как составную часть слова, то частота однофонемных морфов и соотношение морфоделения со слогоделением оказываются связанными с функционально-семантическими и грамматическими свойствами слова, включая общую сложность его морфемного строения и технику соединения морфем. Особенно высока степень корреляции морфонологических индексов — частоты однофонемных морфов и частоты морфных стыков внутри слога — с индексами лексичности и агглютинации, ниже — степень их корреляции с индексами синтеза. Очевидно, качественные характеристики, прямо или косвенно связанные с планом содержания, а именно значение и способ связи морфем как элементов содержания, играют бóльшую роль, чем количественный показатель степени сложности морфемного строения слова.

6.3.2. Чем ниже индекс лексичности и, значит, выше индекс грамматичности, тем выше индекс синтеза и ниже индекс агглютинации. С увеличением индекса грамматичности возрастает частота однофонемных морфов, поскольку таковыми могут быть по преимуществу носители грамматических значений. Соответственно во вьетнамском и индонезийском языках при минимальной величине индекса синтеза и максимальных значениях индексов агглютинации и лексичности однофонемные морфы отсутствуют, тогда как в хинди, урду и арабском — в языках с наиболее низкими значениями индексов лексичности и агглютинации, а значит, и самыми высокими индексами грамматичности и фузии — практически каждый второй морф экспонирован одной фонемой. Так как по сравнению с согласными гласные экспонируют служебные морфы обычно чаще (единственное исключение из числа исследованных языков составляет монгольский), то и коэффициент корреляции индекса грамматичности с частотой однофонемных морфов, выраженных гласными, несколько выше (+0,918 для гласных, +0,814 для согласных).

6.3.3. С повышением частоты однофонемных морфов изменяется соотношение морфоделения со слогоделением, так что согласный и гласный компоненты слога все чаще разделяются морфным швом. Чем выше индекс лексичности и агглютинации, тем реже морфный шов проходит внутри слога. Во вьетнамском такие случаи вообще отсутствуют. В индонезийском, а также маньчжурском и японском они довольно редки. По мере роста индексов грамматичности и фузии морфоделение все чаще расходится со слогоделением. В арабском, хинди и урду две трети и даже более морфных стыков не совпадают со слогоразделом. То обстоятельство, что общая частота морфных стыков, проходящих внутри слога, в наибольшей степени коррелирует с индексом агглютинации, позволяет считать соотношение морфо- и слогоделения существенным проявлением преобладающей в данном языке техники соединения морфем. В то же время достаточно высокая степень корреляции частоты морфных стыков внутри слога со всеми анализируемыми морфологическими индексами может служить еще одним аргументом в пользу той точки зрения, что соотношение морфо- и слогоделения морфологизовано не только в случае их совпадения, как в изолирующих языках.

6.3.4. В отличие от частоты однофонемных морфов и вероятности морфных стыков внутри слога частота морфов, совпадающих в своих границах со слогом, не обнаруживает существенной корреляции ни с одним из морфологических индексов. Максимальное число морфов-слогов (96,5%) представлено во вьетнамском. В два с лишним раза меньше их в маньчжурском и японском, в 4—5 раз меньше в телугу, хинди, урду, арабском и индонезийском (от 23 до 17%). Совсем редки морфы-слоги в турецком, таджикском и монгольском (от 12 до 7%).

6.3.5. Однако если вычислить разницу между частотой морфов-слогов и частотой однофонемных морфов и выстроить языки так, чтобы самый высокий (первый) ранг получил язык, в котором наблюдается наиболее значительное преобладание односложных морфов над однофонемными, а самый низкий (последний) ранг — язык, в котором отмечен наибольший перевес однофонемных морфов над односложными, то порядок следования языков существенно изменится. Высшие ранги в этом случае займут наряду с вьетнамским маньчжурский, японский и индонезийский языки, в которых морф чаще бывает экспонирован слогом, а однофонемные морфы или исключены, или редки. В турецком, а также в телугу число тех и других морфов практически одинаково. В остальных языках,

особенно в арабском, хинди и урду, преобладают однофонемные морфы. В целом, таким образом, обнаруживается хорошая положительная корреляция с индексами лексичности и агглютинации и средняя существенная отрицательная корреляция с индексами синтеза.

6.3.6. В грамматических языках (языках с развитой морфологией) влияние семантического фактора на план выражения морфем отчетливо выявляется в звуковых различиях между разными типами морфем — как в целом, так и в зависимости от принадлежности к определенной части речи. Например, в русском языке совпадение морфа со слогом чаще встречается у префикса и корня как более лексичных морфем, совпадение же морфа с фонемой — у суффикса и флексии как более грамматичных. Эти общие для русского слова тенденции могут по-разному преломляться в существительных и глаголах в соответствии с различиями в функционально-семантических свойствах однотипных морфем. Так, семантически более насыщенные сравнительно с именными глагольные префиксы обнаруживают и бóльшую фонетическую самостоятельность, чаще совпадая со слогом. При меньшей синтаксической самостоятельности глагольного корня сравнительно с именным ограничение на употребление однофонемных корневых морфов у глаголов оказывается не таким строгим, как у существительных. Отличаясь широтой и отвлеченностью значения, глагольные суффиксы намного чаще представлены однофонемными морфами, чем в тенденции более конкретные суффиксы имен существительных [15, с. 24—26].

7.1. Таким образом, ономасиологический анализ соотношения звуковых и значащих единиц свидетельствует о дифференцированном использовании звуковых средств для выражения различных типов языковых значений. Отсюда типологические расхождения в минимальном объеме морфем, а значит, и неодинаковая степень автономности отдельных видов морфем по отношению к своим экспонентам — фонеме и слогу.

Наличие морфем и слов, экспонированных слогом или фонемой, в свою очередь ограничивает автономность звуковых единиц относительно значащих. Это обстоятельство обычно не учитывается фонологами, а между тем, как указывает Л. Р. Зиндер, звуковая единица может считаться самостоятельной языковой единицей, автономной по отношению к морфеме или слову, только благодаря тем случаям ее употребления, когда она «... не является звуковым обликом ни слова, ни морфемы и не имеет никакой морфологической функции, т. е. когда она представляет собой чисто фонологическую единицу... только тогда, когда звук речи выделяется именно как элемент плана выражения языкового знака, о нем можно говорить как об особой единице — фонеме, отличной от слова или морфемы» [16, с. 38—39].

7.2. Если с этих позиций, т. е. руководствуясь семасиологическим подходом (от средств выражения к значению), сравнить «силлабему» слоговых языков и фонему неслоговых языков, то указанные единицы вновь окажутся несоизмеримыми. Степень автономности фонемы и слога по отношению к морфеме обратно пропорциональна доле фонем и слогов, которые служат самостоятельными экспонентами морфем (морфов). В слоговых языках степень автономности слога по отношению к морфеме чрезвычайно низка. Как показал анализ вьетнамских текстов, примерно 90% слогов самостоятельно экспонируют морфемы и только 10% являются автономными. В неслоговых языках возможно прямо противоположное соотношение. Например, в маратхи самостоятельными экспо-

нентами морфов — в зависимости от функционально-стилистической характеристики текста — выступают 11—16% слогов, в русском — 13—31% [17, с. 30, 46], в арабском — 18—22%. Доля фонем, самостоятельно экспонирующих морф, в неслоговых языках никогда не составляет большинства. Даже в языках, отличающихся высоким индексом грамматичности, где каждый второй морф текста может быть экспонирован одной фонемой, доля таких фонем — при средней длине морфа в 2—3 фонемы — достигает не более 25% от общего числа фонем в тексте. По данным автора и ее учеников, в русском языке в качестве самостоятельных экспонентов морфов выступает 10—19% фонем в тексте, в маратхи — 19—24% [17, с. 205, 212], в арабском — 15—19%. В классических агглютинативных языках доля фонем, самостоятельно экспонирующих морфы, еще ниже. Например, в турецком языке она составляет всего 4%, в японском — 6%. С этими языками практически смыкаются изолирующие, в которых морфема, хотя и редко, может быть экспонирована одиночным гласным, но, как правило, в силу своей знаменательности она содержит более одной сегментной единицы, так что автономность последних оказывается максимальной.

Учитывая указанные расхождения в степени автономности слога и его составляющих по отношению к морфеме, изолирующие языки должны быть признаны по природе своей звукофонемными. Их отличие от неизолирующих языков в этом плане может состоять только в большей автономности фонемы по отношению к морфеме ввиду высокой лексичности языка и отсутствия или ограниченности собственно служебных морфем и соответственно в затрудненной вычленяемости фонем. Иными словами, будучи «в высшей степени словесными», изолирующие языки именно поэтому являются также в высшей степени звукофонемными и в минимальной степени силлабемными. В несоотнесенности фонем со значащими единицами определенного типа, в практическом отсутствии фонем, самостоятельно экспонирующих морфему и слово, отчетливо обнаруживается более высокая степень произвольности знака в «лексических» изолирующих языках сравнительно с «грамматическими» неизолирующими [4, с. 165—166].

7.3. Хотя в целом — по отношению к «морфеме вообще» — фонема более или менее автономна во всех языках, однако ввиду указанной нетождественности в звуковой организации разных типов морфем степень автономности фонем существенно расходится в зависимости от лексичности / грамматичности экспонируемых единиц. Фонема вполне автономна по отношению к знаменательным морфемам. С ослаблением лексичности и усилением грамматичности морфем фонемы становятся все менее автономными и могут не обладать этим свойством, если данный тип служебных морфем всегда или в большинстве случаев экспонируется одной фонемой. Таковы, согласно статистическим подсчетам, фонемы, экспонирующие флексии в маратхи [17, с. 212] и в арабском.

Степень автономности фонемы по отношению к морфеме тесно связана также с функционально-семантическими свойствами слова. По данным русского языка, в именах существительных как носителях номинативной функции (и потому более лексичных) степень автономности фонемы по отношению к морфеме выше, чем в глаголах — носителях предикативной функции. Доля фонем, выступающих экспонентами морфов, составляет у существительных около 14%, а у глаголов — примерно 32% от общего числа фонем. В соответствии с различиями в степени знаменательности корня фонема максимально автономна по отношению к субстантивному

корню, ниже ее автономность по отношению к глагольному корню, еще ниже — по отношению к местоименному корню [15, с. 27—29].

По степени автономности фонем в составе служебных слов можно судить о том, в какой мере они «отмежевались» от знаменательных слов в данном языке. В русском языке, например, служебные слова по степени автономности фонем в их составе сближаются со служебными морфами и, подобно последним, могут быть экспонированы и согласным, и гласным. В маратхи служебные слова ближе к знаменательным и, как и знаменательные корни, не могут быть экспонированы одиночным гласным [17, с. 53, 205, 212].

7.4. Связь между степенью автономности фонем и соотношением в языке грамматического и лексического проявляется также в неодинаковой автономности разных классов фонем, в первую очередь согласных и гласных. Поскольку однофонемную структуру имеют почти исключительно служебные морфы, экспонентами которых чаще бывают гласные, последние уступают согласным по степени автономности. По результатам анализа русского художественного текста, особенно велико различие в автономности согласных и гласных в имени существительном как менее грамматичной части речи. Здесь экспонентами морфов выступают 28,4% гласных и только 3% согласных. В глаголе в силу большей его грамматичности и фузионности автономность согласных и гласных, равно как и противопоставленность их друг другу в этом плане, ослабевает: самостоятельными экспонентами морфов служат 40,9% гласных и 25,9% согласных. Ввиду предпочтительной закрепленности согласных за выражением лексических значений, а гласных — за передачей грамматической информации, падение автономности фонем в составе знаменательных корней сопряжено с согласными, в составе флексий — в основном с гласными. Снижение автономности согласных в составе аффиксов, как правило, указывает на относительно высокий семантический вес этих морфем [15, с. 27—30].

7.5. Значимость иерархических отношений между фонемой и морфемой, неодинаковая нагрузка классов фонем в конституировании разных типов морфем и тем самым в выражении языковых значений явственно прослеживается в поморфемном распределении отдельных фонем и фонемных классов и соответственно в их парадигматике.

Как известно, иерархия членов фонематических противопоставлений, и, в частности, разграничение немаркированных и маркированных фонем, рассматривается обычно или как результат фонологически обусловленной нейтрализации, или как следствие «естественности» / «неестественности» сочетания определенных различительных признаков. Одним из выражений неравнозначности членов фонематических противопоставлений считается меньшая частота употребления маркированного члена сравнительно с немаркированным. При этом учитывается общая частота встречаемости фонем в тексте и совершенно не обращается внимание на то, как распределяются они по морфемам. Между тем пробные подсчеты, выполненные автором на материале рассказа М. М. Пришвина «Говорящий грач», показали, что существует согласованность между характеристиками фонем и морфем в отношении маркированности. Степень маркированности отражает стратификацию противопоставлений на фонологическом и морфологическом уровне, первичность одних фонем и морфем, вторичность других. Чем выше степень маркированности фонем, тем более ограничена их встречаемость в маркированных (служебных) морфемах. В частности, в русском языке среди фонем, участвующих

одновременно в противопоставлениях по глухости-звонкости и твердости-мягкости, самой широкой поморфемной дистрибуцией характеризуются немаркированные твердые глухие согласные (они представлены во всех типах морфем), самой узкой — дважды маркированные мягкие звонкие согласные, встретившиеся только в знаменательных корнях, т. е. в немаркированных, первичных морфемах.

8.1. Действие межуровневых связей и, в частности, ограниченная автономность звуковых единиц по отношению к значащим достаточно регулярно выявляются и в речевой деятельности.

Согласно экспериментальным данным, полученным М. В. Баде на материале двух неслоговых языков — русского и маратхи [17], восприятие речи отражает взаимодействие фонетического членения речи с морфологическим и тесно связано с соотношением в языке лексического и грамматического.

В частности, восприятие слога [17, с. 55—72] определяется тем, как он соотносится со значащими единицами. Благодаря большей семантической и синтаксической самостоятельности слоги-слова опознаются лучше, чем «связанные» слоги, экспонирующие морфы и их сегменты. Вследствие соотнесенности слогоделения с членением речи на словоформы и морфы опознаваемость слога зависит от соотношения его границ со словесными и морфными. Словесные границы сравнительно с морфными сильнее влияют на опознаваемость слогов. При этом начальные слоги характеризуются самой высокой опознаваемостью (что подтверждается также данными работы [18, с. 6—10]), а конечные лучше опознаются тогда, когда слогораздел совпадает с морфным стыком. Кроме того, на опознание слога воздействует то обстоятельство, проходит ли внутри него морфный стык и какой именно. Причем для носителей русского языка существенно и то, сколько морфных швов рассекает слог — один или два. При отсутствии морфного шва слог опознается лучше всего. Если в слоге имеется один морфный шов, а тем более два, опознаваемость снижается. Необходимо подчеркнуть, что указанные зависимости проявляются тем определеннее, чем четче разграничены в данном языке и в данном функциональном стиле лексическое и грамматическое, чем ближе словоформы к селекционному типу.

8.2. Весьма многообразно проявляется в восприятии речи соотнесенность фонемы с морфемой. Во-первых, средняя опознаваемость фонем в различных типах морфов не совпадает. Так, в русском языке фонемы лучше всего опознаны в корнях, а среди аффиксов более высокой опознаваемостью фонем характеризуются словообразовательные морфы, самая низкая опознаваемость фонем отмечена во флексиях [17, с. 80—107]. Очевидно, чем выше частота повторяемости морфов (а она возрастает по мере увеличения их грамматичности), тем небрежнее их произношение и ниже опознаваемость экспонирующих фонем. Во-вторых, опознаваемость корневых согласных в морфонологически маркированных стыковых позициях зависит от техники соединения и степени связанности с соседним морфом, а значит, косвенно от его смыслового веса. В русском языке конечный согласный знаменательного корня в абсолютном исходе слова опознан лучше, чем перед аффиксом. В языке маратхи конечнокорневой согласный лучше всего опознан перед знаменательным морфом, хуже перед служебным словом-энклитикой и еще хуже перед аффиксом [17, с. 81—82, 110]. В-третьих, опознаваемость определенных классов фонем отражает степень их закрепленности за тем или иным типом морфем, за определенной позицией в составе данных морфем. Например,

в маратхи в соответствии с построением консонантной структуры слова по восходящей звучности [13, с. 8—9] глухие согласные (в первую очередь смычные) лучше опознаются в предкорневых служебных морфах и в начале знаменательного корня, а неглухие (прежде всего плавные) — в посткорневых служебных морфах и в середине и конце знаменательных морфов [17, с. 112, 116—117, 120—121]. В-четвертых, опознаваемость членов фонематического противопоставления зависит от того, морфологизовано ли оно и в какой степени. Члены морфологизованных противопоставлений (как, например, арабские гласные, русские твердые и мягкие согласные) слабее различаются по опознаваемости, нежели фонемы, морфологическая нагрузка которых либо ослаблена, либо вовсе отсутствует (таковы, в частности, гласные в русском языке и нефарингализованные и фарингализованные согласные в арабском). Бóльшая морфологизация арабских гласных сравнительно с гласными индоевропейских языков приводит к тому, что при восприятии русской речи арабы в отличие от русских, испанцев, французов, англичан связывают опознание мягкости согласных не с гласным или *i*-обрáзным переходом от согласного к гласному, а исключительно или преимущественно с качеством самого согласного [18, с. 18].

8.3. В свою очередь фонемная структура морфемы (морфа) несет на себе отпечаток слова, в котором она выступает, а сегментная организация слова характеризует его как синтаксическую и морфологическую единицу одновременно. Соответственно фонемное распознавание морфов зависит от длины и глубины словоформ, от модели их морфного строения и частеречной принадлежности, от степени морфемной и словообразовательной членимости слова, от того, насколько оно привычно и употребительно, а на фонемном распознавании слов отражается степень их синтаксической самостоятельности, сложность морфемного строения, степень разграничения служебных и знаменательных морфем в данном языке [17, с. 73—158].

9. Изложенные выше теоретические соображения и фактические данные позволяют заключить, что вследствие единства и целостности языковой системы вопрос о типе фонологических единиц не может быть решен вне связи звуковых единиц со значащими, без установления статуса и соотношения значащих единиц в языке данного типа, без определения степени автономности звуковых единиц по отношению к значащим и наоборот. Иначе говоря, выявление функциональных звуковых единиц требует синтеза ономасиологического и семасиологического подходов. Как характеристика значащих единиц неполна без описания их звуковой организации, так и функциональная характеристика звуковых единиц невозможна безотносительно к конституируемым значащим единицам. Целостная типологическая характеристика языковой системы должна включать указание на способ связи звучания и значения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Подробная программа лекций в 1876—77 учебном году // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.
2. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Некоторые отделы «сравнительной грамматики» славянских языков // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.
3. Принципы описания языков мира. М., 1976.
4. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
5. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
6. Квантитативная типология языков Азии и Африки. Л., 1982.

7. *Солнцев В. М.* Морфема и слово // Языки Юго-Восточной Азии. Вопросы морфологии, фонетики и фонологии. М., 1970.
8. *Герценберг Л. Г.* Морфологическая структура слова в ирландском языке // Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. М., 1970.
9. *Солнцева Н. В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
10. *Вардуль И. Ф.* Основы описательной лингвистики. М., 1977.
11. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* О связи фонетических представлений с представлениями морфологическими, синтаксическими и семасиологическими // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.
12. *Попова Е. Н.* Соотношение слога и морфемы в имени и глаголе // Материалы XVIII научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов (филология). М., 1983. Деп. в ИНИОН АН СССР. 2. II. 84. № 15482.
13. *Зубкова Л. Г.* Сегментная организация простого слова в языках различных типов: Автореф. дис. . . . докт. филол. наук. Л., 1978.
14. *Milewski T.* Предпосылки типологического языкознания //Z zagadnień językoznawstwa ogolnego i historycznego. Warszawa, 1969.
15. *Зубкова Л. Г.* Части речи в фонетическом и морфонологическом освещении. М., 1984.
16. *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. М., 1979.
17. *Баде М. В.* Соотношение морфологического и фонетического членения речи и ее восприятие: Дис. . . . канд. филол. наук. М., 1986.
18. *Гаданфар Ф. Х.* Тембровые корреляции согласных в русском и арабском языках: Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. М., 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

СКЛЯРЕВСКАЯ Г. Н.

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ

Стилистический аспект словаря представляет собой наименее разработанную и наиболее уязвимую область лексикографии. Это имеет ряд причин. Очевидны сложности, связанные с характером самого материала, который с трудом поддается стандартизации и унификации, необходимым для любого словаря. В современных исследованиях все чаще высказываются идеи относительно того, что стилистические явления языка невозможно подвергнуть формализации и моделированию (констатируя этот факт, И. Р. Гальперин ссылается на американских лингвистов и логиков, которые ввели в лингвостилистику понятия «размытость», «неопределенность», «смутность») [1]. Соотносимые с психолингвистическими и психическими сферами, стилистические категории допускают субъективизм и часто лишены определенности, что отражается в неоднозначных и неустойчивых терминах, которыми оперирует стилистика: стилистическая окраска, стилистический оттенок, стилистическая тональность, стилистическое значение, стилистическая характеристика, стилистическое впечатление, стилистические коннотации, стилистический ореол. Многочисленные работы по стилистике, отражая теоретические разногласия исследователей, нередко вносят терминологическую и классификационную неупорядоченность в словарное дело и лишают его надежных ориентиров [2—10] [1].

В русской лексикографии стилистические пометы в словарях на протяжении десятилетий продолжают оставаться объектом критики в работах стилистов, лексикологов и самих лексикографов, и критика нередко оказывается весьма жесткой: по отношению к словарным стилистическим разработкам применяются такие характеристики, как «неупорядоченность», «разнобой», «путаница» и даже «полная мешанина» [11]. В специальных лексикографических исследованиях дается детальный и конкретный анализ системы помет, устанавливаются факты разного характера: несоответствие той или иной пометы инструктивным требованиям, расхождения между пометой и цитатным материалом, несогласованность с теоретической стилистикой и т. п., а также предпринимаются попытки обобщить и синтезировать весь материал [12—19].

Основное противоречие, приводящее к непоследовательности стилистических квалификаций, заключается в следующем: в словаре слово получает оценку по функциональному признаку — по преимущественному или исключительному употреблению в той или иной сфере человеческой деятельности и общения. Однако такая приуроченность не обеспечивает стилистического единства. В действительности на стилистические качества слова влияет множество разнохарактерных и нередко противоречивых факторов:

[1] Здесь указаны некоторые зарубежные исследования, непосредственно или косвенно ориентированные на лексикографическую практику. Отечественные работы будут рассмотрены далее при анализе материала.

семантическое своеобразие, структура, предметная отнесенность, степень новизны или традиционности, эмоционально-оценочные коннотации и экспрессивные качества. Нередко в одной сфере употребления оказываются лексика не только различная, но и контрастная по своим лингвистическим и стилистическим свойствам. В основе стилистических различий должно было бы лежать противопоставление комплексов признаков, принадлежащих разным стилистическим рядам и воспринимаемых по контрасту друг с другом. Стилистические же признаки, в свою очередь, могут быть выделены только путем сравнения разных лексических разрядов, обладающих разными, часто контрастными, свойстами.

Если отвлечься от принятого функционального принципа стилистических квалификаций (распределение слов по сферам употребления) и попытаться с позиций словаря проанализировать совокупность лексики, маркируемой той или иной пометой, то будут обнаружены серьезные противоречия. Помета «просторечное» объединяет следующие разряды слов (примеры из $МАС_1$): 1) лексика, обычная в непринужденной разговорной речи (*курьерша*, *горловик*, *перловка*, *столярить*); 2) экспрессивная разговорная лексика [а) *заморыш*, *объедала*, *здоровяга*, *злющий*, *высоченный*; б) *каша* — «путаница, беспорядок»; *корова* — о толстой, неуклюжей женщине; *скулить* — «жаловаться»]; 3) ненормативная лексика, оторвавшаяся от диалекта, так называемое «внелитературное просторечие» (*теперича*, *вчерась*, *трафить*, *пользительный*, *хужеть*); 4) лексика профессиональной разговорной речи (*накладка* — «ошибка»; *гузка* — лишний конец у литеры; *изготовка*; *отгрузить*; *отснять*; *досол*; *отбраковка*); 5) жаргонизмы (*кол* — «единица»; *сдуть* — «списать»; *кореш* — «друг») [20]. Как видно из этого краткого и обобщенного перечня, лексика, оцениваемая как просторечная, обнаруживает принципиально разные свойства как в отношении социальной отнесенности, так и по степени и характеру экспрессии. Очевидно, что помета в этом случае не выполняет своей функции, так как не служит определенным и недвусмысленным знаком, характеризующим слово по лингвистическим (характер экспрессии и положение на шкале «высокое — низкое») и экстралингвистическим (социальная отнесенность) качествам [2].

Проблема просторечия была выдвинута для обсуждения Ю. С. Сорокиным почти 40 лет назад [27—28], однако полемика продолжается до сих пор, и нерешенный вопрос о соотношении и словарном разграничении просторечной и разговорной лексики остается одним из самых мучительных в нашей лексикографии [20, 29, 30].

Если попытаться разграничить «просторечные» слова первых двух разрядов (см. выше) и слова, маркируемые как разговорные, то обнаружится, что сделать это практически невозможно. Едва ли убедительно разграничение следующих пар слов, относимых соответственно к разговорным или просторечным (по ТСУ): *овсянка* «разг.»— *перловка*» «прост.»; *карболка* — *касторка*; *слесарить* — *столярить*; *брякнуться* — *бахнуться*; *долговязый* — *высоченный* и т. д. В БАС *ушник* «разг.», а *горловик* «прост.»; в $МАС_1$ *изюмина*, *черносливина*, *картофелина* «разг.», а *клюквина*, *брюквина*, *черничина* «прост.».

[2] Разговорный слой, неоднородный по своей природе, в разных языках членится по-разному и соответственно по-разному решаются проблемы словарных помет. Например, в немецкой лексикографии, опирающейся в данном вопросе на глубокие теоретические разработки [21—26], применяется набор помет, маркирующих лексику разговорного употребления: umgangssprachlich, salopp-umgangssprachlich, landschaftlich (WDG) или umgangssprachlich, gebrauchlich, salopp, salopp-abwertend (Duden). Ср. в чешской лексикографии: lidovy, hovorový, obecne (PSl) и в польской: gwarowe, regionalne, potoczny (SłP).

В этих и подобных примерах единственным логическим обоснованием разграничения могла бы служить степень новизны или традиционности того или иного слова. В самом деле, слово, образованное по разговорной модели, прежде чем войти в активное речевое употребление проходит проверку временем — вначале оно «режет слух» и встречает неизбежный отпор со стороны носителей литературного языка. Попадая в словарь из живой речи, каждая такая лексическая единица воспринимается как более сниженная по контрасту с другими, утвержденными узусом (ср. уже нейтральные слова — *открытка*, *зажигалка*, недавно ставшие узуальными в разговорной речи — *электричка*, *зачетка* и относительно новые — *неотложка*, *аскорбинка*). «Молодые» слова, попав в словарь, обычно получают помету «прост.» в отличие от своих собратьев, оцениваемых как разговорные. Это как раз та лексическая периферия, которую относят на границу литературного употребления. Но, как представляется, слова, отличающиеся от узуальных лишь «стажем» функционирования, следовало бы не переводить в другую стилистическую категорию («разг.» — «прост.»), а указывать на их ненормативный характер. Такие пометы-указания, спорадически применявшиеся в ТСУ (например, помета «неправильное» при словах инженерша, инспекторша и некот. др.), можно было бы сочетать с пометами чисто диахронического свойства, например, «новое» (ТСУ), и такое сочетание помет не только более адекватно определило бы для каждого слова его стилистическую ячейку, но дало бы чрезвычайно важные сведения для будущих исследований нормативных и стилистических процессов в языке и закономерностей изменения стилистического статуса слов.

Не менее сложно обстоит дело с разграничением по рубрикам: «разговорное» — «просторечное» экспрессивной лексики [3], представляющей собой метафорические переносы: *медведь* «неуклюжий человек» — «разг.», но *щенок* «молодой, неопытный человек» — «прост.»; *каша* «путаница, беспорядок» — «разг.», но *петрушка* «нечто странное, нелепое» — «прост.»; *язва* «злобный человек» — «разг.», но *сапожник* «неумелый человек» — «прост.» и т. п. (квалификации $МАС_1$ и ТСУ, которые в приведенных примерах совпадают).

Лексика этой категории, независимо от пометы «разг.» или «прост.», обладает рядом общих свойств и признаков: а) бытовая конкретность семантики, намеренная сниженность образа; б) выраженная пейоративность; в) емкость лексического значения — одно слово выражает целое суждение, и нередко бывает трудно найти нейтральный эквивалент (ср. *перехлестнуть* — «проявить неумеренность в чем-л.»; *влипнуть* — «попасть в неприятное положение» и т. п.); г) сужение значения, конкретизация действия или качества, выражающихся в указании на форму проявления, меру или степень (*шляться* — «ходить без дела»; *тащиться* — «идти медленно, с трудом» и т. п.). Наличие этих объективных и очевидных признаков могло бы служить основанием для объединения экспрессивной сниженной лексики в пределах одной стилистической категории. Но в наших словарях, напротив, принят критерий разграничения внутри этой категории разговорного и просторечного пластов по степени экспрессии. На неубедительность этого критерия не раз уже ссылались в стилистических исследованиях: ведь понятие степени экспрессии (и соответственно сниженности) совершенно субъективно, и то, что вполне допустимо для одного, может оказаться чрезмерно сниженным или даже совсем недопустимым для других.

[3] Не касаясь здесь теоретических проблем экспрессивности, сошлемся на некоторые работы [31—33], а также на библиографический список в монографии Н. А. Лукьяновой [34].

Несостоятельность критерия разграничения разговорного и просторечного по степени экспрессии проявляется еще и в том, что за степень экспрессии нередко принимают различие эмоциональной оценки. В паре *медведь* «разг.» — *щенок* «прост.» второе слово воспринимается как более грубое, следовательно, будто бы более экспрессивное, но в действительности дело здесь не в «степени экспрессии», а в качественных различиях оценки: *медведь* — насмешливо и шутливо, а *щенок* — презрительно. И в этом случае различие в восприятии слов следовало бы дифференцировать не разведением их по разным стилистическим категориям («разговорное» и «просторечное»), а дополнительной пометой («насмешливо» или «презрительно») — ведь очевидно, что разговорная речь допускает самый широкий диапазон эмоций.

По поводу второго лексикографического критерия противопоставления разговорного и просторечного — отношения к норме — можно сказать следующее. Противоположение разговорного и просторечного как лексикологических (и соответственно лексикографических) категорий может сохранять свое значение только при понимании «разговорного» как варианта кодифицированного литературного языка, а «просторечного» как лексического слоя, вынесенного за границу литературного употребления или стоящего на этой границе. Однако исследования последних десятилетий убедили в правильности идеи Л. В. Щербы о противоположности литературного и разговорного языков [35]. Это положение в 60-х — 70-х годах было подтверждено фактическим материалом и нашло дальнейшее развитие в известных трудах Л. И. Баранниковой, Т. Г. Винокур, Е. А. Земской, О. А. Лаптевой, Н. Ю. Шведовой и др. Были определены и признаки, отличающие разговорную речь от кодифицированного литературного языка: широкая вариативность, экспрессивная насыщенность, эмоциональные и оценочные коннотации, свобода выбора средств выражения и одновременное использование речевых стереотипов и др. На основе этих признаков уже может быть поставлен вопрос о специфических нормах разговорной речи [36—40]. И в этом случае критерий «удаленности от нормы» обнаруживает свою неопределенность: ведь то, что «удалено» от нормы литературного языка, может отвечать более свободным нормам разговорной речи. Ср., например, нейтрализацию просторечных (по МАС$_2$) слов *курьерша*, *анатомичка*, *хлорка*, *неотложка* и под. в среде их разговорных аналогов, таких, как *секретарша*, *билетерша*, *кассирша*, *галерка*, *лесопилка*, *раздевалка*, *валерианка*, *касторка*, *карболка* и др.

Многолетние споры вокруг пометы «прост.» безрезультатны потому, что источник всех проблем заключен в противоречивом характере самой пометы, в многозначности термина «просторечие». Эта многозначность связана с наслоением друг на друга различных определений данного понятия, со сменой научных воззрений, происходившей на протяжении длительного времени [27, с. 124, 130], а также с коренным изменением структуры современного русского литературного языка по сравнению с языком прошлого. Трудно предположить, что помета, введенная как определенный лексикографический знак в XVIII в., может адекватно характеризовать языковые явления конца XX в.

Не следует ли лексикографам сделать решительный шаг и отказаться от пометы «прост.», которая теоретически объединяет противоположные по своим свойствам лексические разряды («литературное» и «внелитературное» просторечие), а на практике делает крайне неупорядоченным сам метод стилистических квалификаций?

В этом случае совокупность лексики, традиционно маркируемой как

разговорная и просторечная, получила бы новое стилистическое распределение. Прежде всего нуждается в обособлении разряд «внелитературного просторечия»: *кажись*, *казистый*, *ледащий*, *опростать*, *склизкий*, *вчерась*, *теперича*, *каковский* и т. д. По социальной отнесенности, по стилистической и семантической бесплодности эти слова резко противостоят литературным, и их узнавание обычно не вызывает затруднений. Если такая лексика «допущена» в словарь литературного языка, то должна маркироваться пометой запретительного характера [4]. Сравнительно легко может быть отделена профессиональная лексика: *досол*, *вылов*, *належка*, *козел*, *гузка*, *шкурка* и т. п. (заметим, что в практике переиздания БАС для характеристики профессионализмов используется помета «В проф. речи»).

Массив слов, объединяющий разговорную лексику и «литературное просторечие», целиком отойдет к разговорному пласту, а стилистические различия между отдельными словами, обусловленные мерой экспрессии, характером эмоциональной оценки, степенью новизны или традиционности и местом на шкале «высокое — низкое», эти различия (нередко весьма заметные) могут быть показаны дополнительной маркировкой.

Разумеется, и в этом случае останутся пограничные лексические разряды с нехарактерными, размытыми стилистическими свойствами, вызывающими затруднения при квалификации. Лексическая система, незамкнутая, подвижная и изменчивая, в словаре принимает вид жесткой схемы. Однако не все клетки этой схемы могут быть заполнены. В каждый момент составления словаря перед лексикографом оказывается известное количество слов с неопределившимся стилистическим статусом (между нейтральным и книжным, нейтральным и разговорным и т. п.). Не случайно в современных исследованиях все большую популярность приобретает понятие не границы между стилистическими разрядами, а «зоны», в которой переходные, нехарактерные явления становятся не исключением, а правилом.

Известно, что лексика пограничных зон — самый трудный материал лексикографии. Наличие такой лексики (а оно неизбежно) делает, по-видимому, абсолютную унификацию стилистических помет недостижимой. Особенно остро эта проблема стоит в больших словарях, которые опираются на материал художественной литературы (и потому демонстрируют образцы не только кодифицированного языка, но и всех видов некодифицированного) и охватывают длительный период жизни литературного языка («от Пушкина до наших дней» — этот полуторавековой отрезок времени продолжает определять хронологические границы наших академических словарей). Необходимо учитывать социальные, лексические, семантические и стилистические перемены и перегруппировки, которые произошли в языке за этот срок, но в словаре это очень трудно сделать. Стилистический анализ, отягощенный диахронией, неизбежно дает противоречивые результаты [5]. В новом академическом словаре, хронологические рамки которого будут сужены до границ действительно современного литературного языка (40—50 лет), стилистическая дифференциация

---

[4] В академических словарях «внелитературное просторечие» представлено чрезвычайно широко, причем не в виде аморфной массы ненормативной лексики, а в виде своеобразной системы отклонений от литературных норм (лексических, семантических, структурных, а также особенностей номинации) [41].

[5] Мы придерживаемся точки зрения (выдвинутой в свое время Ш. Балли и получившей в дальнейшем широкое признание среди лингвистов), согласно которой стилистика является сугубо синхронической наукой. Известна, впрочем, и противоположная точка зрения, утверждающая, что стилистическое исследование может вестись как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте [42, 43].

должна утратить свой обобщенный и приблизительный характер, а пометы — свою двусмысленность. В словаре такого типа нашли бы свое стилистическое место многие слова пограничных зон. Для слов с неопределившимся стилистическим статусом, занимающих промежуточное положение, можно было бы рекомендовать либо условный значок (→), либо описательную характеристику, отражающую стадию перехода того или иного слова из одной стилистической категории в другую.

Пометка «просторечное» стала своеобразным эталоном лексикографических ошибок. Однако и другие пометы служат источником противоречий и непоследовательности словарных оценок, например, пометы, маркирующие терминологию.

Процессы, происходящие в современных языках (активное вторжение в «общий» язык терминов и «онаучивание» языка) выдвинули ряд теоретических проблем и заставили пересмотреть соотношение соответствующих помет в словарях. В зарубежной лингвистике существует обширная литература, систематизирующая эмпирический материал и совокупность связанных с ним вопросов (см., например, библиографию к статье В. Ментрупа [44]).

Помета «спец.» использовалась в ТСУ для характеристики лексики разных профессий и промыслов, в отличие от научной терминологии, маркируемой пометой «научн.». Сам принцип размежевания официальной терминологии и разговорных профессиональных обозначений был плодотворным и свидетельствовал о тонких стилистических дифференциациях, принятых в этом словаре. Однако на практике он применялся непоследовательно, и аналогичная профессиональная лексика маркировалась разными пометами: *отжим*, *отбраковать*, *пошивочный*, *давило* «пресс», *шкурка* «наждачная бумага» — «спец.»; *прошва*, *убоина* — «спец. и прост.»; *высидка*, *забелка*, *забивка*, *затирка*, *изготовка* — «прост.». Кроме того, для технических обозначений (также разговорного характера: *салазки*, *кулак*, *коза* «вагонетка» и т. п.) употреблялась еще одна помета — «тех.».

В последующих словарях пометой «спец.» маркируются недифференцированно и термины, и профессионализмы. Это привело к серьезным теоретическим противоречиям: с одной стороны, помета «спец.» охватывает круг лексики, в который входят как термины, т. е. единицы кодифицированного литературного языка (*иррадиация*, *териология*, *репозиция*, *церебральный*), так и лексика профессиональной разговорной речи (*вылов*, *отжим*, *подогрев*, *отвал*); с другой стороны, лексика последнего разряда оценивается то как специальная, то как просторечная: в $МАС_2$ *вылов*, *отвал*, *отбраковка*, *отжим*, *подогрев* — «спец.», а *выгребка*, *забивка*, *перевеска*, *подкидка* — «прост.».

Если смешение разговорного и просторечного может быть объяснено языковой общностью (часто и фактической неразличимостью) соответствующих лексических пластов, то смешение помет «прост.» и «спец.» представляется с лингвистической точки зрения совершенно недопустимым, так как экстралингвистические факторы (в данном случае — общая сфера применения) не обеспечивают общности языковой.

Анализ профессиональной лексики убеждает в том, что это типичные разговорные средства, но примененные в производственных условиях и ограниченные поэтому соответствующим кругом реалий, действий и т. п. Для профессионализмов характерна метафоризация, основу которой (как и в общеразговорных словах) составляют бытовые понятия: *баранка* «руль»; *гузка* «лишний конец, хвостик у литеры»; *закозлить* «охладить доменную печь»; *шкурка* «наждачная бумага» и т. п. Со стороны структуры

профессионализмы характеризуются регулярным использованием определенных моделей, характерных и для разговорной лексики; отглагольные образования на *-ка* (*возка*, *ездка*, *забивка*, *изготовка*), отглагольные безаффиксные образования (*вылов*, *досол*, *подогрев*, *пошив*), глагольные префиксальные образования (*завезти*, *заснять*, *отбраковать*, *отгрузить*, *пошить*), семантические стяжения (*алфавитка*, *радужка*) и др.

Недифференцированная квалификация научной терминологии и профессионализмов — такова одна сторона проблемы, связанной с пометой «спец.». Другая сторона этой проблемы касается теоретических вопросов: а) обоснованности пометы «спец.» применительно к терминологии и б) понимания стилистического статуса терминологии вообще.

Полемика вокруг стилистических оценок терминологии многоаспектна. В свое время А. П. Евгеньева выступала против употребления обобщенной пометы «спец.» взамен частных помет, указывающих на конкретную сферу применения термина (анатомия, медицина, математика, морское дело и т. п.) [45]. Ф. П. Сороколетов последовательно отстаивает правомерность единой пометы как вполне определенного лексикографического знака, который не просто указывает на область применения термина (как пометы «анат.», «мед.», «мат.», «мор.» и под.), но выполняет функции стилистической характеристики, показывая обособленность разряда специальной лексики в отличие от нейтральной [46]. Однако стилистическая обособленность терминологии как таковая признается не всеми. По этому поводу известны две исключающие одна другую точки зрения: 1) термины, несмотря на свое специальное назначение, стилистически нейтральны [47, с. 78]; 2) термины, несмотря на отсутствие коннотаций, обладают повышенной эстетической и экспрессивной ценностью, поэтому их стилистическая окрашенность очевидна [48, с. 105].

На практике же, какую бы теоретическую позицию ни занимал лексикограф, единственным критерием стилистической маркированности того или иного слова может служить его положение в стилистической парадигме. Помета фиксирует границы стилистической дифференциации лексики, а проблема стилистической дифференциации, в свою очередь, возникает тогда, когда есть ряд неравноценных средств выражения, обеспечивающих возможность сопоставления и выбора (ср. хрестоматийные примеры *скончаться*, *умереть*, *подохнуть* или *лик*, *лицо*, *морда*). Только наличие синонима делает очевидным стилистическую определенность и стилистическое своеобразие того или иного слова. С этой точки зрения совокупность терминов неоднородна. Одни термины не имеют синонимов из других сфер применения; к ним относятся, в первую очередь, обозначения конкретных реалий (названия приборов, устройств, инструментов, веществ, минералов и т. п.), наук и научных дисциплин, процессов, процедур и т. п., а также понятий и категорий, которыми оперирует та или иная наука. Ср.: *синхротрон*, *рефрактор*, *ареометр*, *марказит*, *лизол*, *офтальмология*, *алгоритм*, *протон*, *апперцепция* и т. п. Такие термины могут быть либо неизвестны неспециалисту (и тогда вопрос об их употреблении не возникает), либо известны — и в этом случае термин будет употреблен всякий раз, когда этого потребует тема высказывания, будь то научный диспут или непринужденная беседа. Стилистическая бесцветность подобных терминов обусловлена их «незаменимостью» в тексте. Исключение составляют некоторые термины медицины, имеющие в качестве синонимов нейтральные или разговорные обозначения: *респираторный — дыхательный*; *церебральный — мозговой*; *летальный — смертельный*; *канцер — рак*; *абсцесс — нарыв*; *липома — жировик*; *паро-*

тит — свинка; *мастит — грудница*; *гематома — синяк* и др. Этот факт весьма показателен: терминология медицины отличается от терминологии других наук тем, что, «обслуживая» замкнутый круг специалистов, в то же время имеет вход в общенародный язык, которому свойственно изолировать чужеродные элементы (в данном случае термины) и заменять их обычными словами.

Термины, обозначающие отвлеченные понятия, при необходимости также могут быть заменены в речи неспециалистов (или в речи, предназначенной для неспециалиста) нейтральными словами (ср.: *адсорбировать — поглощать*; *аккумулировать — сосредоточивать*; *дивергенция — расхождение*; *диссимиляция — распад*; *дислокация — размещение* и т. п.), на фоне которых воспринимается и осознается стилистическая обособленность терминов. В лексикографической практике следовало бы учитывать эти различия (наличие или отсутствие синонима) и соответствующим образом квалифицировать разные типы терминов.

Что касается принятого сейчас критерия разграничения «специальной» и «нейтральной» лексики по степени освоенности литературным языком того или иного термина, то этот критерий несостоятелен в силу своей субъективности. В самом деле, можно ли признать объективными (и потому правильными) такие разграничения квалификаций (БАС): *ларингология* «спец.» — *офтальмология* без пометы; *марказит* «спец.» — *тенардит* без пометы; *ингалятор* «спец.» — *синхротрон* без пометы; *лизол* «спец.»— *йодоформ* без пометы; *ларингит* «спец.» — *ихтиоз* без пометы. Список примеров можно было бы продолжить.

В теоретической стилистике нет общепризнанных критериев стилистической дифференциации. Обычно, группируя слова по стилистическим разрядам, авторы ориентируются на свое языковое чутье, предлагая и читателям «уловить» различия между стилистически неоднородными словами.

Известно мнение, что для словарных стилистических квалификаций достаточным основанием также может служить интуиция лексикографа [49, с. 11, 75]. Положение об интуитивном принципе стилистических оценок имеет в лингвистической литературе и свою теоретическую аргументацию, основу которой составляет мысль об общественном признании точности и даже безошибочности языкового чутья лексикографа [50, с. 69]. (Ср. также: «Лингвистика — это искусство, а не наука, и тот, кто наделен тончайшей интуицией, прирожденным талантом, а также нерассуждающим и безошибочным чувством языка, является наилучшим лингвистом» [51].)

Нет сомнения, интуиция, основанная на точном языковом чутье и на знании языковых законов,— это такой инструмент, без которого работа лексиколога и лексикографа была бы вообще невозможной. Однако интуиция как метод стилистических квалификаций не может обеспечить единства и последовательности словарных помет. В этом убеждает практика составления словарей, особенно многотомных, создаваемых большим коллективом лексикографов. Признание и теоретическое обоснование интуитивного метода ставит под сомнение основной принцип любого словаря: принцип унификации и стандартизации. Или заставляет предположить, что стилистический аспект — это особая, изолированная область, в которой унификация и стандартизация не обязательны, в отличие от всех других разделов словаря (ср. типовые определения, схемы словарных статей, грамматические классификаторы и т. п.).

Усилия лексикографов преодолеть интуитивный подход к стилистическим проблемам идут в двух направлениях. Первое — эмпирическое.

Это поиски формальных признаков (словообразовательных моделей, характерных типов переносных значений и т. п.), которые могли бы служить основанием для распределения стилистически маркированных слов по соответствующим разрядам [52, 53]. Второе — теоретическое — обращение к достижениям современных стилистических исследований. Однако отношения между теоретической стилистикой и лексикографической практикой носят сложный характер, парадоксальность которого отметила Е. Ф. Петрищева [49, с. 12]. Лексикологи и стилисты обращаются к словарям как к законодателям стилистических норм [54, с. 124], в то же время лексикографы признают, что система словарных помет далека от идеала, и причину неблагополучного положения в этой области склонны видеть в отрыве лексикографической практики от теории или в недостаточной разработанности теоретических постулатов [14, с. 85].

Обращение лексикографов к теории стилистики связано с рядом трудностей. За последние десятилетия в области теоретической стилистики сделано очень много, однако словарники-практики не всегда могут использовать в своей работе результаты исследований. Этому препятствуют прежде всего известные теоретические разногласия, касающиеся как частных, так и общих проблем стилистики. Даже самое беглое ознакомление с громадной литературой по стилистике обнаруживает всю глубину этих разногласий, противоречивость формулировок, касающихся не только дефиниции основных категорий стилистики, но даже определения ее границ и круга задач.

Острое столкновение разных концепций, разных точек зрения породила в свое время дискуссия 1954 г. по вопросам стилистики. Ю. С. Сорокин, полемизируя с теорией Л. В. Щербы, представляющей стили языка как «систему концентрических кругов», выдвинул идею, согласно которой в развитом языке, каким является современный русский язык, нет и не может быть замкнутых жанрово-речевых разновидностей, а есть только возможность выбора тех или иных речевых средств. Поэтому правильно говорить не о стилях языка (научном, публицистическом, и др.), а о различных принципах выбора, отбора и объединения слов в художественной литературе, публицистике, научных произведениях данной эпохи [47, с. 79].

Уязвимость теории стилей обнаруживается и в современных исследованиях. Наряду с традиционным описанием конкретных стилей (делового, научного и др.) существуют концепции, отрицающие объективную картину стилистической стратификации языка. Ю. М. Скребнев, в частности, трактует совокупность индивидуальных стилевых классификаций, разработанных разными исследователями, как «антиклассификацию» [48, с. 48—49].

Действительно, разные ученые представляют разные по составу и характеру списки стилей, которые не могут быть сведены в единую общепризнанную систему. «Антиклассификация» проявляется также в том, что нет ясности и единства в понимании сущности и права на существование отдельных стилей (соотносительны ли разговорный, разговорно-бытовой и обиходно-бытовой стили, реален ли стиль художественной литературы и т. п.). Неустойчивость «системы стилей» такова, что не только разные ученые представляют индивидуальные стилевые классификации, но и один и тот же исследователь в процессе длительной работы может существенно изменить свою трактовку системы стилей. Ср. классификационные схемы М. Н. Кожиной, разработанные соответственно в 1962 и 1983 гг.: I — 1) обиходно-деловой; 2) научно-технический; 3) кри-

тико-публицистический; 4) официально-риторический; 5) художественный [55]; II — 1) разговорно-бытовой; 2) научный; 3) публицистический; 4) официально-деловой; 5) художественный [56]. Таким образом, создается парадоксальное положение: при одном и том же объекте исследования (современный русский литературный язык) и одном методе (функциональный) нет единой картины функционально-стилистического состояния языка.

Обращение лексикографов к теоретической стилистике осложняется еще и тем обстоятельством, что существуют некоторые объективные несовпадения между теорией и словарной практикой. В частности, в теории получило признание положение, согласно которому в стилистической дифференциации языка определяющим является социальный фактор [48, с. 97; 33]. В словаре же актуальны и значимы, кроме социального, еще два фактора — временной и пространственный [16, с. 105—107].

Кроме того, членение языка на стили и стилистическое расслоение лексики не совпадают. Это проявляется в том, что не всегда могут быть обнаружены прямые соответствия между кругом маркированной лексики и тем или иным стилем (см. [47, с. 73; 54, с. 80]). Соответствий мало: разговорный стиль — помета «разг.», научный стиль — помета «спец.», деловой — помета «офиц.-дел.». Что касается других стилей, то применительно к ним прямые связи с пометой не обнаруживаются. Так, по свидетельству П. Н. Денисова и В. Г. Костомарова, не удалось связать с какой-либо определенной пометой публицистический стиль [50, с. 75]. Художественная речь обладает выраженной функциональной обособленностью, что признается всеми исследователями, независимо от того, называют они художественную речь стилем или нет, однако нет специальных («художественных») лексических средств, которые можно было бы маркировать соответствующей пометой. С другой стороны, в современном русском литературном языке нет книжного стиля, но, на наш взгляд, несомненно существование книжной лексики. (При этом необходимо иметь в виду условный характер пометы «книжн.» и самой категории книжного. Этот термин, как и термин «просторечное», сохраняется в русской лексикографии почти два столетия, и круг обозначаемых им языковых фактов уже не соотносится с первоначальным.) Составители БАС отказались от пометы «книжн.» на том основании, что в настоящее время расширились границы употребления книжных слов [53, с. 40]. Действительно, книжная лексика сейчас активно входит во все сферы речи и нередко соседствует в одном контексте со своим антиподом — лексикой разговорного источника [36, с. 26 и сл.; 17, с. 42 и сл.]. По свидетельству Е. А. Земской, не только специфические книжные лексические средства, но и другие элементы кодифицированного литературного языка воспринимаются в разговорном тексте «как чуждый элемент, как единицы другой системы» [37, с. 406]. Это значит, что стилистическая определенность книжной лексики на фоне разговорной не разрушается, а, напротив, становится еще более выраженной. Едва ли можно считать нейтральными (как их квалифицирует БАС) такие слова, как *инкорпорировать*, *корреспондировать*, *фетиш*, *феномен*, *эманация*, *экстремальный*, *экстраординарный* и под. Следует заметить, что и МАС, в котором принята помета «книжн.», пользуется ею недостаточно широко: без пометы даны слова *абрис*, *абсолют*, *альтруизм*, *апофеоз*, *фиаско*, *филистер*, *эпигон*, *экспансия*, *эксцесс* и мн. др., несомненно сохраняющие книжный характер и отмеченные соответствующей пометой в СО.

Непрямая связь между лексикографической практикой и теорией сти-

листики проявляется также в том, что лексическая система не может быть отражена в словаре вполне адекватно. Способ оформления материала, определяющий методику лексикографического описания и высокий уровень словарных обобщений, неизбежно искажает картину реального положения слова в семантической и стилистической системах. Семантические несоответствия отметил Д. Н. Шмелев: многозначное слово в своем функционировании диффузно, но лексикографически оформленная лексема не отражает этой диффузности [58]. Кроме того, линейное расположение толкований в словаре скрывает реальное (нелинейное, сложное) соотношение отдельных значений в семантической структуре слова [59].

Нечто подобное наблюдается и в стилистическом аспекте. В языковой действительности слово испытывает воздействие различных, часто противоречивых факторов, которые, взаимодействуя, создают стилистическую окраску. Например, слово *давило* «пресс» по функциональной отнесенности принадлежит к специальной сфере, а по структуре — к разговорной лексике сниженной тональности (ср. *мазила*). В словаре необходимо свести воедино действие этих разнородных факторов и обобщить их в помете [6].

Можно указать на некоторые частные, но при этом весьма существенные расхождения теории стилистики и лексикографической практики. В теории общепризнанным является введенное Ф. П. Филиным применительно к современному русскому языку разделение просторечия на два разряда — литературное и внелитературное просторечие [60, 61]. Положение о «двух просторечиях» в принципе не препятствует теоретическому исследованию: для анализа избирается либо один, либо другой разряд просторечия, определяются его характерные особенности, всякий раз уточняется терминология (см., например [62]). Иначе в лексикографии. Помета «прост.», объединяющая «два просторечия», определяет не только несхожие, но контрастные по своим лингвистическим свойствам лексические группы, причем глобальный анализ материала, возможный только в словаре, обнаружил, что и каждый из двух разрядов просторечия не обладает внутренней цельностью.

Все сказанное дает основания заключить, что для успешного решения стилистических проблем лексикографии необходима совместная работа стилистов и лексикографов, проводимая с позиций словаря, с учетом его специфики. Может быть, следовало бы выделить лексикографическую стилистику (которая давно существует на эмпирическом уровне) как одно из направлений стилистических исследований, непосредственно обслуживающее нужды словаря.

Лингвистическая стилистика признается многоаспектной наукой, и в последнее время определились как вполне самостоятельные такие ее разделы, как функциональная стилистика, стилистика текста, стилистика художественной речи, стилистика индивидуальной речи, практическая, сопоставительная стилистика [63]. Лексикографическая стилистика, как нам представляется, имеет все права на «самоопределение» как особое направление исследований. У нее есть свой объект анализа — лексикографически упорядоченная лексическая система. Есть и свои методы и прие-

---

[6] Сочетание помет имеет ограничения: в качестве дополнительной пометы может выступать оценочная характеристика, в подавляющем большинстве случаев соединяющаяся с пометой «разг.», например, «разг. пренебр.», «разг. неодобрит.» и т. п. Другие типы двойных помет либо демонстрируют противоречивую оценку («спец. и прост.»), либо нарушают основное условие стилистической характеристики — ее синхронность («устар. разг.», «прост. устар.») [16, с. 106—107].

мы описания материала, своеобразие и сложность которых заключается в том, что неизбежный эмпиризм, связанный с оформлением каждого отдельно взятого слова, должен сочетаться с применением теории стилистики во всем ее объеме.

ИСТОЧНИКИ

1. БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. М.— Л., 1948—1965.
2. $МАС_1$ — Словарь современного русского языка: В 4-х т. 1-е изд. М., 1957—1961.
3. $МАС_2$ — Словарь современного русского языка: В 4-х т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981—1984.
4. СО — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 18-е изд. М., 1986.
5. ТСУ — Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Ушакова Д. Н. М., 1935—1940.
6. Duden — *Duden*. Das groβe Wörterbuch der deutschen Sprache: In 6 Bd. Bd. 1. Mannheim — Wien — Zürich, 1977.
7. Küpper — *Küpper H.* Wörterbuch der deutschen Umgangssprache: In 4 Bd. Hamburg, 1963—1964.
8. PSI — Příručni slovník jazyka českého. Praha, 1937—1957.
9. SIP — Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa, 1958.
10. WDG — Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 1. Berlin, 1961.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гальперин И. Р.* Проблемы лингвостилистики // Новое в зарубежной лигвистике. Вып. IX. М., 1980. С. 5—34.
2. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
3. *Engel U.* Deutsche Gebrauchwörterbücher // PBB (Tübingen), 1972. Bd. 94. Sonderheft.
4. *Fleischer W.*, *Michel G.* Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1975.
5. *Jedlička A.* K systému a systematice funkčnich stylů // Jazykovedné štúdie. 1980. T. 15.
6. *Scharnhorst J.* Stilistische Fragen der Lexikographie // Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität. 1968. Jg. 17. Hf 2/3.
7. *Scharnhorst J.* Zum Wesen des Begriffs Funkzionalstil // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1981. Bd. 34. Hf. 3.
8. *Sowinski B.* Kategorien der Makrostilistik — eine Übersichtsskizze // Germanistische Linguistik. 1983. 3—4/81.
9. *Szathmari J.* Über Stilwert der sprachlichen Elemente // AL. Budapest, 1968. T. 18. Fasc. 1—2.
10. *Winter W.* Stil als linguistisches Problem // Sprache der Gegenwart. Bd. I. Mannheim, 1965—1966.
11. *Горнунг Б. В.* Несколько соображений о понятии стиля и задачах стилистики // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 91. (примеч. 11).
12. *Виноградов В. В.* О некоторых вопросах теории русской лексикографии // ВЯ. 1956. № 5.
13. *Виноградов В. В.* Семнадцатитомный Академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания // ВЯ. 1966. № 6.
14. *Гельгардт Р. Р.* Несколько идей стилистики и общего языкознания в аспекте лексикографии // Сб. докл. и сообщ. Лингвистического об-ва. Т. III. Вып. 1. Калинин, 1973.
15. *Катлинская Л. П.* Нормативные пометы в словарях и реальное речевое употребление // Литературная норма и просторечие. М., 1977.
16. *Скляревская Г. Н.* Заметки о лексикографической стилистике // Современность и словари. Л., 1978.
17. *Сорокин Ю. С.* О нормативно-стилистическом словаре современного русского литературного языка // ВЯ. 1967. № 5.
18. *Филин Ф. П.* О новом толковом словаре русского языка // ИАН СЛЯ. 1963. № 3.
19. *Шмелева И. Н.* Стилистическое расслоение и классификация словарного состава современного русского литературного языка // Вопросы стилистики. Вып. 9. Саратов, 1975.
20. *Скляревская Г. Н.* О соотношении лексикографических понятий «разговорное» и и «просторечное»: Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. Л., 1973. С. 8—14.

21. *Grosse R.* Die meissnische Sprachlandschaft. Halle, 1955. S. 31—38.
22. *Fleischer W.* Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1969.
23. *Küpper H.* Vom Stil der deutschen Umgangssprache // *Küpper H.* Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Bd. 3. Hamburg, 1964. S. 16—25.
24. *Polenz P.* Zur Quellenwahl für Dokumentation und Erforschung der deutschen Gegenwartssprache // Sprache der Gegenwart. Bd. I. Mannheim, 1965—1966.
25. *Porzig W.* Das Wunder der Sprache. Bern, 1950. S. 188.
26. *Steger H.* Gesprochene Sprache. Zu ihrer Typik und Terminologie // Sprache der Gegenwart. Bd. I. Mannheim, 1965—1966.
27. *Сорокин Ю. С.* «Просторечие» как термин стилистики // Докл. и сообщ. Филологического ин-та ЛГУ. 1949. Вып. 1.
28. *Сорокин Ю. С.* Разговорная и народная речь в «Словаре Академии Российской» // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. I. М.—Л., 1949.
29. *Виноградов С. И.* «Просторечие» как категория нормативной оценки лексики в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова // Литературная норма и просторечие. М., 1977.
30. *Рахманова Л. И.* О стилистических пометах просторечных слов в толковых словарях русского языка // Вопросы стилистики. М., 1966.
31. Экспрессивность на разных уровнях языка. Новосибирск, 1984.
32. *Michel G.* Stil und Expressivität // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. 1974. Bd. 27. Hf. 1—3.
33. *Ivanová-Salingová M.* Expressívny príznak // Jasykovedný časópis. 1970. XXI. № 2. S. 154.
34. *Лукьянова Н. А.* Экспрессивная лексика разговорного употребления. Новосибирск, 1986.
35. *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык // *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 115.
36. *Винокур Т. Г.* Стилистическое развитие современной русской разговорной речи // Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968.
37. *Земская Е. А.* Русская разговорная речь. М., 1973.
38. *Баранникова Л. И.* Социально-историческая обусловленность места разговорной речи в общенародном языке // ВЯ. 1970. № 3.
39. *Лаптева О. А.* О некодифицированных сферах современного русского литературного языка // ВЯ. 1966. № 2.
40. *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
41. *Скляревская Г. Н.* Полудиалектная лексика в современном русском языке // Вопросы стилистики. Вып. 7. Саратов, 1974. С. 52.
42. *Wartburg W.* Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Tübingen, 1962. S. 211.
43. *Seidler H.* Allgemeine Stilistik. Göttingen, 1953. S. 71.
44. *Ментруп В.* К проблеме лексикографического описания общенародного языка и профессиональных языков // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983.
45. *Евгеньева А. П.* О некоторых лексикографических вопросах, связанных с изданием Большого словаря современного русского литературного языка АН СССР // Лексикографический сборник. Вып. 2. М., 1957.
46. *Сороколетов Ф. П.* Терминология и лексикографическая стилистика // Вопросы семантики. Калининград, 1984. С. 29.
47. *Сорокин Ю. С.* К вопросу об основных понятиях стилистики // ВЯ. 1954. № 2.
48. *Скребнев Ю. М.* Очерки теории стилистики. Горький, 1975.
49. *Петрищева Е. Ф.* Стилистически окрашенная лексика русского языка. М., 1984.
50. *Денисов П. Н., Костомаров В. Г.* Стилистическая дифференциация лексики и проблемы разговорной речи // Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
51. *Сапорта С.* Применение лингвистики в изучении поэтического языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
52. Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка (в трех томах)». Л., 1953.
53. Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка (в пятнадцати томах)». М.—Л., 1958. С. 40.
54. *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977.
55. *Кожина М. Н.* О понятии стиля и места языка художественной литературы среди функциональных стилей. Пермь, 1962. С. 17.
56. *Кожина М. Н.* Стилистика русского языка. 2-е изд. М., 1983. С. 71—74.

57. *Панов М. В.* О развитии русского языка в советском обществе // ВЯ. 1962. № 3. С. 6.
58. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 95.
59. *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык. Лексика. М., 1977. С. 92.
60. *Филин Ф. П.* О просторечном и разговорном в литературном языке // ФН. 1979. № 2. С. 7.
61. *Филин Ф. П.* О структуре современного русского литературного языка // ВЯ. 1973. № 2. С. 20—22.
62. *Земская Е. А., Китайгородская М. В.* Наблюдения над просторечной морфологией // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984. С. 66.
63. *Бельчиков Ю. А.* Стилистика // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. С. 334—336.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

КУНИН А. В.

АСИММЕТРИЯ В СФЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИИ

Термин «асимметрия» ввел в языкознание С. Карцевский в 1929 г. [1]. Под асимметрией С. Карцевский понимал несоответствие членения плана обозначающего и обозначаемого, т. е. плана выражения и плана содержания. Он подчеркивал, что «обозначающее (звучание) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по „наклонной плоскости реальности". Каждое „выходит" из рамок, назначенных для него партнером: обозначающее стремится обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. Они асимметричны; будучи парными (accouplés), они оказываются в состоянии неустойчивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая система может эволюционировать: „адекватная" позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособления к требованиям конкретной ситуации» [2, с. 90]. Важность открытия С. Карцевского трудно переоценить. В любых звеньях языковой системы наблюдаются как упорядоченность элементов, так и асимметрия. Это единство противоположностей обеспечивает существование языковой системы: «Упорядоченность элементов, считающаяся обычно основой системности, часто оказывается весьма относительным понятием даже в пределах одного и того же языкового континуума. . .» [3, с. 7]. Таким образом, описание языковой системы является неполным без рассмотрения асимметрии.

В. Г. Гак вполне правомерно выделяет два типа асимметрии во фразеологии: с одной стороны, асимметрию в синтагматическом плане — аналитизм, при котором расчлененно, т. е. двумя или более элементами, выражается единое содержание, а с другой стороны, асимметрию в парадигматическом плане — многозначность и синонимию [4].

Противоречивость фразеологии отмечают многие ученые. Особенно подробно освещен этот вопрос в работах В. М. Мокиенко: «Антиномии ФЕ могут обусловливаться и общей диалектической противоречивостью языка, и противоречивыми свойствами лексики, и собственно фразеологическими особенностями. . . Фразеологические противоречия, как и противоречия любого языкового уровня, являются частными проявлениями одной из самых общих закономерностей марксистской диалектики — закона единства и борьбы противоположностей как основного фактора развития» [5, с. 2, 3]. В. М. Мокиенко выделяет ряд антиномий во фразеологии: устойчивость — неустойчивость, моделируемость — немоделируемость, имплицитность — эксплицитность (сужение или расширение компонентного состава фразеологизмов), образность — безóбразность [6, гл. 2]. Существует и традиционное понимание имплицитности и эксплицитности. Имплицитность — это отсутствие формальных средств выражения языкового содержания. Эксплицитность — это формальная выраженность некоторого содержания лексическими или грамматическими средствами [7, с. 10].

Антиномия — родовое понятие, а соотношение «симметрия — асимметрия» — видовое, т. к. оно является одним из видов антиномии. Например, антиномия «образность — безóбразность» является, как покажет дальнейшее изложение, одним из аспектов осложненной асимметрии во фразеологии. В сфере фразеологической семантики в ходе исторического развития фразеологического фонда языка наблюдается рост асимметрии. Аналогичная закономерность имеет место и в других отраслях знания: «В ходе эволюционного развития материи от химической формы движения до биологической обнаруживается общая тенденция уменьшения степени симметрии и соответственно возрастание асимметрии» [8]. Симметрия и асимметрия являются особым видом структурной организации объектов, в том числе и фразеологизмов.

В настоящей статье рассматриваются некоторые широко распространенные, но малоизученные аспекты асимметрии фразеологизмов в свете асимметричного дуализма языкового знака. Противоречивый характер фразеологической микросистемы находит выражение в многочисленных проявлениях асимметрии, связанных с особенностями фразеологизмов, наиболее сложных единиц языка. Фразеологизмы, в отличие от слов, являются раздельнооформленными образованиями. Их структурный диапазон весьма значителен — от одновершинных (термин предложен А. И. Смирницким) ФЕ, содержащих только один знаменательный компонент, до фразеологизмов со структурой сложного предложения. Структурная сложность фразеологизмов сочетается с семантической осложненностью. Хорошо известно, что вследствие своей раздельнооформленности фразеологизмы не только обозначают денотаты и референты, но и описывают их. Для фразеологической семантики характерно наличие полностью или частично образных (но также и необразных) значений, эксплицитных и имплицитных значений, фразеологически связанных и свободных значений, оценочности и безоценочности, высокого удельного веса коннотативного аспекта, сочетания узуальности и окказиональности. Для фразеологизмов также характерны как незаменяемость, так и заменяемость компонентов. Мы выделяем три семантических класса фразеологизмов.

1. Идиоматика. В этот класс входят немотивированные ФЕ, т. е. фразеологические сращения, по терминологии В. В. Виноградова (русск. *бить баклуши*, *отложить в долгий ящик*, *турусы на колесах*; англ. *Hobson's choice* «отсутствие выбора, выбор по принуждению», *send somebody to Coventry* «бойкотировать кого-л., прекратить отношения с кем-л.», *a white elephant* «обременительное и разорительное имущество, обуза») и полностью или частично образные мотивированные фразеологизмы (русск. *биться как рыба об лед*, *мелко плавать*, *на вес золота*; англ. *a back number* «отсталый человек», *Downing Street* «английское правительство», *the proof of the pudding is in the eating* «чтобы судить о пудинге, надо его отведать, т. е. все проверяется на практике»).

2. Идиофразеоматика. В этот класс входят устойчивые словосочетания с буквальными, но осложненными первыми значениями и полностью переосмысленными вторыми значениями [*chain reaction* «цепная реакция» как научный термин и как фразеологическое значение; англ. *to mark time* a) (воен.) «маршировать на месте»; b) «топтаться на месте, бездействовать»]. Первые значения, преимущественно терминологические, являются прототипами вторых и обусловливают их мотивированность.

3. Фразеоматика. В этот класс входят ФЕ с буквальными, но осложненными значениями, в том числе и фразеоматически связанные. Возможны фразеоматизмы различных типов, например фразеологические

сочетания, по терминологии В. В. Виноградова [русск. *зло берет*, *тоска берет*, *беспроигрышная лотерея*, *проливной дождь*; англ. *aquiline nose* «орлиный нос», *to pay attention* «обращать внимание», *to pay a call* (или *visit*) «нанести визит»]. К фразеоматизмам относятся также обороты разных типов с прибавочно-уточнительным значением. В подобных оборотах буквальное значение прототипа, входя в значение фразеоматизма, уточняет его, ср.: русск. *морщить лицо* (в знак неудовольствия, боли и т. п.), *поднять брови* (в знак удивления или недовольства); англ. *to curl one's lip* «презрительно кривить рот», *wring one's hands* «ломать руки (в отчаянии и т. п.)».

Структурно-семантические особенности ФЕ, а также предложенная выше классификация фразеологизмов, их полисемия, синонимия и омонимия дают возможность выделения основных типов осложненной асимметрии в сфере фразеологии. Предложенная классификация ФЕ включает три типа фразеологизмов, выделенных В. В. Виноградовым (сращения, единства, и сочетания). Новым в классификации является выделение идиофразеоматики и фразеоматики [9].

С точки зрения возможности или невозможности замены компонентов выделяются пять типов зависимости компонентов.

1) Константная зависимость компонентов, при которой все компоненты являются незаменяемыми (русск. *золотая жила*, *спать без задних ног*, *человек в футляре*, *честь мундира*; англ. *a back number* «отсталый человек», *Darby and Joan* «старая любящая супружеская чета», *to pay through the nose* «платить бешеные деньги, платить втридорога»).

2) Константно-вариантная зависимость компонентов: русск. *во весь* (*в полный*) *голос*, *как* (*будто*, *словно*, *точно*) *банный лист пристал*, *показывать зубы* (*когти*); англ. *a closed* (или *sealed*) *book* «книга за семью печатями», *draw* (или *pull*) *a* (или *the*) *long bow* «сильно преувеличивать, рассказывать небылицы».

3) Константно-вариантно-переменная зависимость встречается во фразеологизмах, имеющих незаменяемые компоненты, но допускающих включение в свой состав переменных элементов: русск. *брать под* (*свое*) *крылышко кого-либо*, *кровь стынет* (*леденеет*, *холодеет*) (*в жилах*) *у кого-л.*, *снимать* (*последнюю*) *рубашку с кого-л.*; англ. *cherish* (*nourish* или *warm*) *a viper in one's bosom* «пригреть змею на груди», *close* (или *shut*) *one's eyes to something* «закрывать глаза на что-л.».

4) Константно-переменная зависимость компонентов: русск. *закрывать глаза на что-л.*, *заметать следы чего-л.*, англ. *follow somebody like sheep* «слепо следовать за кем-л.», *a handle to one's name* «приложение к фамилии, титул».

5) Переменная зависимость компонентов, т. е. заменяемость всех компонентов фразеологизмов при сохранении семантической константности: русск. *гнуть* (*ломать*) *спину* (*горб*, *хребет*); англ. *tip* (или *turn*) *the balance* (*beam*, *scale* или *scales*) «решить исход дела, склонить чашу весов».

Для фразеологической семантики характерна асимметрия раздельнооформленности — единое содержание фразеологизма. Этот вид асимметрии, выделенный В. Г. Гаком, относится к фразеологизмам только некоторых структурно-семантических типов.

«Единое содержание» — это целостное фразеологическое значение, которое возникает во многих фразеологизмах в результате полного или частичного переосмысления их компонентов и других семантических преобразований, что находит свое выражение в словарных дефинициях (дефиниции даются по [10,11]), обозначающих простые или составные понятия.

Само по себе определение с помощью слова или словосочетания еще не означает, что у определяемой единицы языка целостное фразеологическое значение, т. к. подобные дефиниции используются и при определении слов, например, *конник* «конный воин, кавалерист», *младенец* «маленький ребенок» и др.

1) Фразеологизмы, определяемые словами: русск. *в порядке вещей* «нормально, обычно», *дать дуба* «умереть», *по всем правилам искусства* «искусно, мастерски», *на память* «наизусть»; англ. *to kick the bucket* «to die», *to see eye to eye* «to agree», *to call to mind* «to remember», *by degrees* «gradually», *in the bag* «certainly, sure».

2) Фразеологизмы, определяемые одновершинными оборотами: русск. *в два счета* «без промедления», *от нечего делать* «от безделья, от скуки»; англ. *by and large* «in general», *out of condition* «not fit».

3) Фразеологизмы, определяемые словосочетаниями: русск. *закидывать удочки* «осторожно намекать на что-л., выяснять, разузнавать предварительно что-л.», *кататься как сыр в масле* «жить в довольстве, в достатке», *перебиваться с хлеба на квас* «жить очень бедно, терпеть нужду, лишения», *показать, где раки зимуют кому-л.* «проучить кого-л., всыпать кому-л.»; англ. *at sixes and sevens* «in a state of confusion», *gall and wormwood* «the cause of great and lasting bitterness», *have light fingers* «to have a tendency to steal things».

4) Фразеологизмы, определяемые частичнопредикативными оборотами: русск. *дутый пузырь* «человек с преувеличенно положительной, хорошей репутацией, совершенно не соответствующей тому, что он представляет собой на самом деле», *Тришкин кафтан* «такое положение, ситуация и т. п., когда устранение одних недостатков влечет за собой возникновение новых недостатков»; англ. *cupboard love* «pretended love that is shown in the hope one will obtain something», *a white elephant* «a very costly possession that is worthless to its owner and only a cause of trouble». «Частичнопредикативные фразеологизмы — это такие, в которых содержится грамматически ведущий член (антецедент) и зависящая от него предикативная единица... Их удобно назвать частичнопредикативными, так как предикативная структура имеется лишь в одной их части и не является сквозной. Наличие ведущего члена и обстоятельственной, объективной или определительной связи между ним и придаточным предложением, входящим в состав этих единиц, помогает легко обнаружить их номинативную целостность» [12, с. 136]. Наличие номинативной целостности частичнопредикативных фразеологизмов подтверждается тем, что они могут определяться словами, словосочетаниями и придаточными предложениями. Приводим несколько частичнопредикативных фразеологизмов и их дефиниции из [13]: *Believe that the moon is made of green cheese* «believe the most absurd thing possible», *The cup that cheers but not inebriates* «tea», *To know which way the wind blows* «to be aware of the true state of affairs», *Ships that pass in the night* «chance acquaintances only encountered once», *Strike while the iron is hot* «to act at the most favourable moment, when one is most likely to succeed» и др.

Можно предположить, что если для частичнопредикативных фразеологизмов характерна номинативная целостность, т. е. способность обозначать составное понятие, то и использование частичнопредикативных переменных образований в качестве дефиниции тех или иных фразеологизмов является показателем их номинативной целостности. Но некоторые фразеологизмы с предикативной структурой в семантическом плане являются чисто номинативными оборотами и определяются в словарях при помощи

переменных словосочетаний или лексических синонимов: русск. *когда рак свистнет* «неизвестно когда, никогда», *кот наплакал* «очень мало», *язык сломаешь* — «очень трудный для произношения»; англ. *before you could say Jack Robinson* «very quickly», *till* (или *until*) *hell freezes over* «forever», *when hell freezes over* «never».

Придаточные предложения в функции слова или словосочетания более характерны для английского языка, чем для русского. Эти фразеологизмы не являются эллиптическими или частью сложного предложения. Они сохраняют до настоящего времени свою исходную форму. В таких случаях наблюдается нулевая предикативность, т. е. ее значимое отсутствие.

Для всех рассмотренных выше фразеологизмов с полностью или частично переосмысленным значением характерна асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», т. е. расхождение плана выражения и плана содержания.

В. Скаличка писал: «Выражение *vrani oko* „волчьи ягоды" содержит два слова, но является одним наименованием... В данном случае также речь идет о явлении асимметричного дуализма... Асимметричный дуализм такого рода проявляется изредка, спорадически и поэтому особенно не влияет на структуру языка» [14, с. 124]. Широкое распространение асимметрии «раздельнооформленность — целостное значение» в сфере фразеологии не подтверждает этого мнения В. Скалички. Данная асимметрия распространяется и на многочисленные номенклатурные наименования типа *волчьи ягоды*: *волчья пасть*, *глазное яблоко*, *грудная жаба*, *грудная клетка*, *заячья губа*, *слепая кишка*, *ушная раковина*, *черный ящик* и многие другие. Асимметрия номенклатурных наименований — одно из звеньев фразеологической микросистемы, через которую она входит в систему языка.

Для анализа асимметрии в сфере фразеологии следует учитывать не только асимметрию «раздельнооформленность — целостное значение», но и ряд других факторов, среди которых важнейшими являются соотношения «буквальное значение компонентов — переносное значение компонентов», «*константность компонентов — вариантность компонентов*», а также явления полисемии, синонимии, омонимии. Ниже анализируются особенности асимметрии в идиоматике, идиофразеоматике и фразеоматике.

Идиоматика. В сфере идиоматики следует различать неосложненную и осложненную асимметрию. Неосложненная асимметрия наблюдается во фразеологизмах с одним видом асимметрии, а осложненная — во фразеологизмах с двумя и более видами асимметрии. Кроме того, выделяются внутриструктурные, межструктурные и смешанные типы асимметрии.

Внутриструктурная асимметрия свойственна отдельно взятому фразеологизму, межструктурная — двум или более фразеологизмам, например, синонимам или омонимам, а смешанная асимметрия объединяет внутриструктурные и межструктурные типы асимметрии.

Неосложненная внутриструктурная асимметрия. Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение»: англ. *back the wrong horse* «поставить не на ту лошадь, сделать плохой выбор, просчитаться», *blow hot and cold* «делать взаимоисключающие вещи, занимать двойственную позицию», *gall and wormwood* «нечто ненавистное, постылое» («нож острый»), *red tape* «волокита, бюрократизм».

Осложненная асимметрия. Существуют различные типы осложненной асимметрии. При определении степени этой осложненности мы принимаем

за основу осложненность асимметрии «раздельнооформленность — целостное значение» другим видом или другими видами асимметрии.

Осложненная внутриструктурная асимметрия первой степени.

1) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов»: англ. *break a butterfly* (или *fly*) *on the wheel* ≈ «стрелять из пушки по воробьям», *dead marines* (*men* или *soldiers*) «пустые винные бутылки», *a skeleton in the closet* (или *in the cupboard*) «семейная тайна» и др.

Для русского языка характерна вариантность союза в глагольных устойчивых сравнениях, например, *надулся будто* (*как*, *словно*, *точно*) *мышь на крупу*.

2) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная полисемией: англ. *a dead duck* a) «конченый человек» (≈ «его песенка спета»); b) «безнадежное дело; полный провал»; *go over the edge* a) «переходить (все) дозволенные границы, потерять самообладание»; b) «сойти с ума»; *a hot head* a) «горячая голова, горячий, вспыльчивый человек», b) «горячность, вспыльчивость» и др.

3) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «буквальное значение — переносное значение»: англ. *eat like a horse* «есть много и с жадностью», *fit like a glove* «быть как раз, впору, хорошо сидеть; полностью подходить», *smoke like a chimney* «много курить, курить одну сигарету (или папиросу) за другой» и др.

4) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «отрицательная форма — утвердительная семантика» (или наоборот). Отрицательная или утвердительная семантика выражается имплицитно: а) «отрицательная форма — утвердительная семантика»: англ. *no end* «very much, greatly», *not half* «very much» (ср. русск. *нет-нет* и «время от времени, иногда», *нет отбоя* «слишком много, более чем достаточно»); б) «утвердительная форма — отрицательная семантика». Многие утвердительные по форме фразеологизмы могут имплицитно выражать отрицательное понятие, т. е. понятие, в котором отображается отсутствие в предмете того или иного качества: англ. *a blue stocking* «a female pedant who tends to neglect feminine graces and their accomplishments» (ср. русск. *пришей кобыле хвост* «ненужный, лишний человек, не имеющий определенного положения»).

Осложненная смешанная асимметрия первой степени.

1) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная синонимией: англ. *as anything*, *as blazes*, *as hell*, *as the devil* «дьявольски, чертовски, ужасно», *get* (или *have*) *cold feet*, *show the white feather* «струсить, смалодушничать»;

2) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная омонимией: англ. *kick up one's heels* a) «протянуть ноги, умереть»; b) «танцевать; веселиться, развлекаться, весело проводить время»; *merry hell* a) «шум, скандал»; b) «острая боль» и др.

Осложненная внутриструктурная асимметрия второй степени

1) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов» и асимметрией «буквальное значение — переносное значение». Этот вид асимметрии характерен для многих адъективных сравнений в английском языке и для многих глагольных сравнений в русском: англ. (*as*) *bold* (или *brave*) *as a lion* «храбр как лев», (*as*) *brown as a berry* «очень темный, загорелый, шоколадного цвета», (*as*) *fierce as a tiger* «свирепый как тигр»; русск. *будто* (*как*, *словно*, *точно*) *сыр в масле кататься*; *будто*

(*как, словно, точно*) *с цепи сорвался*; *надулся будто* (*как, словно, точно*) *мышь на крупу* и др.

2) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов» и полисемией: англ. *give* (или *yield*) *up the ghost* a) «испустить дух, умереть»; b) «перестать функционировать»; *sail under false colours* a) «скрывать свое настоящее имя, жить под чужим именем, выдавать себя за другого»; b) «скрывать свои истинные намерения, лицемерить, притворяться» (также *fight under false colours* или *hang out false colours*) и др.

Осложненная межструктурная асимметрия второй степени.

Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов» и синонимией: англ. *have a* (*good*) *head on one's shoulders*, *have one's head screwed on right* (или *the right way*) «иметь голову на плечах, быть смышленым, сообразительным», *stand* (или *stick*) *out a mile*, *stand* (или *stick*) *out like a sore thumb* «быть совершенно очевидным, ясным, само собой разумеющимся».

Осложненная смешанная асимметрия третьей степени.

1) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов», асимметрией «буквальное значение — переносное значение» и синонимией: англ. (*as*) *cheerful as a lark*, (*as*) *chirpy* (*lively* или *merry*) *as a cricket*, (*as*) *lively* (или *merry*) *as a grig*, (*as*) *merry as a marriage-bell* (или *as the maids*) «очень веселый, жизнерадостный, полный жизни», (*as*) *wise as an owl* «мудрый как сова» (употребляется шутливо или иронически), (*as*) *wise as Solomon* «мудрый как Соломон».

2) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов», асимметрией «гиперболизованный образ — бытовое понятие, обозначаемое ФЕ» и синонимией: англ. *turn* (*twist*, *wrap* или *wind*) *somebody round* (или *around*) *one's* (*little*) *finger*, *lead somebody by the nose* «подчинить своей воле кого-л., веревки вить из кого-л., заставить кого-л. плясать под свою дудку». Аналогичный пример встречается и в немецком языке: *j-nd um den* (*kleinen*) *Finger wickeln*, *j-nd an der Nase herumführen* (или *herumziehen*).

Осложненная внутриструктурная асимметрия четвертой степени.

Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов», асимметрией «буквальное значение — переносное значение первого фразеосемантического варианта» [1], асимметрией «буквальное значение первого компонента первого фразеосемантического варианта — переносное значение первого компонента второго фразеосемантического варианта» и полисемией: англ. (*as*) *sober as a judge* a) «совершенно трезвый, трезв как стеклышко, ни в одном глазу»; b) «серьезный, здравомыслящий».

Осложненная межструктурная асимметрия пятой степени.

Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «константность компонентов — вариантность компонентов», асимметрией «буквальное значение — переносное значение пер-

[1] Термин «фразеосемантический вариант» образован по аналогии с предложенным А. И. Смирницким термином «лексико-семантический вариант» для наименования значения полисемантического слова [15].

вого фразеосемантического варианта», асимметрией «буквальное значение первого компонента первого фразеосемантического варианта — переносное значение первого компонента второго фразеосемантического варианта», а также полисемией и синонимией: англ. (*as*) *dead as a doornail*, (*as*) *dead as a herring*, (*as*) *dead as mutton* a) «без каких-л. признаков жизни, бездыханный; погиб окончательно, „крышка“», b) «утративший силу, совершенно вышедший из употребления, исчезнувший без следа».

Осложненная асимметрия четвертой и пятой степени редко встречается в английском языке и представлена отдельными примерами. Асимметрия данного компаративного оборота осложняется полисемией и вариантностью. Полисемия асимметрична потому, что в ее основе лежит соотношение «одно обозначающее — два или более обозначаемых», а для вариантности характерно обратное соотношение. Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», а также вариантность являются внутриструктурными видами асимметрии, т. к. они свойственны отдельно взятым фразеологизмам в отличие от полисемии межструктурного вида асимметрии. Асимметрия, связанная с полисемией, более характерна для слов, чем для фразеологизмов, которые в своем большинстве являются моносемантичными (также и пословицы). Это, видимо, объясняется высокой степенью абстракции, свойственной значению пословиц, а также их меньшей мобильностью в тексте вследствие сложности их структуры. Во фразеологии наблюдается закономерность: чем сложнее структура фразеологизма, тем менее ему свойственна полисемантичность.

Идиофразеоматика. В сфере идиофразеоматики асимметрия всегда является осложненной.

Осложненная внутриструктурная асимметрия первой степени.

Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «буквальное значение — переносное значение» и полисемией: англ. *a diamond of the first water* a) «бриллиант чистой воды»; b) «золотой человек, человек замечательных достоинств»; c) «чудесная вещь»; *give battle* a) (воен.) «дать бой»; b) (перен.) «дать бой, дать отпор»; *miss fire* a) (воен.) «дать осечку»; b) (перен.) «не достичь цели, не дать желаемого, должного эффекта» и др.

Осложненная внутриструктурная асимметрия второй степени.

Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная асимметрией «буквальное значение — переносное значение», «константность компонентов — вариантность компонентов» и полисемией: англ. *a bitter pill* (*to swallow*) a) (мед.) «горькая пилюля»; b) (перен.) «горькая пилюля, тяжелая необходимость»; *shorten* (или *take in*) *sail* a) (мор.) «убавить парусов или убрать паруса»; b) (перен.) «замедлить ход, идти медленнее»; c) (перен.) «умерить пыл; сбавить тон».

Фразеоматика.

Неосложненная внутриструктурная асимметрия. Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение»: англ. *Dutch courage* «храбрость во хмелю, пьяная удаль»; *pay a compliment to somebody* «сказать, сделать комплимент кому-л.». В подобных оборотах фразеоматически связано значение компонентов *Dutch* и *pay*. Использование слова *Dutch* в ряде фразеоматизмов, имеющих отрицательное значение, восходит к англо-голландской конкуренции на морях и войнах в XVII в. Этот вид асимметрии свойствен также так называемым кинематическим речениям [16] типа *shake one's head* «покачать головой (в знак скорби, неодобрения, сомнения, несогласия)» и др.

Осложненная внутриструктурная асимметрия первой степени.

1) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная вариантностью: англ. *Dutch comfort* (или *consolation*) «слабое утешение», *lick* (или *smack*) *one's lips* «облизываться (предвкушая удовольствие)» и др.

2) Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная полисемией: англ. *another place* a) «другая палата, палата общин»; b) «другая палата, палата лордов». Этот оборот употребляется членами палаты лордов о палате общин и членами палаты общин о палате лордов.

Осложненная межструктурная асимметрия первой степени.

Асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», осложненная омонимией: англ. *at large* a) «на свободе»; b) «без определенной цели»; c) «вообще, в общем смысле».

Предложенная классификация типов асимметрии относится только к фразеологизмам со структурой словосочетания. Свойственна ли асимметрия фразеологизмам со структурой предложения — поговоркам [2] и пословицам? Безусловно, свойственна. Но характер этой асимметрии иной. Все фразеологизмы со структурой словосочетания являются асимметричными. Эта закономерность обусловлена тем, что для всех фразеологизмов этого типа характерна асимметрия «раздельнооформленность — целостное значение», которая может осложняться другими видами асимметрии. Поговоркам и пословицам не присущи целостное значение, полисемия, омонимия и идиофразеоматичность. Вследствие этого для поговорок и пословиц типична неосложненная асимметрия (как внутриструктурная, так и межструктурная). Осложненная асимметрия встречается реже.

Неосложненная внутриструктурная асимметрия.

1) Асимметрия «константность — вариантность компонентов». Поговорки: англ. *doctors differ* (или *disagree*) «мнения авторитетов расходятся»; *one's hour has come* (или *struck*) «час настал, пробил»; *what good wind brings you here? — what wind blows you here?* «Каким (добрым) ветром вас занесло сюда?». Пословицы: *fast* (*safe* или *sure*) *bind, fast* (*safe* или *sure*) *find* «Крепче запрешь, вернее найдешь»; *rats desert* (*forsake* или *leave*) *a sinking ship* «Крысы бегут с тонущего корабля».

2) Асимметрия «буквальное значение компонентов — переносное значение компонентов». Поговорки: *The answer* (подчеркнут компонент с буквальным значением) *is a lemon* ≈ «этот номер не пройдет» (ответ на неприемлемое предложение); The *world is a small place* «мир тесен». Пословицы: *Brevity is the soul of wit* → «Краткость — душа ума» (шекспиризм; ср. *Краткость — сестра таланта* у Чехова); *Calamity is a man's touchstone* «Человек познается в беде»; *Necessity is the mother of invention* «Нужда — мать всех изобретений, нужда всему научит; ≈ голь на выдумки хитра»; *Procrastination is the thief of time* «откладывать — только время воровать», «мешканием беды не избудешь».

Неосложненная межструктурная асимметрия синонимичных образований. Поговорки: *That cat won't jump, that cock won't fight* «этот номер не пройдет». Пословицы: *He that will eat the kernel must crack the nut, he that would eat the fruit must climb the tree, he who would catch fish must not mind*

---

[2] Под поговоркой понимается фразеологизм непословичного характера со структурой предложения, обозначающий суждение.

getting wet, he who would search for pearls must dive below ≈ «Без труда нет плода, без труда не вытащишь и рыбки из пруда».

Осложненная внутриструктурная асимметрия. Асимметрия «неподменяемость — подменяемость компонентов» + асимметрия «буквальное значение компонентов — переносное значение компонентов»: *one's (someone's) f o o t has gone to sleep* (шутл.) «у него (у нее и т. д.) нога онемела»; *one's n e r v e s are on edge* «нервы не в порядке, нервы разгулялись». При актуализации фразеологизмов в речи притяжательное местоимение *one's* обычно заменяется притяжательными местоимениями *his, her* и др. Данный вид осложненной асимметрии пословицам не свойствен, т. к. в них не употребляются местоимения *one's* и *someone's*. Многие поговорки и пословицы являются симметричными образованиями, например, *the coast is clear* «путь свободен, опасности нет», *the old woman is picking her geese* (шутл.) «старушка ощипывает гусей» (т. е. идет снег), *birds of a feather flock together* ≈ «рыбак рыбака видит издалека», *too many cooks spoil the broth* «у семи нянек дитя без глазу» и др. Сочетание симметрии и асимметрии во фразеологизмах со структурой предложения является проявлением асимметрии в этом разряде фразеологических единиц.

Асимметрия способствует динамизму фразеологической микросистемы, расширению коммуникативных возможностей фразеологизмов, их приспособлению к требованиям конкретной ситуации, что проявляется в возможности их окказионального использования. Многие фразеологические инновации несвойственны словам, например, вклинивание, дистантное расположение компонентов, сложнейшие конвергентные преобразования — сплав нескольких приемов при невозможности выделения ведущего приема и др. Семантические изменения, возникающие в результате подобных преобразований, всегда сохраняют связь с исходным значением фразеологизма. Противоположной тенденцией, ограничивающей возможности окказионального использования ФЕ, является немотивированность значения фразеологических сращений, отсутствие у них живой внутренней формы. Единство противоположных тенденций — одно из противоречий фразеологической микросистемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Karcevskij S.* Du dualisme asymétrique du signe linguistique // TCLP. 1929. 1.
2. *Карцевский С.* Об асимметричном дуализме лингвистического знака // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1965.
3. *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке. М., 1980.
4. *Гак В. Г.* Фразеологические единицы в свете асимметрии языкового знака // Тр. Самарканд. гос. ун-та им. А. Навои. Новая серия. Вып. № 277. Вопросы фразеологии. Самарканд, 1976.
5. *Мокиенко В. М.* Противоречия фразеологии и ее динамика: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. Л., 1976.
6. *Мокиенко В. М.* Славянская фразеология. М., 1980.
7. *Ольшанский И. Г.* Значение фразеологизма как объект компонентного анализа // Проблемы компонентного анализа: Тезисы научной конференции молодых научных работников. М., 1973.
8. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
9. *Кунин А. В.* Курс фразеологии современного английского языка. М., 1986. С. 608.
10. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. Молоткова А. И. М., 1967.
11. Longman's dictionary of English idioms. L., 1979.
12. *Амосова Н. Н.* Основы английской фразеологии. Л., 1963.
13. Brewer's dictionary of phrase and fable. L., 1971.
14. *Скаличка В.* Асимметричный дуализм языковых единиц // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
15. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956. С. 157.
16. *Дементьев А. В.* Семантико-функциональные аспекты кинематических речений в современном английском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

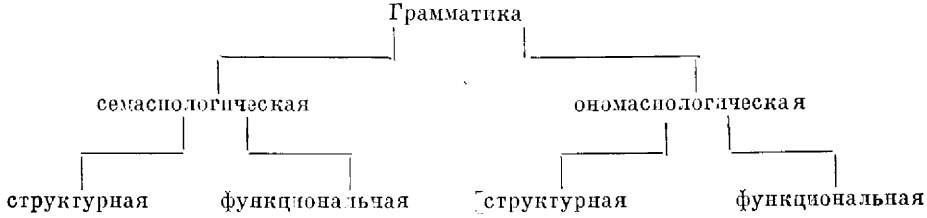
ОБЗОРЫ

ДАНИЛЕНКО В. П.

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСТОРИИ ГРАММАТИКИ

Ономасиологический способ рассмотрения языковых явлений предполагает, что говорящий исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит это содержание в языковую форму; при этом та или иная языковая форма выбирается говорящим из находящейся в его распоряжении языковой системы и преобразуется им из системно-языкового состояния в речевое (формула: «внеязыковое содержание → языковая форма/языковая система → речь»). Семасиологический подход выдвигает на первый план речевую деятельность слушающего и, следовательно, учитывает обратные переходы: «речь → языковая система/языковая форма → внеязыковое содержание». Слушающий исходит в своей деятельности из речи, на материале которой в его сознании формируется языковая система. Используя эту систему, он понимает языковую форму, передаваемую ему говорящим, т. е. соотносит ее с тем или иным внеязыковым содержанием.

Методологическая структура грамматики может быть представлена следующим образом:



Структурно-семасиологическая грамматика исследует язык с точки зрения слушающего, т. е. в направлении «речь → языковая система». Функционально-семасиологическая грамматика исследует функционирование языка с точки зрения слушающего, т. е. в направлении «языковая форма → внеязыковое содержание». Структурно-ономасиологическая грамматика исследует язык с точки зрения говорящего, т. е. в направлении «внеязыковое содержание → языковая форма». Функционально-ономасиологическая грамматика исследует функционирование языка с точки зрения говорящего, т. е. в направлении «языковая система → речь». Семасиологическая и ономасиологическая грамматики, таким образом, существуют в двух формах — структурной и функцио-

нальной. Истоки семасиологической грамматики в Европе восходят к александрийской филологии. Истоки ономасиологической грамматики восходят к античной философии языка и, в особенности, к модистской грамматике XIII—XIV вв. Дифференциация семасиологических и ономасиологических исследований на структурные и функциональные приобрела более или менее отчетливую форму лишь в XX в. В это время были созданы концепции, в рамках которых на господствующее положение были выдвинуты, с одной стороны, структурный (Л. Ельмслев) и функциональный (Д. Фёрс) аспекты семасиологической грамматики, а с другой стороны, структурный (Л. Вайсгербер) и функциональный (Г. Гийом) аспекты ономасиологической грамматики.

В процессе изучения речевого материала как семасиолог, так и ономасиолог совершают «челночное» движение по отношению к форме и содержанию. Это порождает иллюзию тождества семасиологического и ономасиологического подходов к изучению языка. Укреплению скепсиса по отношению к методологической важности разграничения семасиологии и ономасиологии в XX в. способствовал структурализм. Независимо от того, о какой форме структурализма — соссюровской, блумфилдовской, ельмслевской или якобсоновской — идет речь, в любом случае мы имеем дело со структурно-семасиологической моделью языка, поскольку в ее основе лежит изучение перехода «речь → языковая система». Эта модель, вместе с тем, содержит элементы функционально-семасиологической (план выражения → план содержания), структурно-ономасиологической (план содержания → план выражения) и функционально-ономасиологической (языковой инвариант → речевой вариант) грамматик. Структуралистская модель языка позволяет легко переходить от речи к языковой системе и обратно, от языковой формы к ее содержанию и обратно. В этом состоит ее несомненное достоинство, но в этом же состоит и ее ограниченность: степень разработанности функционально-семасиологического, структурно-ономасиологического и функционально-ономасиологического аспектов грамматики в данной модели невысока. Свойственная этой модели легкость переходов «речь ⇄ языковая система» и «языковая форма ⇄ внеязыковое содержание» способствовала укреплению мнения, согласно которому в практике конкретного лингвистического исследования разграничение семасиологического и ономасиологического подходов не имеет большого методологического значения. Нельзя, однако, забывать в этой связи, что в защиту строгого разграничения указанных подходов выступали такие языковеды XX в., как Ш. Балли, Ф. Брюно, О. Есперсен, В. Матезиус, Л. В. Щерба, а позднее — М. Докулил, В. Шмидт, В. Г. Гак, А. В. Бондарко.

Необходимость разграничения семасиологии и ономасиологии вытекает из своеобразия языковых структур, которыми пользуются говорящие и слушающие. Эти структуры не являются идентичными, поскольку говорящие обращаются к языку со стороны внеязыкового содержания, а слушающие — со стороны его формы. В процессе речевой деятельности говорящие пользуются не только содержательными, но и формальными структурами, но это не снимает принципиального различия между ними — различия в степени их протяженности. Именно потому, что в структурах первого типа фактор формального сходства между отдельными средствами языка, выражающими одну и ту же содержательную категорию, является ведущим по отношению к содержательному фактору, протяженность формальных структур оказывается меньшей, чем протяженность содержательных структур. Поясним это с помощью схемы:

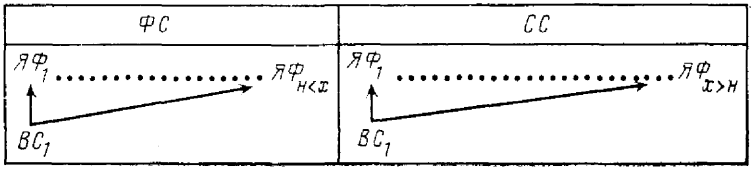


Схема показывает, что одно и то же внеязыковое содержание ($ВС_1$) может выражаться различным числом языковых форм (ЯФ). В формальных структурах (ФС) их меньше ($ЯФ_{н<х}$), а в содержательных структурах (СС) их больше ($ЯФ_{х>н}$). В основе формальной и содержательной структур, вместе с тем, лежит одна и та же содержательная категория $ВС_1$. Эту категорию М. Докулил назвал ономасиологической [1], имея в виду ее отношение к содержательной структуре. Ее можно назвать и семасиологической, имея в виду ее отношение к формальной структуре. Так, в основе каждой из частей речи лежит определенная семасиологическая категория, поскольку при классификации слов по частям речи формальные критерии занимают ведущее положение по отношению к содержательным. Каждая часть речи представляет собою формально-морфологическую структуру. Семасиологические категории, лежащие в основе частей речи, становятся ономасиологическими, если они начинают соотноситься не только с отдельными частями речи, но сразу с несколькими из них. С содержательно-морфологическими структурами мы имеем дело при субстантивации, адъективации и т. д. Подобное соотношение формальных и содержательных структур языка наблюдается и на других уровнях языка. Так, в одну и ту же синтактико-содержательную структуру русского языка, в основе которой лежит содержание «носитель характеристики — характеристика», входит несколько синтактико-формальных структур этого языка (*Он ленив*; *Повреждение исправлено*; *Он учитель*; *Сын сидит голодный*; *Собаки кусаются*).

Научная грамматика не может игнорировать различия между формальными и содержательными структурами языка, а следовательно, не может обойтись без последовательного разграничения семасиологического и ономасиологического подходов. Цель первого из них состоит в систематизации формальных структур языка (структурный аспект семасиологической грамматики) и в изучении их функционирования в речевой деятельности слушающего (функциональный аспект семасиологической грамматики). Цель второго подхода состоит в систематизации содержательных структур языка (структурный аспект ономасиологической грамматики) и в изучении их функционирования в речевой деятельности говорящего (функциональный аспект ономасиологической грамматики).

Осознание методологической важности разграничения семасиологического и ономасиологического подходов к изучению языка началось еще в XIX в. Одним из первых к сознательному разграничению этих подходов пришел Р. Раск. Как представитель сравнительно-исторического языкознания, выдвинувшего на первый план семасиологический подход, он относился критически к философским грамматикам XVII—XVIII вв. Характерную черту этих грамматик ученый видел в том, что на ведущее положение в них был выдвинут принцип «от мысли к средствам ее языкового выражения». Для Р. Раска этот принцип был неприемлем. Он писал: «Не мысль и ее формы, а слова, звучания и их формы вместе с отношениями или связями составляют то, чем должно заниматься учение о языке» (цит. по [2]). В отличие от Р. Раска, В. Гумбольдт признавал научную

равноценность семасиологического и ономасиологического подходов к изучению языка. Он считал, что в одном и том же исследовании необходимо использовать как тот, так и другой подходы [3, с. 383]. За необходимость ономасиологического («логического») подхода в грамматике выступал К. Беккер. Он считал, что при рассмотрении языка необходимо исходить «не только из фонетической стороны многообразных отношений звуков и словоформ, но и из логической (содержательной.— *Д. В.*) стороны многообразных понятий и отношений между ними» [4]. На противопоставлении семасиологического («от формы») и ономасиологического («от значения») подходов к изучению языка строил свой анализ грамматических исследований XIX в. Дж. Рис. Он выступал против эклектического смешения этих подходов в синтаксисе. «Современное состояние синтаксической литературы,— писал Дж. Рис,— может быть без преувеличения охарактеризовано как хаос, состоящий из противоречивых систем и бессистемной эклектики» [5]. Такое положение дел ученый объяснял неразличением двух противоположных методов исследования. Ученый, использующий первый из них, «исходит из значения и старается выяснить формы его выражения»; лингвист же, применяющий второй метод, «исходит из имеющихся форм и исследует их значение» [5]. Заслуга этого ученого состоит в том, что он рассматривал семасиологическую и ономасиологическую грамматики в качестве особых типов грамматики.

В первой половине XX в. на разграничение семасиологического и ономасиологического типов грамматики указывали такие известные ученые, как Ф. Брюно и В. Матезиус. Первый из них относил к числу основателей ономасиологического направления в грамматике авторов философских грамматик Нового времени, а второй связывал это направление с учением В. Гумбольдта. Семасиологическое направление в грамматике чешский ученый возводил к александрийской филологии [6]. Уже в наше время Л. Г. Бурсилл-Холлом было установлено, что ономасиологический подход к изучению языка был характерен для авторов трактатов о модусах обозначения (XIII—XIV вв.). Истоки модистской доктрины он возводил к античной философии языка [7]. На господствующее положение семасиологического и ономасиологического подходов к изучению языка в современной грамматике указывала Н. А. Слюсарева [8]. В работах А. В. Бондарко отражены основные этапы становления семасиологического и ономасиологического направлений в русской грамматике. Настало время для выделения семасиологического и ономасиологического направлений в истории грамматической науки в целом. В настоящем обзоре прослеживается судьба одного из этих направлений — ономасиологического. В истории этого направления в европейской грамматике можно выделить три больших этапа — этап зарождения (античность, средние века и эпоха Возрождения), этап становления (Новое время и XIX в.) и современный этап (XX в.).

В центре внимания греческих философов был вопрос об отношении слова к вещи. Этот вопрос решался ими в направлении «вещь → слово», т. е. в ономасиологическом направлении. Стоики использовали ономасиологический подход при изучении как слов, так и предложений. «По утверждению стоиков,— писал Секст Эмпирик,— говорить — это произносить звук, означающий представляемую вещь» [9, с. 69]. Диоген Вавилонский отмечал: «*Предложение* — значащий звук, исходящий из рассудка» [9, с. 69]. Ономасиологические установки, выработанные в рамках философии языка, перешли в александрийскую грамматику и развивались в рамках семасиологической грамматики, однако в ней они были подчине-

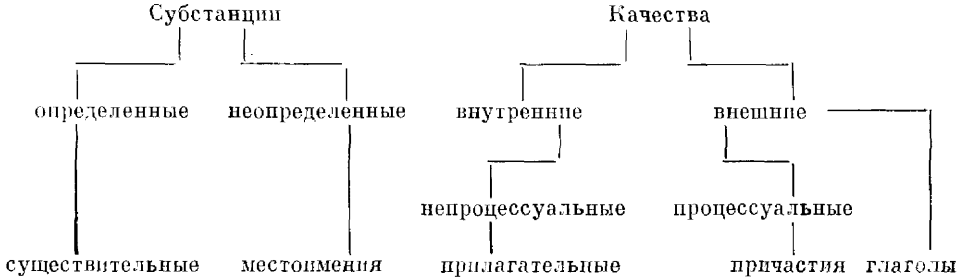
ны ее семасиологическим задачам, которые состояли в систематизации формальных структур языка и описании их функций. История семасиологического и ономасиологического направлений в языкознании проходила во взаимной зависимости их друг от друга, но зависимость последнего от первого была более сильной, чем обратная зависимость. Иначе и не могло быть: прежде, чем приступить к систематизации содержательных структур языка, необходимо располагать систематическими описаниями его формальных структур. Так, в грамматике Варрона мы находим ономасиологическую интерпретацию языковых фактов, описанных в предшествующих семасиологических исследованиях.

Ономасиологический подход у Варрона был тесно связан с диахроническим. «Как я показал в предыдущих книгах,— писал он,— речь по природе троечастна, и первая часть ее — как слова были установлены для вещей; вторая — каким образом они, отклонившись от этих последних, приобрели различия; третья — как они, разумно соединяясь между собой, выражают мысль» [9, с. 80]. У Варрона мы находим ономасиологическую интерпретацию языковых явлений и в синхроническом плане, который, впрочем, не всегда четко отграничен от диахронического. Исходя, в частности, из наличия или отсутствия категории пола, Варрон обращал внимание на несоответствие между этой категорией и регулярными средствами ее выражения в латинском языке. «Так, мужчина носит имя Perpenna или Alfena, женское по форме; и наоборот, paries (стена) по форме сходно с abies (ель), но первое их этих слов считается мужского рода, а второе — женского, тогда как по природе и то и другое среднего» [9, с. 95]. Однако в целом ономасиологический способ рассмотрения языка не получил у Варрона последовательного применения. Его морфологическая классификация, содержащая имена, глаголы, причастия и неизменяемые слова, является формальной, поскольку содержательные категории, лежащие в ее основе, остались семасиологическими: категория «отклонения от вещи» соотносится с падежными формами существительных и прилагательных, однако у этих последних значение падежа не выражает ономасиологической категории; категория времени соотносится только со спрягаемыми формами глагола; обе эти категории соотносятся также с узким формальным классом — причастиями. Широкая протяженность последней группы слов не говорит о ее принадлежности к содержательным структурам языка, поскольку в ее основе не лежит никакой ономасиологической категории.

Подлинными авторами первой ономасиологической модели языка стали грамматисты XIII—XIV вв. Опираясь на семасиологические грамматики Доната и Присциана, они осуществили ономасиологическую переориентацию традиционной семасиологической грамматики. Свои грамматики они обычно называли трактатами о модусах обозначения, поэтому их стали называть модистами. Под модусами обозначения средневековые ученые понимали способы выражения идей, которые являются результатом осознания предметов внешнего мира. Модисты считали, что грамматическому изучению языка предшествуют исследование форм бытия вещи, изучаемых метафизикой, и исследование способов понимания этих форм, изучаемых логикой. Соотнося философские категории бытия и мышления с содержательными структурами языка, они превращали эти категории в ономасиологические. К этим последним модисты приходили также и со стороны семасиологических категорий, которые они обнаруживали в грамматиках Доната и Присциана. Своего апогея модистская теория достигла в грамматике Томаса Эрфуртского [10]. Как и другие модисты,

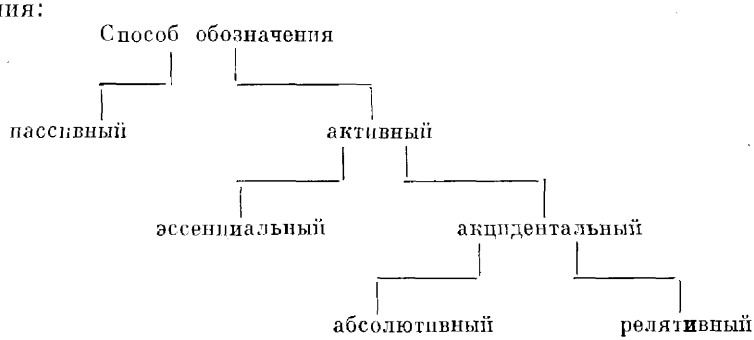
Томас подразделял грамматику на морфологию («этимологию») и синтаксис («диасинтетику»).

В области структурно-ономасиологической морфологии Томас стремился к систематизации содержательных морфологических структур языка. Ему удалось выполнить межуровневую классификацию частей речи на ономасиологической основе. Эта классификация строится на ономасиологических категориях субстанции, качества и отношения. Две первые категории выражаются изменяемыми (склоняемыми и спрягаемыми) словами, третья — неизменяемыми. Дальнейшее деление двух первых категорий может быть представлено следующим образом:



Ономасиологический характер данной классификации связан с тем, что в состав морфологических средств, объединяемых категориями субстанции, качества и внутреннего качества, входит несколько частей речи.

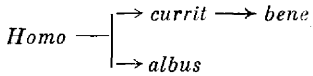
В области функционально-ономасиологической морфологии усилия Томаса Эрфуртского были направлены на объяснение операций, совершаемых говорящим в процессе употребления морфологических форм слова. Данный процесс представлен у него следующей системой модусов обозначения:



Собственно морфологическая деятельность говорящего, считал Томас, начинается с активного способа обозначения, заключающегося в выборе морфологически оформленной лексемы. Выбору этой лексемы предшествует пассивный способ обозначения, который состоит в выборе основы словоформы, которую Томас называл «дикцио». «Дикцио» — результат соединения мыслительного концепта с голосом. Мыслительный концепт как таковой является объектом логики, а голос — объектом фонетики, которую модисты исключали из грамматики. «Этимолог» обращается к изучению того момента в речевой деятельности говорящего, который связан с выбором части речи. Этот процесс Томас называл «эссенциальным» способом обозначения и подразумевал, очевидно, под ним выбор начальной формы слова. На уровне «акцидентального» способа обозначения осуще-

ствляется морфологизация части речи, выбранной в предшествующий период речевой деятельности говорящего. Процесс морфологизации, по Томасу, осуществляется посредством двух способов обозначения — абсолютивного и релятивного. Посредством первого из них говорящий производит выбор тех морфологических средств языка, которые связаны с обозначением реальных свойств вещей. Таковы субстантивные флексии рода, числа и падежа и глагольные флексии залога, времени и наклонения. Посредством релятивного способа обозначения говорящий осуществляет выбор тех средств языка, которые являются результатом их согласования с абсолютивными флексиями. К согласовательным Томас относил категории рода, числа и падежа у прилагательных и причастий, а также категории числа и лица у глагола. Релятивный способ обозначения у него, как видим, предполагает переход морфологической актуализации в синтаксическую.

Больших успехов модисты достигли в области функционально-ономасиологического синтаксиса. В грамматике Томаса Эрфуртского уже намечены основные стадии синтаксической актуализации — стемматическая и линеарная. Томас ставил в центр синтаксической стеммы грамматический субъект («суппозитум»), подчиняя ему грамматический предикат («аппозитум»). От основных компонентов стеммы зависят их «детерминанты»: от «суппозитума» — прилагательные, от «аппозитума» — падежные формы существительных и наречия. Иерархия грамматических отношений в предложении демонстрировалась Томасом на примере предложения *Белый человек бежит хорошо*:



Томас, таким образом, был сторонником субъектоцентрической теории стеммообразования. Вопрос о порядке слов в предложении решался Томасом в связи с валентными свойствами членов предложения («конструктибилий»). Ученый различал два типа конструкций — интранзитивный и транзитивный. Конструкции первого типа начинаются с независимого члена предложения (*Socrates currit* «Сократ бежит»). Конструкции второго типа начинаются с зависимой «конструктибилии» (*Lego librum* «Читаю книгу»). В приведенном примере транзитивной конструкции на первом месте находится «аппозитум». Он зависит от суппозитума *ego* «я», который в предложении не выражен, но подразумевается.

Грамматическая доктрина модистов не получила развития в эпоху Возрождения. Еще в XIV в. мощный удар ей нанес английский философ У. Оккам. Его «бритва» была направлена в сердцевину грамматического учения модистов — его «спекулятивный» (т. е. философский) характер. У. Оккам отводил грамматике роль частной науки, которая должна заниматься изучением языка как такового. Грамматика при таком подходе теряла свою связь с философией (но, именно за счет такой связи грамматика модистов приобрела ономасиологическую перспективу). Критика грамматики модистов У. Оккамом вполне соответствовала эмпирическим установкам, характерным для грамматической науки XV—XVI вв. На господствующее положение в это время выдвинулось, как и в античности, семасиологическое направление в грамматике. Его крупными представителями стали такие ученые, как Л. Мегрэ, П. Рамус, У. Буллокар и Ф. Санкциус. Слабую оппозицию работам этих ученых составляет латинская грамматика Ю. Ц. Скалигера [11].

Используя каузальные категории Аристотеля, Скалигер попытался создать свою модель речевой деятельности говорящего. В основе этой модели лежат четыре категории — causa materialis «материальная причина», causa formalis «формальная причина», causa effeciens «действующая причина» и causa finalis «целевая причина». Эти категории разрабатывались Аристотелем как универсальные, т. е. прилагались к любому сущему. Скалигер применил их к описанию речевой деятельности говорящего. Под «материальной причиной» этой деятельности он понимал материальную, звуковую сторону языка, которую склонен был отождествлять с языком как таковым. Тем самым ученый сужал структурно-ономасиологическую зону исследования в своей грамматике. Под «формальной причиной» речевой деятельности он понимал идеальную, смысловую сторону языка, которую считал объектом логики. Категория «действующей причины» связывалась Скалигером с говорящим, а категория «целевой причины» — с коммуникативной функцией языка, с рассмотрением языка в качестве средства, с помощью которого говорящий передает свои мысли слушающему. Скалигер пытался осмыслить речевую деятельность говорящего в более общем виде, чем это делали модисты. В отличие от них, он оперировал понятием языка в целом. В таком подходе к описанию речевой деятельности имеется определенное достоинство, но модель Скалигера осталась не детализованной. Отсюда ее схематический характер. В области синтаксиса, тем не менее, Скалигер наметил тот путь, по которому пошли в дальнейшем авторы грамматики Пор-Рояля. Он соотносил предложение с суждением. Основную функцию глагола при этом он видел в том, что эта часть речи выступает в предложении-суждении в роли связки. Анализируя предложение *Caesar est clemens* «Цезарь (есть) снисходителен», Скалигер указывал на то, что глагол *est* выступает здесь в своей собственно глагольной функции — в функции предикативной связки.

Становление ономасиологического направления в грамматике было связано в Европе с грамматикой Пор-Рояля [12]. А. Арно и К. Лансло стремились объяснить «рациональные начала», лежащие в основе языка. Рационализм был характерен для научного мышления многих ученых Нового времени, что объяснялось прежде всего влиянием на них философии Р. Декарта. Авторам грамматики Пор-Рояля была близка нормативистская позиция, которую Р. Декарт занимал в гносеологии. Через всю теорию познания французского философа проходит мысль: «для успеха в познании мало иметь хороший ум, надо еще уметь его правильно применить». Для А. Арно и К. Лансло из этой мысли следовал вывод: «правильное применение ума невозможно без правильного пользования языком». Они определяли грамматику как «искусство говорить» [12, с. 1]. Нормативизм не был единственной установкой, которая сближала авторов грамматики Пор-Рояля с Р. Декартом. Им был близок также и дедуктивизм Р. Декарта. Их грамматическая теория имеет явную дедуктивную направленность. В основе этой теории лежит традиционное положение о том, что все люди мыслят одинаково, а следовательно, в любом языке должны быть средства, служащие для выражения хода их мыслей, их суждений. Лингвистические универсалии выводились ими из логических универсалий. Как те, так и другие составили дедуктивную основу их грамматической концепции.

Важнейшей чертой картезианской философии является антропоцентризм. В основе этой философии, как известно, лежит знаменитое Cogito, ergo sum. В центре внимания Р. Декарта был мыслящий человек.

Антропоцентрической является и грамматика Пор-Рояля. В центре внимания ее авторов был говорящий человек, что свидетельствует об ономасиологической направленности их грамматики. Ориентация А. Арно и К. Лансло на точку зрения говорящего сказалась на субъективации, или рационализации, ономасиологических категорий, из которых они исходили в своей грамматике. Субъективный момент в этих категориях связан со степенью зависимости их содержания от точки зрения говорящего на те или иные явления действительности, которые отражаются в данных категориях. В качестве основных в грамматике Пор-Рояля выступают по существу те же ономасиологические категории, что и у модистов,— категории субстанции, качества и отношения. Но А. Арно и К. Лансло внесли в них субъективный момент, т. е. перевели их из плана объективной действительности в план мышления. Тем самым они превратили данные категории в ономасиологические категории предмета мысли (субъекта), его атрибута (предиката) и связи между ними. Это позволяло французским ученым интерпретировать категории субстанции, качества и отношения с точки зрения тех операций, которые совершает говорящий в процессе суждения (указанные операции учитывались ими не только в синтаксисе, но и в морфологии). На доминирующее положение в последнем из этих разделов грамматики у них выдвинут структурно-ономасиологический аспект, а в первом — функционально-ономасиологический.

В своей классификации частей речи авторы грамматики Пор-Рояля стремились исходить из структуры суждения. Основными членами суждения они считали субъект, атрибут и связку. Субъект суждения называет тот предмет, в отношении которого что-либо утверждается или отрицается, а атрибут указывает на то или иное качество субъекта суждения, которое приписывается ему с помощью связки. В предложении *La terre est ronde* «Земля является круглой» *la terre* — субъект, *ronde* — атрибут и *est* — связка. Исходя из структуры суждения, авторы грамматики Пор-Рояля отграничивали друг от друга существительные и местоимения (они выступают в суждении в роли субъекта), прилагательные и причастия (они выступают в суждении в роли атрибута) и глаголы. Основную роль в суждении А. Арно и К. Лансло отводили глаголу-связке «быть», называя его субстантивным в отличие от остальных глаголов — адъективных, выступающих в суждении не только в роли связки, но и атрибута. Это обстоятельство позволяло А. Арно и К. Лансло устанавливать синонимические отношения между предложениями *Pierre vit* «Пьер живет» и *Pierre est vivant* «Пьер жив». Другие части речи — кроме существительных, местоимений, прилагательных, причастий и глаголов — авторы грамматики Пор-Рояля стремились группировать вокруг частей речи, которые непосредственно соотносятся с членами суждения. Предлоги и артикли они подключали к существительным, наречия — к глаголам. Такого рода классификации частей речи не могут быть признаны собственно морфологическими: в основе их лежат категории, выводимые из функций членов предложения, а не частей речи. Синтаксоцентрический подход к классификации частей речи стирает границу между морфологией и синтаксисом.

А. Арно и К. Лансло подразделяли синтаксис на два раздела. Первый из них был посвящен объяснению согласования и управления. Интерпретация этих синтаксических связей в их грамматике свидетельствует о том, что ее авторы, как и модисты, исходили из субъектоцентрической теории стеммообразования. Второй раздел синтаксиса в анализируемой грамматике посвящен объяснению синтаксических «фигур», под

которыми А. Арно и К. Лансло понимали аномальные явления в синтаксисе. Они относили к ним, вслед за Ф. Санкциусом, силлепсис, эллипсис, плеоназм и гипербат (инверсию) [12, p. 208]. Инверсию они усматривали в тех случаях, когда при установлении порядка слов в предложении говорящий не следует за естественным ходом мыслей, т. е. не ставит сказуемое или определение после подлежащего, а дополнение — после сказуемого. Два периода синтаксической актуализации — стемматический и линеарный — были намечены у авторов грамматики Пор-Рояля в еще недостаточно четкой форме.

Среди последователей авторов грамматики Пор-Рояля были не только популяризаторы этой грамматики (М. Ресто, А. Сильвестр де Саси или Р. Сикар [13—15]. Среди них были и оригинальные ученые. Остановимся здесь на анализе структурно-ономасиологического аспекта морфологии в грамматике Н. Бозэ [16] и функционально-ономасиологического аспекта синтаксиса в грамматике Ц. Дюмарсэ [17].

Все части речи Н. Бозэ подразделял на «аффективы» (междометия) и «дискурсивы». Первые из них выражают чувства, а вторые служат для анализа и выражения мыслей. Дискурсивы ученый членил на склоняемые и несклоняемые части речи. Под это формальное членение он подводил содержательное основание. Склоняемые части речи характеризовались им как слова, которые своими окончаниями передают значения единичности или множественности, т. е. обладают морфологической категорией числа, а несклоняемые части речи он описывал как слова, которые данной категорией не обладают. К несклоняемым частям речи Н. Бозэ относил «супплетивы» и союзы. Супплетивы включают предлоги и наречия. Их объединяет функция смыслового «дополнения»: предлоги конкретизируют (дополняют) смысл существительных и местоимений, а наречия уточняют (дополняют) смысл глаголов в предложении. Союзы же служат для выражения различных отношений, в которых находятся те или иные явления действительности, описываемые либо отдельными членами предложения, либо целыми предложениями. К склоняемым частям речи Н. Бозэ относил «детерминативы», куда он включал существительные и субстантивные местоимения, и «индетерминативы», в состав которых включались глаголы и прилагательные (артикли и причастия Н. Бозэ относил к прилагательным). Разграничение детерминативов и индетерминативов проводилось им на том основании, что первые обозначают определенные явления, а вторые — неопределенные. Он писал: «Детерминативами являются слова, которые представляют в сознании определенные явления... Существительные обозначают определенные явления через идею их природы, местоимения же обозначают их через идею их отношения к лицу в акте речи. Индетерминативы являются словами, которые представляют в сознании неопределенные явления... Прилагательные обозначают неопределенные явления через определенную, но случайную для субстанций идею; эти явления обычно выражаются именами нарицательными, к которым они (прилагательные.— *Д. В.*) присоединяются; глаголы обозначают неопределенные явления через определенную идею интеллектуального существования, имеющую отношение к атрибуту (avec relation à un attribut)» [16, II, с. 95]. Как видим, синтаксоцентрическая тенденция в данной классификации связана лишь с интерпретацией глагола, однако в основе своей она является собственно морфологической. К сожалению, содержание таких категорий, как определенность и неопределенность явления или идеи, не объяснено у Н. Бозэ с достаточной четкостью. Остается неясным, по-

чему прилагательные и глаголы обозначают неопределенные явления через определенные идеи. Очевидно, говоря об этом, ученый имел в виду случайный, преходящий характер качеств и действий по отношению к субстанциям, а под определенностью идей, которые их отражают, он подразумевал их отнесенность к определенным субстанциям в конкретных речевых ситуациях.

Термин «синтаксис» Ц. Дюмарсэ употреблял в узком смысле — только по отношению к тому состоянию создаваемого предложения, которое мы называем вслед за Л. Теньером «стеммой» [18]. Линейное состояние создаваемого предложения Ц. Дюмарсэ называл «конструкцией». Объясняя различие между стеммой («синтаксисом») предложения и линейными вариантами одной и той же синтаксической стеммы «(конструкциями»), он указывал, что в предложениях *Accepi litteras tuas* «Я получил твое письмо», *Litteras accepi tuas* и *Tuas accepi litteras* мы имеем дело с тремя различными конструкциями, поскольку здесь представлены три различных расположения слов, хотя «синтаксис» в них один и тот же. «Синтаксические» отношения, таким образом, он мыслил как отношения зависимости, которая существует между членами создаваемого предложения. Три конструкции, приведенные выше, реализуют одну и ту же стемму, которую Ц. Дюмарсэ описывал в такой последовательности: *Accepi* → *litteras* → *tuas*. Тот факт, «что «синтаксис» у Ц. Дюмарсэ предшествует «конструкции», свидетельствует об ономасиологической перспективе его функционального синтаксиса. Отношения, существующие между двумя — стемматическим и линеарным — периодами синтаксической актуализации, он представил в своей грамматике в более эксплицированном виде, чем это сделано в грамматике Пор-Рояля.

В качестве основного варианта синтаксической стеммы Ц. Дюмарсэ рассматривал конструкции с прямым порядком слов. Он считал, что при установлении этого порядка говорящий следует за естественным ходом вещей. Вот почему и сам этот порядок он называл «естественным». Естественно, полагал он, что следствие идет за причиной, качество — за субстанцией, а пациенс — за агенсом. Естественный порядок отражает естественный ход вещей. Он отражен в таких предложениях, как *Le soleil est lumineux* «Солнце является ярким», *Dieu a creé le monde* «Бог сотворил мир» и т. п. [17, с. 245]. Фактор «природы» отнесен у Ц. Дюмарсэ к синтаксическому периоду фразообразования, тогда как на самом деле он действует в его «лексический» период — в тот период, когда говорящий отбирает лексемы для создаваемого предложения. Это привело Ц. Дюмарсэ к неверному истолкованию активных и пассивных конструкций. В противовес собственному определению «синтаксических» отношений в предложении он рассматривал эти конструкции как варианты одной и той же стеммы предложения. Так, различие между предложениями *August vainquit Antoine* «Август победил Антония» и *Antoine fut vaincu par Auguste* «Антоний был побежден Августом» он объяснял с точки зрения «естественного» фактора словорасположения: актив интерпретировался как конструкция с «естественным» словопорядком (агенс — пациенс), а пассив — как конструкция с «фигуративным» (т. е. обратным) словопорядком (пациенс — агенс) [17, с. 245]. В понятие стеммы предложения при таком подходе включается понятие синтактико-содержательной структуры. Иначе говоря, структурно-ономасиологический синтаксис сливается в этом случае с функционально-ономасиологическим синтаксисом.

Появление инвертированных конструкций в речи говорящих Ц. Дюмарсэ не связывал с передачей какого-либо смысла, что вызвало протест

со стороны Ш. Бато, который в полемике с Ц. Дюмарсэ пришел во второй половине XVIII в. к основным понятиям актуального членения предложения [19]. Прямой словопорядок Ш. Бато называл «грамматическим», а обратный — «ораторским». Объясняя разницу между ними, он сравнивал предложения *Alexander vicit Darium* «Александр победил Дария» и *Darium vicit Alexander* «Дария победил Александр». В результате он пришел к выводу, что указанные предложения нельзя отождествлять в смысловом отношении, как это делал Ц. Дюмарсэ. Инвертированный порядок во втором предложении, указывал Ш. Бато, не является механическим преобразованием прямого словопорядка, а связан с передачей определенного смысла — дополнительного к тому, который передается с помощью «грамматического» словорасположения. Он свидетельствует, что Дарий в данном случае стоял в центре «интересов» и внимания говорящего. «Порядок, который я называю ораторским,— писал Ш. Бато,— представляет собою такой порядок, который обусловлен интересом или точкой зрения того, кто говорит» [19, с. 14].

В XIX в., как и в эпоху Возрождения, на лидирующее положение выдвинулось семасиологическое направление в грамматике, что было связано с бурным развитием в это время сравнительно-исторического языкознания. Наиболее крупным представителем ономасиологической линии в языкознании в этот период стал В. Гумбольдт. Его учение о двух формах существования языка, названных ἔργον и ἐνέργεια, способствовало дифференциации понятий «языковая система», «речевая деятельность» и «речь». Вопрос о соотношении этих понятий решался немецким ученым в ономасиологическом направлении. «Если язык,— писал он,— представлять в виде особого и объективировавшегося самого по себе мира, который человек создает из впечатлений, получаемых от внешней действительности, то слова образуют в этом мире отдельные предметы, отличающиеся индивидуальным характером также и в отношении формы. Речь течет непрерывным потоком, и говорящий, прежде чем задуматься над языком, имеет дело только с совокупностью подлежащих выражению мыслей» [20, с. 90]. В этих словах В. Гумбольдта мы находим по существу сжатое описание ономасиологической модели языка, учитывающей ее структурный и функциональный аспекты. Однако на ведущее положение В. Гумбольдт выдвинул в своей концепции первый из этих аспектов.

Ономасиологическая концепция В. Гумбольдта является этноцентрической. Немецкий ученый сосредоточил свое внимание на выявлении субъективного момента в ономасиологических категориях, но не в связи с речевой деятельностью говорящего, как это было у А. Арно и К. Лансло, а в связи с соотнесением данных категорий с языковой системой как таковой. При этом он обращал внимание на то, что различные языки выражают одни и те же содержательные категории по-разному, имея в виду не только звуковую сторону языка, но и его «внутреннюю форму», т. е. систему особых способов, посредством которых язык выражает те или иные категории. Так, В. Гумбольдт обращал внимание на то, что категория наклонения получила в греческом языке более развитую «внутреннюю форму», нежели в санскрите, где средства выражения данной категории, по его мнению, недостаточно четко отграничены от средств выражения категории времени [20, с. 101].

К выявлению ономасиологических категорий В. Гумбольдт шел семасиологическим путем. Так, отправляясь от различных средств выражения категории двойственного числа и обращая внимание на семантическое варьирование этой категории в разных языках, ученый выде-

лил три типа ономасиологических субкатегорий двойственного числа: 1) имеющие отношение к лицу, 2) связанные с природно парными явлениями, 3) содержащие «общее понятие двоичности» [3, с. 392]. Исходя из данных категорий, В. Гумбольдт разбил языки на три группы: 1) языки, в которых средства выражения двойственного числа ограничиваются местоимениями; 2) языки, в которых двойственное число выражается именами; 3) языки, в которых двойственное число «распространяется на весь язык» [3, с. 393]. Собственно ономасиологический подход к выявлению ономасиологических категорий (от «чистых понятий») В. Гумбольдт считал вспомогательным по отношению к семасиологическому. Он писал: «Что же касается самой формы, то при таком (семасиологическом.— *Д. В.*) подходе реальное ее употребление противопоставляется тому, которое можно вывести из ее чистого понятия, а это предостерегает от того одностороннего стремления к системности, которому неизбежно подвержен исследователь, желающий определить законы реально существующих языков исходя из абстрактных понятий. Как раз за счет того, что рекомендуемая здесь практика преследует как можно более полное освещение фактов, но неизбежно сочетает с ним и обращение к чистым понятиям, чтобы внести единство в многообразие и выбрать правильную исходную основу для наблюдения и оценки отдельных различий, она избегает опасности, которая иначе равным образом грозит сравнительному языкознанию как со стороны исключительного предпочтения исторического (семасиологического.— *Д. В.*) пути, так и философского (ономасиологического.— *Д. В.*)» [3, с. 382—383]. Ведущее положение семасиологического подхода при выявлении ономасиологических категорий по отношению к собственно ономасиологическому было связано у В. Гумбольдта с его вниманием к структурно-семантическим различиям между языками.

Источник языкового своеобразия В. Гумбольдт видел в конечном счете не в объектах описываемой действительности, а в особом отношении к ним со стороны народа, говорящего на данном языке, задача исследователя состоит в том, чтобы показать, как отразилась в структуре того или иного языка особая точка зрения на мир, присущая определенному народу. С этих позиций ученый подходил к вопросу о классификации языков. Цель этой классификации он видел в том, чтобы показать своеобразие содержательных, а не формальных структур того или иного типа языка. Его классификация языков была направлена на выполнение ономасиологических, а не семасиологических задач. «Через описание формы,— указывал В. Гумбольдт,— мы должны установить тот специфический путь, которым идет к выражению мысли язык, а с ним и народ, говорящий на этом языке» [20, с. 73]. Ономасиологическую перспективу гумбольдтовской классификации языков трудно установить, поскольку в ее основе нет определенных содержательных категорий. Автор этой классификации как бы остановился в самом начале своего пути к подлинно ономасиологической типологии, опирающейся на определенные ономасиологические категории (примером такой типологии в наше время является синтаксическая типология И. И. Мещанинова). Однако в теоретическом отношении В. Гумбольдт представил ономасиологическую интерпретацию своей морфологической классификации языков, призванной показать, «какие внутренние духовные потребности вызывают ее (классификацию.— *Д. В.*) к жизни, как она воплощается в звуковой форме и насколько эти потребности удовлетворяются подобным звуковым воплощением» [20, с. 118]. Чрезвычайно абстрактный характер критериев, отграничивающих в анализируемой классификации один тип языка от другого, не позволил

В. Гумбольдту положить в основу этой классификации определенные ономасиологические категории. В основе его классификации лежит внеязыковое содержание вообще.

А. Вейль, в отличие от В. Гумбольдта, в своей работе о порядке слов [21] выдвинул на передний план функциональный аспект ономасиологической грамматики. Опираясь на идеи Ш. Бато, он заложил основы учения об актуальном членении предложения. Цель этого учения французский ученый видел в том, чтобы показать, что принцип актуального членения является главным принципом словопорядка. Основные понятия актуального членения («отправной пункт» или «исходное понятие» и «собственно высказывание» или «цель высказывания») А. Вейль пояснял на примере различных способов актуального членения предложения *Romulus condidit Romam* «Ромул основал Рим». Если говорящий принимает Ромула за отправной пункт высказывания, он может использовать словопорядок *Romulus Romam condidit*, где собственно высказывание составляют дополнение и сказуемое. Если же за отправной пункт высказывания говорящий принимает Рим, он может использовать словопорядок *Romam condidit Romulus*, где собственно высказывание составляют сказуемое и подлежащее. «Мы имеем здесь дело, таким образом,— писал А. Вейль,— с отправным пунктом, исходным понятием, которое одинаково представлено и тому, кто говорит, и тому, кто слушает, и которое выступает как место встречи двух сознаний, и с другой частью высказывания, которая образует собственно высказывание» [21, с. 24]. Поскольку в основе предложений, имеющих различное актуальное членение, лежит одна и та же ситуация, говорящий использует в них одни и те же члены предложения. Различные условия общения в конкретных актах речи детерминируют выбор говорящим особого способа актуального членения, который свидетельствует об особом движении его мысли и, следовательно, об особом порядке слов в предложении. «Синтаксис (грамматическое членение предложения. — *Д. В.*),— писал А. Вейль,— есть образ чувственного факта. Порядок слов... есть образ движения мысли» [21, с. 24]. А. Вейль, как видим, вплотную приблизился к современным представлениям об актуальном членении предложения и его роли в акте синтаксической линеаризации. Уже этот факт свидетельствует об успехах, которых достигли грамматисты XIX в. в области ономасиологической грамматики. Однако больших успехов в этом время достигли и представители семасиологического направления в европейской грамматике. Его ведущими представителями на рубеже XIX—XX вв. стали младограмматики. Их научный авторитет однако, был основательно поколеблен в начале XX в. Ф. де Соссюром. Он считал, что чрезмерное увлечение диахронией привело младограмматиков к утрате подлинного объекта лингвистики — языковой системы как таковой. Но Ф. де Соссюр не затрагивал семасиологических установок младограмматической доктрины. Концепция швейцарского ученого, таким образом, не могла способствовать возрождению интереса к ономасиологической грамматике в этот период. Понятно, что тот, кто в этих условиях стал заниматься разработкой ономасиологической грамматики, не мог не осознавать себя новатором. Новаторскими были грамматические теории таких выдающихся представителей ономасиологического направления в грамматике первой половины XX в., как Ш. Балли, Ф. Брюно, О. Есперсен, В. Матезиус и Г. Гийом. Ономасиологическая грамматика представляется «новой» и в настоящее время, поскольку ее принципы разработаны в значительно меньшей степени, чем основы семасиологической грамматики.

Анализ концепций, принадлежащих к ономасиологическому направлению в грамматике XX. в., показывает, что в его рамках можно выделить три тенденции: структурную, функциональную и структурно-функциональную. Представители первой тенденции — Ф. Брюно и Л. Вайстербер. Их грамматики являются структурно-ономасиологическими. Представитель второй тенденции — Г. Гийом. Его грамматика является функционально-ономасиологической. Представителями третьей тенденции были О. Есперсен, Ш. Балли и В. Матезиус. Их грамматики следует признать не только структурно-ономасиологическими, но и функционально-ономасиологическими (сюда же относится и ономасиологический синтаксис Л. Теньера). Ф. Брюно, О. Есперсен, В. Матезиус и Ш. Балли могут быть названы основателями современной ономасиологической грамматики. Каждый из этих исследователей, однако, шел к этой грамматике своим путем. Еще в 1909 г. Ш. Балли писал: «Итак, единственно рациональный метод состоит в том, чтобы брать за исходную точку логические категории и отношения, которые живут в сознании всех носителей данного языка, с целью определить средства, которые язык предоставляет в распоряжение говорящих для выражения каждого из этих понятий, категорий и отношений» [22, с. 296]. Объясняя специфику подхода, используемого в его книге «Мысль и язык», Ф. Брюно писал «Эта книга не является „психологией“ ... Она не является также и „грамматикой“ ... Я хотел бы только представить в ней методическое изложение фактов мысли, рассматриваемых и классифицируемых в отношении к языку и средствам выражения, которые им соответствуют» [23, VII]. Ф. Брюно, как видим, был очень осторожен в утверждении ономасиологического подхода в грамматике. Этим объясняется его отказ от термина «грамматика». Как ни странно, но именно этим вызваны и такие его слова: «Пусть читатели не удивляются, что я иду от мысли к формам ее выражения в языке. Возврат к идеологической (ономасиологической.— *Д. В.*) грамматике XVIII в. меня совсем не пугает» [23, с. XIX]. Различие между семасиологическим подходом к изучению языка и ономасиологическим О. Есперсен объяснял следующим образом: «Любое языковое явление можно рассматривать либо извне, либо изнутри, исходя из его внешней формы или из его внутреннего значения. В первом случае мы начинаем со звучания слова или какой-либо иной части языкового выражения, а затем переходим к значению, связанному с ним. Во втором случае мы отправляемся от значения и задаем себе вопрос, какое формальное выражение это значение находит в данном конкретном языке» [24]. В историко-научном плане описывал разницу между семасиологическим и ономасиологическим подходами в грамматике В. Матезиус: «Традиционный метод лингвистического исследования может быть назван формальным в том смысле, что форма как вещь известная постоянно бралась за отправной пункт исследования, тогда как значение, или функция, формы рассматривалось как то, что должно быть обнаружено. Это явилось естественным следствием из факта, что филология долгое время основывалась, главным образом, на интерпретации старых текстов и, следовательно, делала точку зрения читающего своей собственной. Перенесенный в реальную жизнь формальный метод совпадал с методом слушающего... В противоположность традиционной интерпретации форм, современная лингвистика принимает значение, или функцию, за свой отправной пункт и пытается обнаружить, какими средствами оно выражено. Это и есть точка зрения говорящего или пишущего, который должен находить языковые формы для того, что он хочет выразить» [25, с. 12].

Не отрицая необходимости семасиологической грамматики, Ф. Брюно, однако, считал, что настало время для нового типа грамматики. Цель новой — «идеологической» — грамматики он видел в том, чтобы систематизировать выразительные средства языка на ономасиологической основе, т. е. отправляясь от определенных ономасиологических категорий. Каждая категория при этом должна выступать в качестве основы для объединения разноуровневых средств языка — словообразовательных, лексических, морфологических и синтаксических. Новизна структурно-ономасиологической грамматики Ф. Брюно именно в том и состояла, что в состав содержательных структур языка ее автор стал включать единицы различных языковых уровней, тогда как представители традиционной ономасиологической грамматики ограничивали состав той или иной содержательной структуры языка единицами определенного уровня. Вот почему эта грамматика имела ту же дисциплинарную структуру, что и семасиологическая грамматика. Дисциплинарная структура представлена *в большей части и современных ономасиологических исследований.* Традиционная ономасиологическая грамматика может быть названа грамматикой стратификационного типа, или грамматикой с эксплицитной дисциплинарной структурой. Ф. Брюно положил начало ономасиологической грамматике межуровневого типа, или грамматике с имплицитной дисциплинарной структурой. Грамматики этого типа имеют в настоящее время широкое применение в практике преподавания иностранных языков. Так, в [26] представлено описание разноуровневых средств языка, служащих для выражения таких категорий, как время, условие, цель и т. д. В теоретическом плане над ономасиологической грамматикой межуровневого типа у нас работает А. В. Бондарко со своими сотрудниками. Он исходит из положения о том, что для выражения одной и той же ономасиологической («семантической») категории в реальном речевом акте говорящий может использовать единицы, принадлежащие к разным уровням языка. «В конкретном акте речи,— писал А. В. Бондарко,— морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексические элементы переплетаются и взаимодействуют, включаясь в выражение смысла высказывания» [27] Принцип дисциплинарности при таком подходе не игнорируется полностью. Межуровневая ономасиологическая грамматика имеет имплицитную дисциплинарную структуру потому, что, во-первых, языковые средства, служащие для выражения определенной категории в ней, маркируются с точки зрения их принадлежности к тому или иному уровню языка, а во-вторых, эти средства упорядочиваются в соответствии с определенным принципом. У А. В. Бондарко это принцип центра и периферии функционально-семантического поля. Одно поле объединяет разноуровневые средства языка, однако в центре этого поля — в зависимости от типа ономасиологической категории, лежащей в его основе,— могут находиться языковые средства определенного уровня — морфологического, синтаксического и т. д. В одной из своих последних статей А. В. Бондарко охарактеризовал грамматики с эксплицитной дисциплинарной структурой как «системно-дифференцирующие», а грамматики с имплицитной дисциплинарной структурой — как «системно-интегрирующие» [28].

Ф. Брюно считал, что в философских грамматиках нового времени «идеологический» принцип не был проведен до конца. Эту задачу он поставил перед собой при написании книги «Мысль и язык». В основу его структурно-ономасиологической грамматики межуровневого типа положено пять содержательных зон: предметы, события, обстоятельства, ха-

рактеристики и отношения. Внутреннее членение этих зон Ф. Брюно производил, как правило, на семасиологической основе, однако изложение материала проводилось им не по разделам грамматики, а по указанным зонам. В результате этого грамматика Ф. Брюно воспринимается как «чисто» ономасиологическая. Изложение грамматики на основе содержательных категорий не означает, что автор такой грамматики выделяет данные категории безотносительно к языку. Легко увидеть, что различные виды «отношений» выводились Ф. Брюно из синтаксиса: «предметы» — из существительных, «события» — из глаголов, «обстоятельства» — из наречий, «характеристики» — из прилагательных. «Мы вновь находим, таким образом,— писал Л. Кледа,— те самые „части речи", которые автор „Мысли и языка" так энергично критиковал во введении» (цит. по [29]). Л. Кледа не принял новый — межуровневый — тип ономасиологической грамматики. Его смущало отсутствие в грамматике Ф. Брюно четкой дисциплинарной структуры. С этих же позиций критиковал Ф. Брюно и В. Матезиус [25, с. 12]. Нечто подобное мы наблюдаем и в подходе В. Г. Гака к грамматической теории А. В. Бондарко. «В этом случае (в случае отказа от принципа дисциплинарности в ономасиологической грамматике.— *Д. В.*),— пишет В. Г. Гак,— грамматика перестает быть грамматикой в собственном смысле термина и превращается в функционально-ономасиологическое описание языка» [30]. Ономасиологическая грамматика с эксплицитной дисциплинарной структурой, на наш взгляд, не является единственным вариантом этой грамматики. Другим ее вариантом является грамматика с имплицитной дисциплинарной структурой.

Если грамматика Ф. Брюно представляет собою структурно-ономасиологическую грамматику межуровневого типа, то грамматика Л. Вайсгербера является структурно-ономасиологической грамматикой стратификационного типа. Ее автор выделял три направления в истории грамматики — ориентированное на звуки (lautbezogen), ориентированное на (языковое) содержание (inhaltbezogen), ориентированное на вещи (sachbezogen). Два последних направления он резко отграничивал друг от друга, хотя и расценивал их как ономасиологические и противопоставлял на этом основании первому, которое связывал с традиционной семасиологической грамматикой. Направление, ориентированное на содержание, Л. Вайсгербер возводил к учению В. Гумбольдта, а направление, ориентированное на вещи, обычно анализировал на примере лексической ономасиологии Г. Шухардта и идеографического словаря Ф. Дорнзайфа, хотя истоки этого направления он усматривал еще у Аристотеля. Разницу между данными направлениями Л. Вайсгербер видел в том, что направление, ориентированное на вещи, подходит к языковым структурам со стороны объективного мира, а направление, ориентированное на содержание, исследует эти структуры, исходя из языкового содержания как такового. Свою заслугу ученый видел в последовательном развитии гумбольдтовской концепции языка. В грамматике, ориентированной на звуки, Л. Вайсгербер усматривал предварительное условие для построения грамматики, ориентированной на содержание. Вот почему он включил ее в свою четырехступенчатую систему грамматики [31]. Кроме «inhaltbezogene Grammatik», сюда вошли также когнитивная (leistungbezogene) и прагматическая (wirkungbezogene) грамматики, необходимость разработки которых он выводил из гумбольдтовского учения о языке как ἐνέργεια, тогда как грамматику, ориентированную на содержание, связывал с учением В. Гумбольдта о языке как ἔργον.

Подход, ориентированный на вещи, расценивался Л. Вайсгербером

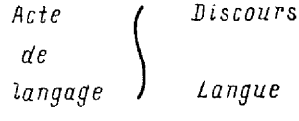
в качестве вспомогательного по отношению к другим подходам, однако возможности этого подхода он считал ограниченными. «Словарь, ориентированный на содержание,— писал он,— должен размещать слова так, чтобы они соотносились друг с другом по содержанию, описываемые формы при этом принимают порядок, который может быть осознан как содержательный. Определенную помощь в этом может оказать подход, ориентированный на вещи, с помощью которого мы легко сведем друг с другом „один“ и „два“ или „отец“ и „мать“, однако границы его применения обнаруживаются очень скоро...» [32]. Эти границы, по мнению Л. Вайсгербера, связаны с тем, что с помощью данного подхода можно наметить лишь предварительную языковую картину мира, но ее национальное своеобразие в данном языке обнаруживается только на семасиологической основе, т. е. исходя из языка как такового. В определении национального своеобразия содержательных структур языка Л. Вайсгербер видел высшую цель своей грамматики. Эта цель не может быть достигнута, поскольку содержательные структуры языка в любом случае соотносятся со структурой объективной действительности, но стремление к ней не могло не отразиться на своеобразии его грамматики, ориентированной на содержание. Эта грамматика является структурно-ономасиологической в своей основе. Сосредоточенность на языковой системе как таковой привела Л. Вайсгербера к абсолютизации структурного аспекта ономасиологической грамматики. Грамматика, ориентированная на содержание, не имеет функциональной перспективы [33].

Л. Вайсгербер довел до логического предела этноцентрическую ориентацию ономасиологической модели языка. Подобно В. Гумбольдту он сосредоточил свое внимание на выявлении субъективного («мировоззренческого») компонента в содержательных категориях, но обнаруживал он этот компонент в абстракции от речевой деятельности говорящего, направленной на создание предложения. Это привело Л. Вайсгербера к «полевой» теории содержательных структур. Принцип поля при этом распространялся на все языковые уровни в равной мере. В качестве эталона в грамматике Л. Вайсгербера выступает идеография. Следует в связи с этим отметить, что организация лексического материала по семантическим полям связана с речевой деятельностью говорящего в меньшей мере, чем организация словообразовательного, морфологического и синтаксического материала, поскольку лексические единицы соотносятся с объектами внешнего мира более непосредственно, чем единицы других уровней языка. Это значит, что роль принципа поля в словообразовании, морфологии и синтаксисе должна быть в большей мере ограниченной, чем в лексикологии. Еще Я. Розвадовский показал, что словообразовательная и синтаксическая деятельность говорящего начинается с категорий предмета мысли и его признака [34]. Отсюда следует, что систематизация словообразовательных и синтаксических структур в ономасиологической грамматике должна производиться сначала на основе данных категорий и только затем на «полевой» основе. Подобным образом, очевидно, следует подходить и к классификации содержательных структур в морфологии, поскольку отбор морфологических форм в процессе создания предложения зависит от порядка установления в нем грамматических отношений. Деятельностный критерий иерархизации ономасиологических категорий, а вслед за ними и содержательных структур в словообразовании, морфологии и синтаксисе опережает «полевой» критерий.

Преувеличение роли принципа поля привело Л. Вайсгербера к теоретическим рассуждениям о равном значении этого принципа для

всех типов содержательных структур. Однако практическая часть его грамматики сводится к демонстрации национального своеобразия языковых структур немецкого языка в первую очередь в области лексикологии (главным образом на материале цветообозначений), а также в словообразовании (на материале поля орнативности), в морфологии (главным образом на материале глагольных и падежных форм) и в синтаксисе, где он сопоставлял формальные и содержательные типы предложений. Подобные примеры должны были подтвердить своеобразие системы немецкого языка в целом. Главный источник этого своеобразия Л. Вайсгербер видел не во внешнем мире, а в отношении к нему говорящих. Своеобразие языка, с его точки зрения, отражается в языковом сознании говорящих. В результате этого язык выступает в познавательной и практической деятельности человека как «действующая сила». Воздействие языка на познавательную деятельность изучается когнитивной грамматикой. Воздействие языка на практическую деятельность изучается прагматической грамматикой. На этом замыкается четырехступенчатая система грамматического описания языка в целом. Таким образом, функционально-ономасиологическая грамматика выпадает из системы Л. Вайсгербера.

В грамматической теории Г. Гийома, напротив, функциональный аспект ономасиологической грамматики заслоняет собою ее структурный аспект. Свою главную задачу Г. Гийом видел в том, чтобы описать механизм перехода языка в речь («дискурс»). Если идеал Ф. де Соссюра состоял в том, чтобы рассматривать языковую систему вне перехода в речь, то идеал Г. Гийома состоял в том, чтобы все языковые явления объяснить сквозь призму этого перехода. Г. Гийома не устраивала «расплывчатость» соссюровского понятия «речь», поэтому он заменил его более конкретным понятием «дискурса» (фразы). Переход языка (langue) в дискурс (discours) он назвал актом речевой деятельности (acte de langage). Этот акт и лежит в основе его функционально-ономасиологической грамматики [35—37]. Механизм перехода языка в дискурс Г. Гийом описывал следующим образом: «Чтобы совершить акт речевой деятельности, я обращаюсь к языку, который существует в моем сознании как нечто устойчивое... Акт речевой деятельности имеет завершение в дискурсе — мимолетной конструкции моего духа, реализуемой посредством речи и вызванной мимолетной потребностью выражения» [37, с. 12]. Несмотря на то, что в этом отрывке из лекций Г. Гийома упоминаются «потребности выражения», модель акта речевой деятельности, лежащая в основе «психомеханики», не учитывает перехода внеязыкового содержания в языковую форму. Структурный аспект его ономасиологической грамматики растворен в ее функциональном аспекте. «Акт речевой деятельности — постоянно подчеркивал Г. Гийом,— есть переход языка в дискурс» [37, с. 12]. Схема данного акта обычно изображалась им таким образом:



Грамматическая теория Г. Гийома принадлежит к числу наиболее оригинальных теорий в лингвистике. Она нашла много последователей [38]. Г. Гийому удалось представить переход языка в дискурс в виде пространственно-временнóго механизма, результатом действия которого

является фраза. Его грамматическая модель, вместе с тем, имеет ограниченную ономасиологическую перспективу: интерпретация языковых структур остается в ней во власти семасиологической грамматики. Это проявилось в том, что представление о языковой системе у Г. Гийома сводилось к системе частей речи, расположенных на оси «язык — дискурс». Исходя из обычного порядка слов в предложении, Г. Гийом расположил в начале языковой области имена существительные. Они приводят в действие лингводискурсивный механизм. Затем располагаются другие части речи — в порядке их иерархической зависимости. Посредине языковой области находятся прилагательные и глаголы, в ее конце — наречия. Ближе к дискурсивной области располагается предлог, который вместе с другими служебными словами завершает построение фразы. Граница между языковой и дискурсивной областями в разных языках не одинакова: в одних она ближе к языку (интрафлективные языки), в других — ближе к дискурсу (инкорпорирующие языки). *Немецкий язык ближе к инкорпорирующим языкам, чем французский.* Этим объясняется обилие сложных слов в немецком языке.

Несмотря на то, что Г. Гийому удалось по-новому объяснить многие языковые явления, его теория не лишена противоречий. Основной источник этих противоречий заключен в несогласованности ономасиологических задач, стоящих перед данной теорией, с семасиологическими средствами их достижения: языковые структуры, которыми располагает говорящий в процессе создания дискурса, интерпретировались Г. Гийомом в основном с семасиологической точки зрения. В области функционально-ономасиологической грамматики французский ученый повторил ошибку Л. Вайсгербера, состоящую в переоценке значения семасиологической грамматики для ономасиологической. Стремление к упразднению принципиального различия между содержательными и формальными структурами языка не имеет объективных оснований: сведéние первых к последним семасиологизирует ономасиологическую грамматику. В грамматической теории О. Есперсена, напротив, получили ономасиологическую интерпретацию не только функциональный, но и структурный аспект ономасиологической грамматики.

Структурно-ономасиологический аспект грамматики представлен у О. Есперсена теорией понятийных категорий. Эта теория развивалась в дальнейшем И. И. Мещаниновым. Л. Вайсгербер расценивал понятийные категории как внеязыковые. Тем самым он хотел принизить их значение для грамматических исследований. Ни у О. Есперсена, ни у И. И. Мещанинова между тем нет ни одной понятийной категории, которые были бы выведены безотносительно к языковым средствам их выражения. В противном случае данные категории не могли бы выступать в теориях О. Есперсена и И. И. Мещанинова как ономасиологические. Эти категории фигурируют в двух формах — объективной (предметной) и субъективной (мыслительной). Последняя из этих форм ономасиологических категорий в процессе речевой деятельности говорящего переходит в языковое содержание (значение). Между внеязыковым и языковым содержанием нет резкой границы, поскольку в каждом из них есть противоположные элементы. Так, в мыслительном содержании имеется семантический (содержательно-языковой) момент, поскольку к описанию внеязыковой действительности говорящий подходит с особой точки зрения, которая в какой-то мере, как показал Л. Вайсгербер, задается определенным языком. Данный момент составляет субъективное начало в ономасиологической категории. Однако в процессе создания предложения мысли-

тельные категории свободны от языковых форм, поэтому они и являются внеязыковыми. Утверждение О. Есперсена об универсальном характере понятийных категорий [24, с. 58] не отменяет связи этих категорий с языком: в любом языке имеются те или иные средства для выражения количества, времени и т. д. Связь понятийных категорий с различными средствами их языкового выражения указывает на их своеобразие по отношению к разным языкам. Так, состав понятийных категорий, связанных с морфологическими средствами современного английского языка, в той или иной мере отличается от состава понятийных категорий, связанных с морфологическими средствами их выражения в других языках [39].

Функциональный аспект ономасиологической грамматики представлен у О. Есперсена теорией трех рангов. В основе данной теории лежит акт фразообразования, взятый главным образом на его начальной, стемматической, стадии. Базовую стемму предложения в синтаксисе О. Есперсена составляют элементы трех «рангов». Первый из них представляет собою обобщение подлежащего и дополнения, второй — обобщение сказуемого и определения, третий — соответствует обстоятельствам. Каждый из данных элементов выступает как основа для объединения не только номинативных, но и синтаксических средств языка. Так, в роли подлежащего первичного элемента могут выступать не только существительные в именительном падеже или его функциональные эквиваленты, но также и различные синтаксические конструкции (например, *What you say is quite true* «То, что ты говоришь, совершенно верно»).

К сожалению, в основе теории рангов лежит не в меру абстрактное представление о реальном акте фразообразования. Это придает ей искусственный характер. Так, не получил у О. Есперсена удовлетворительной разработки вопрос о линеаризации предложения. Фактор актуального членения в процессе актуализации стеммы предложения у него по существу не учитывается. Проблема словорасположения решается в синтаксисе О. Есперсена только на уровне грамматического фактора. Но главный недостаток ономасиологической грамматики датского ученого в целом состоит в несогласованности ее структурного и функционального аспектов: теория понятийных категорий и теория рангов не составляют единой системы, отражающей механизм речемыслительной деятельности говорящего. Не может быть признана удовлетворительной с данной точки зрения и ономасиологическая грамматика Ш. Балли [22, 40].

Структурный аспект ономасиологической грамматики представлен у Ш. Балли теорией идентификации. Сущность этой теории связана с систематизацией номинативных средств языка на основе иерархизации ономасиологических категорий, которые лежат в основе этих средств. Замысел Ш. Балли состоял в том, чтобы расположить указанные средства в соответствии с предварительно установленным «понятийным языком». Он включал в него основные идеи, выражаемые в данном языке стилистически нейтральными словами. «Понятийный язык», идеографически организованный, должен составить ономасиологическую основу для систематизации номинативных средств языка в целом.

Функциональный аспект онамасиологической грамматики у Ш. Балли представлен теорией актуализации. С точки зрения данной теории, язык представляет собою систему виртуальных знаков, актуализация которых в речи происходит с помощью определенных средств, названных ученым «актуализаторами». В качестве основных актуализаторов во французском языке выступают окончания и служебные слова. Благодаря им языковые единицы становятся речевыми. С помощью определенных акту-

ализаторов одна часть речи может употребляться в значении другой. Это явление Ш. Балли назвал транспозицией. У него мы находим начало той теории, которую Л. Теньер определял как теорию трансляции.

В качестве базовой системы у Ш. Балли выступает предложение типа *Я думаю, что идет дождь*. Первая часть этого предложения выражает отношение говорящего к описываемой ситуации, вторая — обозначает эту ситуацию. Первая составляет «модус», вторая — «диктум». Основными компонентами базовой стеммы являются четыре ономасиологические категории: модальный субъект (*Я*), модальный предикат (*думаю*), диктальный субъект (*дождь*) и диктальный предикат (*идет*). Наряду с «прямыми» (словесными) средствами в любом языке имеются и «косвенные» средства выражения данных категорий. Так, предложение *Я хочу, чтобы вы вышли* выражает отдельными словами каждую из указанных категорий, а предложение *Выйдете*! эксплицирует отдельным словом только диктальный предикат. Другие категории выражаются окончанием, интонацией и т. д.

В число косвенных средств выражения модальности (т. е. отношения говорящего к ситуации) Ш. Балли включал порядок слов в предложении. При этом он пользовался понятиями актуального членения, которые он называл соответственно «темой» и «поводом» [40, с. 72]. Как отмечал Ж. Мунен [41] в интерпретации темы и повода Ш. Балли не удалось избежать непоследовательности. С одной стороны, эти понятия выступают у него как эквиваленты основных категорий актуального членения, а с другой, он отождествляет их с модусом и диктумом [40, с. 46]. Данная непоследовательность связана с отсутствием четкого разграничения двух периодов в акте синтаксической актуализации — периодов стеммообразования и линеаризации. В первом случае мы имеем дело с таким состоянием создаваемого предложения, которое предполагает полную грамматикализацию его членов, во втором случае — с установлением порядка слов в предложении. Четкое разграничение двух периодов в акте актуализации предложения не позволило бы Ш. Балли перенести понятия актуального членения со второго периода на первый. Более пристальное внимание к объективной основе ономасиологической грамматики в целом позволило бы ему создать более стройную грамматическую систему, чем это удалось ему в его работах.

В грамматике В. Матезиуса [42], как и в грамматиках О. Есперсена и Ш. Балли, представлен как структурный, так и функциональный аспект ономасиологической грамматики [43]. Первый из них В. Матезиус связывал с выбором говорящим ономатологических и синтаксических средств языка из состава содержательных структур. В основе ономатологических содержательных структур лежат элементы действительности, описываемые в предложениях. В основе синтаксических содержательных структур лежат типы ситуаций, которые описываются с помощью предложений. В состав каждой из содержательных структур входит несколько формальных структур. Так, в состав акциональной синтаксической структуры В. Матезиус включал все предложения, которые обозначают действия. В своей совокупности они составляют синтактико-содержательную структуру, куда входят активные, пассивные и возвратные конструкции. Эти последние представляют собою формальные синтаксические структуры.

Структурный аспект ономасиологической грамматики органически связан у В. Матезиуса с ее функциональным аспектом. В основе структурного аспекта этой грамматики лежит ситуация выбора говорящим

языковых форм из состава содержательных структур языка, систематизация которых и составляет задачу структурно-ономасиологической грамматики. В основе функционального аспекта грамматики В. Матезиуса лежит ситуация перевода говорящим языковых форм в речевые. Результатом лексической и словообразовательной деятельности говорящего является лексема. В акте морфологической номинации происходит частичная грамматикализация лексем, поскольку не все грамматические показатели обозначают объективные реалии. Так, грамматикализация прилагательных происходит в акте синтаксической актуализации, поскольку значения рода, числа и падежа являются у них лишь средством согласования с существительными.

Концепции В. Матезиуса и Л. Теньера различаются тем, что В. Матезиус был сторонником субъектоцентрической теории стеммообразования: если на вершине стеммы предложения у Л. Теньера находится сказуемостный глагол, то у В. Матезиуса центральная роль в процессе стеммообразования отводится подлежащному существительному. Предикатоцентрическая теория фразообразования, однако, не учитывает подвижности точки зрения говорящего на описываемую ситуацию: в центре внимания говорящего может быть на только действие, но и, как выражался Л. Теньер, «актеры» и «декорации». Между Л. Теньером и В. Матезиусом имеются расхождения также и в интерпретации заключительного периода в создании предложения — периода установления в нем линейных отношений. При объяснении словопорядка французский ученый исходил только из грамматического фактора, тогда как чешский исследователь учитывал и другие факторы, например актуальное членение предложения.

Итак, развитие семасиологического и ономасиологического направлений в истории грамматики не было равномерным. В античный период более развитыми оказались представления о структуре семасиологической, а не ономасиологической грамматики. В этом есть закономерность: прежде чем описать содержательные структуры какого-либо языка, необходимо выявить его формальные структуры, поскольку в состав структур первого типа входит несколько структур другого типа. Этим объясняется лидирующее положение семасиологической грамматики по отношению к ономасиологической в истории языкознания. В средневековой грамматике выдвинулся на первый план ономасиологический подход к изучению языка. Авторы модистских грамматик стремились к ономасиологической переориентации традиционной семасиологической грамматики. Однако в эпоху Возрождения на ведущее положение в грамматике вновь выдвигается семасиологический подход. Грамматические трактаты модистов XIII—XIV вв., таким образом, могут расцениваться как краеугольные камни ономасиологического направления в европейской грамматике. Именно с этими трактатами в первую очередь связано зарождение ономасиологического направления в грамматической науке, а его становление определили идеи грамматики Пор-Рояля. Благодаря ей ономасиологическая грамматика поднялась в Новое время на новую научную высоту. Однако в XIX в. наблюдается явный спад интереса к ономасиологическим исследованиям. В это время на передний план выдвигается семасиологическая грамматика, что было связано с бурным развитием в XIX в. сравнительно-исторического языкознания. Семасиологическое направление сохраняло лидирующее положение в грамматике и в XX в. Его авторитетными представителями стали структуралисты. С ослаблением их влияния на современную грамматическую науку в последние 20—30 лет стал все более и более возрождаться актив-

ный интерес к ономасиологической грамматике. Это способствовало поиску историко-научных истоков этой грамматики. Можно предположить, что ономасиологическую грамматику в недалеком будущем ожидает новый научный взлет.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dokulil M.* Tvořeni slov v češtině. 1. Teorie odvozovaní slov. Praha, 1962. S. 196.
2. *Кузнецов С. Н.* Теоретическая грамматика датского языка. Синтаксис. М., 1984. С. 10.
3. *Гумбольдт В.* Язык и философия культуры. М., 1985.
4. *Becker K. F.* Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik. Frankfurt-am-Main, 1836. S. 4.
5. *Ries I.* Was ist Syntax? Marburg, 1894. S. 9.
6. *Даниленко В. П.* Историко-лингвистическое обоснование функциональной грамматики Вилемом Матезиусом // Вестник ЛГУ. Сер. яз. и лит-ры. 1985. № 16.
7. *Bursill-Hall G. L.* Speculative grammars of the Middle Ages. The Hague — Paris, 1971. P. 38.
8. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981. С. 73.
9. Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. Фрейденберг О. М. М.—Л., 1936.
10. *Thomas of Erfurt.* Grammatica speculativa. An edition with translation and commentary by Bursill-Hall G. L. L., 1972.
11. *Scaliger I. C.* De causis linguae Latine. Lyons, 1540.
12. *Arnauld A., Lancelot C.* Grammaire générale et raisonnée. P., 1754.
13. *Restaut M.* Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise. P., 1730.
14. *Silvestre de Sacy A. J.* Principes de grammaire générale. P., 1799.
15. *Sicard R. A.* Éléments de grammaire générale. Moscou, 1807.
16. *Beauzée N.* Grammaire générale. V. I—II. P., 1767.
17. *Dumarsais C. C.* Logique et principes de grammaire. P., 1769.
18. *Tesnière L.* Éléments de syntaxe structurale. P., 1965.
19. *Batteux Ch.* De la construction oratoire. P., 1763.
20. *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
21. *Weil H.* De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes. P., 1869.
22. *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961.
23. *Brunot F.* La pensée et la langue. P., 1922.
24. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958, с. 32—33.
25. *Mathesius V.* Nové proudy a směry v jazykovědnem bádání // Z klasického obdobi Pražske školy 1925—1945. Praha, 1972. S. 5—17.
26. Практическая грамматика русского языка для зарубежных преподавателей-русистов / По ред. Метс Н. А. М., 1985.
27. *Бондарко А. В.* Основы построения функциональной грамматики // ИАН СЛЯ. 1981. № 6. С. 493.
28. *Бондарко А. В.* К системным основаниям концепции «Русской грамматики» // ВЯ. 1987. № 4. С. 3—4.
29. *Arrivé M.* De F. Brunot à K. Togeby: regards sur quelques grammaires // Langages. 1967. 7. P. 38.
30. *Гак В. Г.* К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики / Под ред. Ярцевой В. Н. М., 1985. С. 15.
31. *Weisgerber L.* Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen. Düsseldorf, 1963.
32. *Weisgerber L.* Zweimal Sprache. Düsseldorf, 1973. S. 159.
33. *Weisgerber L.* Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. Düsseldorf, 1962.
34. *Rozwadowski J.* Wortbildung und Wortbedeutung. Heidelberg. 1904.
35. *Guillaume G.* Structure sémiologique et structure psychique de la langue française. P., 1971.
36. *Guillaume G.* Psycho-systématique du langage. P., 1971.
37. *Guillaume G.* Grammaire particulière du français et grammaire générale. P., 1973.
38. *Wilmet M.* Gustave Guillaume et son école linguistique. P., 1972.
39. *Jespersen O.* Essentials of English grammar. L., 1933.
40. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
41. *Mounin G.* La notion de prédicat chez Charles Bally // La linguistique. 1984. V. 20. № 2. P. 10.
42. *Mathesius V.* Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obechě lingvistickém. Praha, 1961.
43. *Даниленко В. П.* Ономасиологическая сущность концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса // ФН. 1986. № 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1988

РЕЦЕНЗИИ

Грамматические концепции в языкознании XIX века. Л.: Наука, 1985. 294 с.

Лингвистика, как и всякая другая область научного знания, преемственна. Она опирается на понятийный аппарат, выработанный предшествующими поколениями ученых, и он составляет то, что принято называть традицией. При этом традиционная научная парадигма воспринимается обычно интегрально, как нечто единое, монолитное, внутренне согласованное и непротиворечивое. Выдвижение новых идей обычно происходит поэтому в форме ломки традиционных представлений, в форме борьбы с устоявшимися мнениями, принимаемыми как незыблемые аксиомы. И эта закономерность формирует стереотип сдержанного отношения к традиционной доктрине как хранилищу потенциальных антиномий, невскрытых заблуждений, ошибочных презумпций.

Мне думается, что основной пафос рецензируемой работы — внести весьма существенные коррективы в этот стереотип и показать на конкретном анализе взглядов видных ученых XIX в., что соотношение старого и нового в истории лингвистической науки далеко не так прямолинейно и однонаправленно.

Первая часть рецензируемой книги, названная «Проблемы грамматической типологии» (с. 6—58), содержит исследование С. Д. Кацнельсона «История типологических учений», которое развертывается в свете развивавшегося им тезиса, согласно которому бесконечное разнообразие грамматических структур в конечном счете вытекает из «принципиального единства всех этнических языков» (с. 6). В этом разделе обосновываются чрезвычайно глубокие, новаторские идеи автора об органической связи типологии с проблемами речевого мышления: «категории речевого мышления являются первоосновой грамматического строя, и без обращения к ним не могут быть поняты и собственно языковые категории» (с. 38). Эти идеи, которые еще только завоевывают права гражданства, проецируются на историю развития типологии, начиная с «Всеобщей грамматики» Пор-Рояля и «Гермеса, или философского исследования касательно языка и универсальной грамматики» Дж. Харриса вплоть до современного состояния лингвистической типологии и метода универсалий. С. Д. Кацнельсон убедительно показывает, что ориентация на категориальное содержание грамматических форм, на функциональную предназначенность языка, на процессы речевой деятельности,— эта ориентация характерна не только для новейшего этапа типологии, а проходит красной нитью через всю ее историю.

Основное содержание книги составляет вторая часть — «Проблемы грамматики и общей теории языкознания». Если бы авторы поставили своей целью дать полный, исчерпывающий анализ путей развития общей теории языка в XIX в., то, скорее всего, их бы постигла неудача — результатом был бы или бесстрастный компендиум противоречащих друг другу точек зрения, большинство которых для современного читателя имеет лишь частный, исторический интерес, или претендующий на стройность очерк магистральной линии развития грамматических концепций, из которого выпали бы многие оригинальные, но не поддержанные современниками идеи, несмотря на многозначительность некоторых из них для нашего времени.

Объединяют разделы данной части, несмотря на все их внутреннее разнообразие, два момента:

1) поиск идей, созвучных современным концепциям языка, при одновременном стремлении избежать «модернизации истории» и с учетом того обстоятельства, что, как пишет А. В. Бондарко, «между современными теориями... и грамматической традицией XIX — первой трети XX в. в силу ряда причин ... в той или иной мере образовался разрыв», и в наше время «нередко как новое постулируется то, что уже давно известно» (с. 123);

2) свобода выражения личного, авторского отношения к рассматриваемой проблематике: чувствуется, что каждому автору его тема близка и дорога, она составляет содержание его основных научных интересов, поэтому большинство авторов не реферирует труды своих предшественников, а вступает с ними в запи-

тересованный диалог как со своими долгожданными друзьями и сторонниками.

Мне кажется, что такое внутреннее объединение частей коллективной монографии по духу, по основным принципам подхода к теме, а не по форме и априорным логическим принципам оказалось весьма плодотворным.

В рамках избранной теоретико-грамматической проблематики реализуются два подхода к рассмотрению исторических фактов: 1) «проблемный»: от фиксированной проблемы к взглядам тех языковедов, которые ее разрабатывали; 2) «персональный»: от личности ученого к фиксированному кругу проблем.

Проблемный подход реализован в разделах «Концепция членов предложения в русском языкознании XIX века» (В. С. Храковский), «К истокам теории валентности в немецком языкознании XIX века» (С. М. Кибардина), «Разработка залоговой проблематики в немецком языкознании XIX века» (С. А. Шубик). Все три проблемы: синтаксическое членение предложения, валентность и залог — относятся к тем аспектам синтаксиса, которые наиболее активно разрабатывались в лингвистике последних десятилетий. Именно в этих областях в последнее время было накоплено особенно много нового. И вот с «высоты» наших современных представлений о членах предложения, валентности и залоге мы углубляемся в историю русского и немецкого языкознания, где нас ждет довольно много неожиданных открытий. В частности, особое внимание во всех разделах уделяется тем взглядам наших предшественников, которые, в силу тех или иных причин, не вошли в традиционную часть нашей современной научной парадигмы. Внимательный анализ научного наследия XIX в. показывает, например, что «идеи „вербоцентричности“ предложения следует рассматривать не как „ереси“, возникшие в середине XX, а как канонические, свойственные традиционному русскому языкознанию XIX в.» (с. 178), равно как и немецкому языкознанию (с. 208); что четкое противопоставление пропозициональной части высказывания и модальной рамки имеется еще у Д. Н. Овсянико-Куликовского (с. 130—131), а грамматического и актуального членения — у Ф. Ф. Фортунатова (с. 171), что поисками формальных («чертежных») способов представления структурных схем предложения, используемых как инструмент познания природы синтаксических объектов, занимался В. П. Сланский (с. 129), что в работах немецких лингвистов прошлого были нащупаны основные семантические и синтаксические факторы, влияющие на выбор пассивной конструкции предложения (неопределенность или второстепенность деятеля, коммуникативная выделенность объекта действия, необходимость иметь цепочку кореферентных подлежащих и др., с. 223).

Может возникнуть вопрос: почему нас радуют такого рода открытия? Конечно, определенное значение имеет факт восстановления исторической справедливости. Как пишет В. С. Храковский, «необходимо очень тщательно вглядываться в труды наших предшественников для того, чтобы выявить все те ростки нового, которые до сих пор остаются неизвестными или забытыми, вследствие чего у нас существует обедненное представление о русском языкознании XIX в.» (с. 130—131). Однако такого рода открытия нужны, мне кажется, больше не нашим предшественникам, а нам самим.

Во-первых, они служат лишним подтверждением правильности соответствующих концепций, коль скоро на них «выходили» значительные умы прошлого, не скованные еще рутиной доставшейся нам современной научной парадигмы и в то же время не вооруженные еще современным понятийным аппаратом.

Во-вторых, они свидетельствуют, что эволюция научного знания не есть равномерное и прямолинейное приближение к истине, что в этом движении многие полезные знания «теряются», отвергаются, забываются, но затем добываются вновь, и в этом состоит объективность стоящей за ними реальности.

В-третьих, они демонстрируют неисчерпаемые возможности лингвистической интуиции, позволяющей заглянуть далеко вперед и предвосхитить идеи, обосновать которые можно лишь на принципиально новом уровне знаний об объекте.

В-четвертых, они учат нас внимательнее квалифицировать идеи сегодняшнего дня, не меряя их всегда одной и той же меркой (доказаны — не доказаны, формализованы — не формализованы).

Хотелось бы также отметить плодотворность «проблемной» ориентации исторического исследования. Она позволяет, не утрачивая конкретности, увидеть развитие представлений о соответствующей предметной области в динамике (особенно это удалось в исследовании В. С. Храковского благодаря «анкетному» способу задания вариантов соответствующих концепций, с. 132).

Второй, «персональный» подход, вообще говоря, не вполне противопоставлен первому, поскольку все «персоналии» так или иначе ограничены теоретико-грамматической проблематикой, и в них, как указывает А. В. Бондарко, «не ставится цель осветить теоретические концепции» соответствующих «языковедов как целостные системы» (с. 79).

В этом ключе написаны разделы «Тео-

ретико-грамматическая концепция А. А. Потебни» (С. Д. Кацнельсон), «Проблемы теории языка и теории грамматики в работах Уильяма Д. Уитни», (И. Б. Долинина). «Теоретические взгляды тюркологов О. Н. Бётлингка и В. В. Радлова» (Д. М. Насилов). К ним примыкает также раздел «Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX века (К. С. Аксаков, А. А. Потебня, В. П. Сланский)» (А. В. Бондарко), совмещающий в себе черты обоих выделенных выше подходов, поскольку в нем имеется «проблемная» доминанта, но она ограничена фигурами трех ученых.

Наиболее «монографический» характер имеет раздел, посвященный основоположнику американской лингвистической школы У. Уитни (в частности, прилагается библиография основных трудов У. Уитни, с. 246—248). Особое внимание уделяется при этом влиянию взглядов У. Уитни на концепцию Ф. де Соссюра. (В этой связи уместно было бы вспомнить о специальном исследовании Н. А. Слюсаревой на эту тему [1].)

Обращение к крупнейшим представителям тюркологии — О. Н. Бётлингку и В. В. Радлову — в данном издании не случайно, поскольку о состоянии описательного языкознания и его связи с теоретическим в XIX в. обобщающих работ у нас очень мало. Заслуживают внимания также сведения о глубоких размышлениях О. Н. Бётлингка по поводу методики полевой работы (с. 253), которая с середины прошлого века широко разворачивается в различных ареалах России.

Интерес к теоретическому наследию А. А. Потебни в наше время особенно актуален. Вслед за В. Гумбольдтом А. А. Потебня развивал концепцию «языка как генератора (а не транспортера) мысли...» (с. 67); значительность его идеи, в соответствии с которой языки «служат с р е д с т в о м п р е о б р а з о в а н и я д о я з ы ч н ы х э л е м е н т о в м ы с л и (разрядка моя.— *К. А.*) и поэтому могут быть названы средствами с о з д а н и я мысли» [2], начинает осознаваться только в самое последнее время, когда на повестку дня встала проблема моделирования человеко-машинного общения, т. е. создания действующей модели говорящего [3]. В данной монографии взгляды А. А. Потебни рассматриваются с разных точек зрения: в типологической части С. Д. Кацнельсон (см. выше) исследует его генетико-типологическую концепцию, в грамматической части В. С. Храковский останавливается на его теории предложения, С. Д. Кацнельсон — на грамматической теории. Кроме того, в разделе, написанном А. В. Бондарко, значительное место также занимают научные взгляды А. А. Потебни, выдвинувшего идею о языковом содержании как о способе представления (форме) мыслительного («внеязычного») содержания. В этом разделе прослеживается общая тенденция развития взглядов на языковое содержание и на собственно лингвистический подход к изучению значений. А. В. Бондарко также обращает внимание на некоторые забытые идеи, которые в наше время находятся в центре внимания грамматической теории, например, на мысли В. П. Сланского об организующем речь законе разумной экономии — стремлении выражать возможно большее логическое содержание возможно простейшими и кратчайшими словесными способами (с. 115—116), о пронизывающей весь язык метафоричности (с. 117), о необходимости изучения широчайших возможностей синтаксической синонимии методом сведения синонимических выражений к единому семантическому представлению (с. 119) и др.

К промежуточному жанру относится также раздел «Основные грамматические концепции в кавказском языкознании» (И. О. Гецадзе), в котором по справедливости центральной фигурой является крупнейший отечественный языковед П. К. Услар. П. К. Услар был неутомимым исследователем кавказских наречий и оставил после себя грамматические описания шести языков. Он мало писал о лингвистической теории, но в своей конкретной языковедческой практике значительно опережал чистую теорию. Он был прекрасным стихийным методистом полевого исследования, фонологом, обладал незаурядным грамматическим чутьем, позволявшим ему находить разумный компромисс между идиоэтническим и универсалистским подходами к неизвестному языку.

Подводя итог, следует отметить, что такое историографическое исследование не могло быть написано сорок и даже двадцать лет назад, оно является по своему замыслу и воплощению, я бы сказал, нарочито современным, и именно поэтому особенно велика его актуальность. Несомненно, эта монография может быть активно использована в вузовской практике в курсах по истории и теории языкознания — здесь она восполняет очень ощутимый пробел. Одновременно она может служить хорошим образцом для аналогичных проблемно ориентированных исторических изысканий: здесь в первую очередь возникает желание заново «переписать» историю русского языкознания в свете злободневных вопросов грамматики русского языка.

Таким образом, можно констатировать, что настоящая монография является от-

радным пополнением литературы по истории языкознания. В то же время она активизирует современную теоретическую мысль, поскольку в ней идеи прошлого, преломляясь в проблемах настоящего, обращают нас к будущему.

Кибрик А. Е.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Слюсарева Н. А.* Некоторые полузабытые страницы из истории языкознания (Ф. де Соссюр и У. Уитней) // Общее и романское языкознание. М., 1972.
2. *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 166.
3. Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / Под ред. Кибрика А. Е., Нариньяни А. С. М., 1987.

Mann S. E. **An Indo-European comparative dictionary.** Fasc. 1—11. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1984—1987. 1682 columns.

С. Манн, скончавшийся в августе 1986 г., известен своими работами в области грамматики и лексикографии албанского языка, а также грамматики армянского и чешского языков [1—6]. Работа над рецензируемым словарем и.-е. архетипов была начата С. Манном еще в 1925 г., т. е. за два года до выхода в свет известного «Сравнительного словаря индоевропейских языков» А. Вальде (под ред. Ю. Покорного). Затем составление словаря неоднократно прерывалось, что было обусловлено, как отмечает автор, недостаточной разработкой этимологии таких языков, как албанский, древнеирландский, валлийский, латышский.

Цель словаря — на основе отбора, классификации и интерпретации максимально широкого фактического материала реконструировать тот «срез» индоевропейского, который предположительно существовал около 4 500—5 000 лет тому назад. Автор отмечает, что он старался в своем словаре «избежать типичной для немецких работ перегрузки этимологических разработок излишним материалом, не повторять типичного для французской практики устранения части фактического материала с целью создания непротиворечивых моделей и не довольствоваться приблизительными этимологическими решениями, как это нередко случается в английской лексикографии» (с. VIII).

Особенностью рецензируемого словаря является то, что, с одной стороны, слова, относимые Покорным [7, ср. 8] к одному и тому же корню, в словаре Манна нередко фигурируют как отдельные архетипы; с другой стороны, в отличие от словаря Покорного, в нем не приводятся детерминативы, присоединяемые к одному и тому же корню: детерминативы непосредственно включаются в постулируемые автором самостоятельные архетипы. В связи с этим в словаре Манна отсутствуют многие корни, представленные в словаре Ю. Покорного (например, **peu-* «schlagen»; «erforschen»; «reinigen»; «Schaum»; **keu-* «anzünden»; «schwellen»; **bhā-* «sprechen»; «glänzen» и др.). В словаре Манна, к сожалению, не использована какая-либо специальная этимологическая литература, посвященная анализу отдельных и.-е. слов или групп слов. Во всяком случае такая литература не приводится в рамках отдельных словарных статей; в начале работы дается лишь список некоторых стандартных словарей и грамматик. Нет в словаре и дискуссии по поводу различных этимологий отдельных авторов. Хотя словник в рецензируемом словаре опубликован полностью, пользование словарем затрудняется из-за отсутствия индексов отдельных и.-е. слов, представленных в словаре. Отметим, что в рецензируемом словаре используется фонетическая нотация, отличная от той, которая применяется в словаре Покорного. Кроме того, при некоторых архетипах приводятся праформы флексий (1-го л. ед. ч. наст. времени при глаголах и им. пад.— при существительных).

Словарь Манна строится всецело на основе известных фонетических законов [9—11]. К сожалению, в словаре не учитываются ни ларингальная, ни глоттальная теории, ни другие новейшие открытия в области и.-е. фонетики. Одно из основных достоинств рецензируемого словаря состоит в том, что в нем можно найти большое количество архетипов, не зафиксированных ни в одном из известных специальных словарей и.-е. языков, причем они иллюстрируются фактическим материалом, ранее не использовавшимся в и.-е. словарях (особенно интересны албанские и армянские примеры). Этот факт может свидетельствовать об определенных комбинаторных возможностях в и.-е. [12]. Отметим, что наличие в словаре Манна

архетипов, отсутствующих в других словарях и.-е. языков, во многом облегчает этимологизирование ряда и.-е. слов, как бы «выпадающих» из списка «канонизированных» и.-е. корней, содержащихся в словарях Вальде — Покорного и Покорного. Вот некоторые из этих архетипов, приводимые в словаре Манна.

I. Col. 21: *andhos «растение, цветок» [скр. *ándhas*, арм. *ənda-* (в сочетаниях «овощи»), греч. *ánthos*,... алб. *end*, *ende*, др.-фриз. *andul*, н.-нем. *andel* «marshgrass»]. В большинстве и.-е. языков значение «цветок» соотносится со значением «разрывать» (букв. «разрывающий бутон» или «прорезывающийся сквозь землю»). В связи с этим указанный выше корень следует соотнести с и.-е. *(s)ken-(d-) «abspalten» (Pokorny, с. 929—930). Типологически ср. ирл. *scoth* «цветок», но тох. А *kot-* «резать, разрывать» (ср. англ. *to cut*). Ср. также: лтш. *zieds*, литов. *žiedas* «цветок», но др.-инд. *chedayati* «колоть, раскалывать», лат. *scindere*, греч. *sxidzo* «раскалываю, разрываю», литов. *skiedžiù* «отделяю», *skiedrà* «щепка», гот. *skaidan* «разделять», нем. диалектн. *Chitt* «Spalt»; русск. *цедить*. Подобным же образом ср. литов. *gėlė* «цветок», но др.-сев. *geila* «trennen», *gil* «Bruch». Ср. также русск. *цветок*, но и.-е. *kuet-* «schlagen, schleudern» (ср. нем. диалектн. *hotten*, *hotzen* «durchprügeln»).

Учитывая, что слова со значением «дух, душа» также соотносятся со значением «бить, резать», можно полагать, что к тому же корню, что и *andhos «цветок», относится и *andhos «soul, spirit» [букв. «то, что проникает в тело» (о вечной душе и бренном теле)]. Типологически ср. др.-англ. *gāst*, англ. *ghost*, нем. *Geist*, но литов. *žaizdà* «Wunde», *žeidžiù* «verwunde»; англ. *soul*, нем. *Seele*, но исл. *syla* «einschneiden»; лат. *spiritus* «дух», но и.-е. *per- «schneiden, durchbrechen»; гот. *ahma* «душа, дух» соотносится с и.-е. *ak- «scharf; schneiden». К тому же корню, что и *andhos «цветок», можно отнести и греч. *ónthos* «навоз» (букв. «то, что выбрасывается»: типологически ср. нем. *Kot* «навоз», но русск. диалект. *котить*, *катать* «бросать, ронять» < «бить»). Интересно, что в древности легкие (как и колени) считались средоточием мужского семени (ср. *anos «breath, soul», но *anos «ancestor», ср. с преформантом: *(s)ken-(d-) «abspalten» > > *ĝen-«gebären»; англ. *breathe* «дышать», но англ. *breed* «родить», лат. *spirō* «дышать», но *pariō* «родить». Наконец, рассматриваемый корень *andhos мог принимать и значение «темный», слепой», которое также соотносится со значением «бить, резать» (а отсюда «гнуть, «покрывать, обволакивать»): ср. col. 876 рец. словаря: ирл. *uinne* «blind» < *ondh-, галльск. *anda-* «blindfold»: типологически ср. русск. *темный* (др.-инд. *tamas* «мрак»), но *temen- «резать», и.-е. *merĝ- «темный», но *merĝ- «strip, squeeze, rub off», ср. *mel- «to grind»; греч. *skotus* «darkness», но и.-е. *skeu-t «schneiden, trennen» (ср. ср.-ирл. *scothaid* «sceneidet ab», литов. *skùtas* «Fetzen, Lappen»).

Как видно из приведенного материала, отдельные архетипы, в словаре Манна отличаются атомистичностью: никак не учитывается фонетическая вариативность в пределах корня (ср. теорию динамичности и.-е. корня, обоснованную Э. А. Макаевым [13], ср. [14—15]). Кроме того, в словаре Манна не принимаются во внимание и формы с преформантами. Главное же состоит в том, что автор не учитывает известных семантических переходов (они были сформулированы уже в известной работе П. Перссона, а также в словарях С. Цейетмайра и Й. Шрёпфера [16—18]. Это приводит к тому, что семантически связанные между собой архетипы подаются в словаре как отдельные единицы, хотя многие архетипы, выделяемые как омонимичные, в свете семантического анализа предстают как один и тот же архетип [19—20] [1]. Отсутствие перекрестных ссылок в словаре Манна (лишь в единичных случаях автор под знаком вопроса связывает между собой мнимые омонимы: ср. *kaunos «reedy place, marsh» и *kaunos «base, vile») не дает возможности строить этимологические гнезда слов, т. е. проводить в н у т р е н н ю ю р е к о н с т р у к ц и ю. Важность этимологических гнезд, как известно, исключительно велика и в плане исследования материальной культуры [9, с. 36—39].

Большим недостатком рецензируемого словаря (как, впрочем, и вышедших ранее этимологических словарей и.-е. языков) является то, что в нем не принимаются во внимание не только семасиоло-

[1] Следует, однако, отметить, что в ряде случаев Манн приводит так называемые «изофонические» формы, никак не объясняя их связи или различия. Например, на col. 906: «*pāreiĝō „come, go; make go“ (Isophonic: Li. *pōrijù* „tell, relate“, Gr. *peparεīn* „to show“ — Pindar)». Ср. col. 846: «*nitiios* (aphetic form of *eni* + *itiios*) „own, native, kin“... (Isophonic: Skt. *nityaḥ* „sea“, *nityā* „plowshare“, Icel. *niðr* n. „climb“, *niður* m. „babbling, ripple“, ... Li *nitas* „solder“, of uncertain connections». Отметим, что исл. *niðr* со значением «climb» — весьма проблематично (во всяком случае в этом значении указанное слово не зафиксировано в известных словарях Клизби — Вигфюссона, Я. де Фриса и А. Йоханнессона).

гические переходы, типичные для и.-е. языков, но и мифопоэтические традиции индоевропейцев. В этой связи можно указать на тонкий анализ многих и.-е. слов с учетом мифопоэтической символики во втором томе работы Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова ([22], ср. [23, 24]). Необходимо иметь в виду следующее. Язык иногда уподобляют собранию давно забытых, мертвых метафор. И это не случайно: огромное количество слов, трудно поддающихся этимологическому анализу, в действительности оказывается старыми метафорами, давно утратившими какие-либо связи в языке. Более того, целый ряд исконных слов в и.-е. языках вышел из употребления и не зафиксирован письменными памятниками языка. Вместо них в языке представлены «завуалированные» метафоры, обусловленные главным образом языковым табу: в древности человек, боясь «злых сил» природы и веря в то, что словом можно навлечь на себя эти силы, заменял многие слова их описательными эквивалентами; таковы названия бога, крови, клятвы, воды, огня, явлений природы, названия ряда животных, на которых человек охотился (например, медведь) и др. В некоторых случаях старая метафора утрачивала свои связи в языке, многократно заменяясь новыми метафорами. К сожалению, все эти явления не получили какого-либо отражения в рецензируемом словаре. С другой стороны, в языке наблюдалась и тенденция, противоположная метафоризации: различные действия и предметы, относящиеся к одной и той же производственной операции или ритуальному действию, нередко обозначались одним и тем же корнем. Первобытное сознание еще не знает полифункциональных объектов, поскольку еще не было развитых форм разделения труда и трудовых операций (ср. [25]).

Рассмотрим еще несколько архетипов, приводимых в словаре Манна.

II. В столбце 229 приводится архетип **ebhros* «damp, wet, drunk» (ср. арм. *an-arb* «sober», *arbeal* «drunk», *arbuçanem* «water-animals», лат. *ēbrius* «drunk», ср.-в.-нем. *er-aebern* «to thaw»). Этот корень, безусловно, следует соотнести с архетипом **abhros* «сильный, мощный» [2] (семасиологический переход: «вода, жидкость» > «семя» > «сила, мужское начало»). Ср. с преформантом — **sebh-* «kin» (col. 1115). Типологически ср. англ. сленг *strong* «пьяный». В свою очередь значение «жидкость» соотносится со значением «плести, связывать»: ср. в этой связи, со одной стороны, и.-е. **ǵebho-* «weave», а с другой (с преформантом) — кельт. *dobro-n* «water», англ. диалектн. *to dub* «to bend down; to bind; pool of water», гот. *gadaban* «sich fügen», русск. добрый. Ср. типологически англ. сленг *bent* «пьяный».

III. Интересен выделяемый в словаре Манна корень **konos-* «activity» [3] [греч. *dia-konos* «servant», (Гесихий) *konein* «hurry», греч. *eg-konein* «be active»]. Этот корень, безусловно, соотносится с **konos* «tip», который в словаре Манна представлен в виде омонима. Ср. типологически: и.-е. **ker* «делать», но **ker-* «top, upper part»; **ǵer-* «biegen» > «tun» (ср. англ. *work*), но **ǵer-*«верхняя часть, вершина»; нем. *machen*, англ. *make*, но русск. *макушка* и др. И.-е. **konos-* восходит к и.-е. **(s)ken-(d-)* «резать, расщеплять» > «гнуть», откуда становятся очевидными и другие значения этого корня. Речь идет о таких словах, как русск. *конь* [это слово можно понимать либо как «сгибающий ноги, бегущий», либо как «пестрый» — значение «гнуть» часто дает значение «пестрый, окрашенный»; ср. типологически: нем. *bind* но *bunt* «пестрый»; гот. *fahan* «схватить», букв. «согнуть пальцы», но др.-англ. *fah* «пестрый»; **kres-* «to bend» (ср. русск. *корзина*, русск. диалектн. *корзать* «гнуть, рвать, резать»; англ. *horse*, русск. диалектн. *чересло* «бедра, поясница», а также *чересло* «немех»), но русск. *красивый*], нем. *schön*, русск. диалектн. *кунеть* «быть здоровым, выздороветь» *кунять* «дремать, спать» (о семасиологическом переходе ср. ниже, с. 141), др.-инд. *skunā́ti* «bedeckt», литов. *kū́nas* «тело». С другой стороны, значение «гнуть» дает значение «огонь»: ср. осет. *k'ona* «очаг» [типологически интересно сопоставить: **ǵug-* «joint», но русск. *юг*; ср. также: и.-е. **ǵes-* «stechen» > > «biegen», но **ǵes-* «leuchten» (ср. лтш. *vasara* «лето»); **lēi-* «biegen», ср. гот. *galeiþan* «идти», букв. «гнуть ноги», но русск. *лето*]. Становятся понятными и приводимые только в словаре Манна архетипы **kaunos* «камыш» (букв. «то, чем связывают») и, с другой стороны, **kaunos* «base, vile; shame, scorn»: значение «огонь» дает как значение «позор, стыд, вред», так и значение «высокий» (типологически ср. русск. диалектн. *жаровой* «высокий»). В этом плане русское слово *подлинный* < *длинный* следует истолковывать как «очищенный огнем». С другой стороны, типологически можно принять во внимание лат. *calamitas* «Schaden», но *calamus* «Rohr, Stengel» (**kel-* «brennen»). Наконец, значение «гнуть, резать» могло переходить

[2] Ср. семасиологический переход: «бить» (ср. литов. *dóbti* «бить») > «превращать в жидкую массу, мозжить» (кельт. **dobron* «water»).

[3] Ср. в словаре Покорного: **ken-* «sich mühen, eifrig streben, sputen» (с. 564).

в значение «рожать», в связи с чем к рассматриваемому корню следует отнести др.-англ. *cennan* «рожать» и *cnéo* «колено» [нога (колено) в древности считалась местом средоточия мужского семени]. Значение «рожать» в свою очередь соотносится с «есть, питаться, пировать», а также со значением «гореть, жечь»[4]. В этой связи следует привлечь для сравнения и.-е. корень **kuen-* «Opferschmaus, Opferfeier». Типологически можно указать также на и.-е. **pes* «нога», лат. *penis* (<*pes-nis*), но др.-инд. *psā* «das Essen, Hunger», *psāti* «verschlingen»; греч. *fagein* «to eat», но **dheguh-* «to burn». Интересно, что значение «рожать, производить на свет; детородные органы» может переходить в значение «истинный, чистый, неподдельный» (первоначально — «относящийся к одному и тому же роду, свой»). В этой связи показательны следующие сопоставления: др.-сев. *serða* «geschlechtlichen Umgang haben», но лат. *certus* «true, sure»; лат. *tes-ticulus*, но литов. *tiesùs* «recht, gerecht», лтш. *tiesù* «Wahrheit» [первую часть латинского парного слова можно сопоставить с др.-англ. *taesan* «reißen» (типологически ср. и.-е. **per-* «schlagen, schneiden», но лат. *parīō* «gebären»); ср. *ge-taese* «passend, angenehm», *haeg-tesse* «Hexe» (ZfdPh, 31, S. 497; PBB, 18, S. 155); русск. *маскать*: типологически ср. и.-е. **bher-* «tragen» > «gebären» < «schneiden», вторая часть латинского парного слова *testiculus* соотносится с др.-англ. *tiohh* «род», осет. *tug* «кровь, семя» > «род»]; русск. *хрен* «membrum virile», но нем. *rein* «чистый», ср. др.-англ. *hrinan* «schlagen»; и.-е. **smoidos* «pure» (col. 1225), но чеш. *moud*, русск. *мудо* «Hoden»; ст.-слав. *исто*, литов. диалектн. *inkstas*, др.-сев. *eistо* «scrotum; Ei», но русск. *истинный*; др.-англ. *teors* «penis», но литов. *týras* «rein, sauber, klar»; др.-сев. *aett* «род», но нем. *echt* «чистый, неподдельный»; **pes* (ср. др.-англ. *faesl* «Nachkommen»), но **esu-s* «gut» (без преформанта); греч. ἔτυμος «echt», но др.-англ. *þumle* «Eingeweide». Возможно, сюда же литов. *týmas* «Leder» (типологически ср. лат. *corium*, но *scrotum*).

Отметим также, что значение «резать» могло переходить в значение «пустой»: ср. **kenos* «пустой» (букв. «выгнутый вверх, но полый внутри») (ср. и.-е. **kes-* «резать», но тох. А *kasl* «faim»).

Интересны приводимые С. Манном архетипы **ksengi̯ō* «pace, amble» (col. 571) и **sknĝō-* «bend, go, creep» (col. 1170, ср. в словаре Покорного **(s)keng* «hinken; schief, schräg» — с. 930). Указанные варианты одного и того же корня, видимо, имеют отношение к совершению сакрального акта и состоят из слияния равнозначных корней (т. е. перед нами парное слово) — **konos* «work, be active» > «to be astonished, bewitched» > «to bewitch» (<«to bend») + **ag-* «schwingen, in Bewegung setzen»[5] (лат. *agō* «совершать религиозный акт», ср. и.-е. **ag-* «Ziegenbock, Ziege» — обычный предмет жертвоприношения; **agh-* «seelisch bedrückt sein, sich fürchten»). Можно полагать, что корень **konos* в свою очередь, соотносится с корнем **kes-* [**kos-* «schneiden» (**kos-nos* «be active»): значение «резать» в большом количестве случаев может переходить в значение «делать, работать»]; ср. типологически: и.-е. **ker-* «schneiden», но др.-инд. *karóti* «tun, machen»; русск. *скопить* «резать кастрировать», но др. англ. *scéapan* «schaffen»; литов. *dirti* «reißen», но *dirbti* «tun».

Корень **ksengi̯ō* дал целый ряд комбинаторных вариантов, обычно не соотносимых между собой. Речь идет, например, о русском слове *книга* (слово это считается поздним заимствованием в славянских языках, хотя источник заимствования остается неопределенным), с которым следует сопоставить др.-англ. *cniht* «Knabe, Diener» (в конечном счете «служитель культа, жрец»), типологически ср. греч. δια-κονός. Необходимо иметь в виду, что значение «гнуть» могло переходить в значение «делать, совершать действие (в частности, культовое): ср. типологически лат. *liber* «книга», но лат. *lābor* «работа, действие». Значение «гнуть» могло также переходить в значение «прятать» > «совершать таинство» > «колдовать» >«книга как предмет таинства и колдовства»: ср. перс. *namē* «книга, послание», но и.-е. **nem-* «гнуть» (к тому же корню относятся: греч. νεμός «лес, др.-ирл. *nemed* «священная роща», лат. *nemus* «лес; роща). Ср. также др.-англ. *rūn* «таинство», но также «то, что написано, книга, послание» [к тому же корню относятся: нем. диалектн. *Ron* «Baumstamm», лат. *prunā* «glühende Kohle» (с преформантом), русск. *струна*, греч. χρονός «время», нем. *Brunnen* «колодец», др. сев. *bryna* «wetzen», кимрск. *trin* «pugna, opera, lābor; ср. также: др.-англ. *stréon* «substantia, thesaurus, pecunia», *stréonan* «to beget»; англ. диалектн. *stryne* «race, des-

[4] Ср. типологически: др.-англ. *ǣlan* «гореть», но лат. *alēre* «питать(ся)»; **er-* «to cut», **ar-* «to burn», но осет. *aryn* «рожать».

[5] Положительным следует признать тот факт, что в ряде случаев Манн различает слияние нескольких корней [ср. приводившееся уже **pāreiō* < **pas* + **rēi̯o*; col. 546: лат. *crēber* < **krē-* + **bher-*; col. 502: лат. *cicātrix* «a scar» < **kikos* «flesh», «muscle» + *ātrix* «dark» (≈«dark flesh»)]. Относительно слияния корней в и.-е. ср. [9].

cent, breed»]. К корню *ksengi̯ō относятся и русск. диалект. *кнея* «роща, лес, окруженный полями», польск. *knieja* «лесная чаща» — лес был обычным местом совершения религиозных актов, на деревьях развешивались предметы, принесенные в жертву (это последнее обстоятельство, видимо, объясняет переход значений «делать, совершать» → → «верх, макушка»: ср. *koneu̯ō- «work, be active», но *konos «tip, point, end»). Корень *ksengi̯ō, безусловно, соотносится и с такими словами, как перс. *xingā* «able-bodied»; нем. *singen* «петь» (ср. русск. диалектн. *книга* «птица»), нем. *sengen* «палить, жечь», *segnen* «благословлять», англ. диалект. *kniggim* «вкус, неприятный вкус»; др.-англ. *cnyccan* «binden»; лат. *sanguis* «Blut»; лат. *cingēre* «опоясывать», и.-е. *konk-* «hesitate», литов. *siekti* «дотронуться рукой» (как символ клятвы: ср. русск. *при-сяга*), гот. *sigis* «победа», тох. A *sokyo* «fortement»; англ. диалектн. *to sing* «to draw or pull up», и.-е. *seng^u^h- «religiös vortragen» (BSLP, 33, p. 134). Интересна связь значения «петь» со значением «пустой», «утихать»: ср. и.-е. *k̑en- «leer», но *kan- «singen», [типологически ср. русск. (простореч.) *пели твои денежки*; *au̯- «sprechen», но *eu- «mangeln; leer»; *ĝhēi- «leer sein», но *gē(i)- «singen»; др.-англ. *swigian* «schweigen», но *swōgan* «tönen»; др.-англ. *maþelian* «sprechen», но русск. *медленный*]. С другой стороны, значение «пустой» может соотноситься со значением «вещь, богатство» (<«увеличиваться, наполняться, раздуваться» < «гнуть; резать»), которое, в свою очередь, соотносится со значением «издавать звуки, говорить, петь» (ср. арм. *ban* «Wort; Sache»; польск. *rzecz* «Ding; Rede»; др.-англ. *ceatta* «rerum», но англ. *to chat* «говорить, болтать»): ср. арм. *kut* «wealth», *kutem* «to amass» (Mann, col. 579), но русск. *скудный*; гот. *auknan* «vermehren», но англ. диал. *aunch* «empty»; англ. *thick* > *thing*, но лтш. *diks* «пустой»; др.-сев. *authr* «Reichtum», но гот. *auths* «Wüste».

IV. В словаре Манна приводится архетип *menos «power, craft, ability, skill» (col. 757). В этом значении указанный корень в словаре Покорного не фигурирует. В словаре Покорного находим только: *men- «emporragen»; *men- «treten, zertreten, zusammendrücken» (ср. у Манна: *mno «crush, press»; ср. русск. *мну*); *men-° «denken, geistig, erregt sein»; *men- «klein, verkleinern»; *men- «bleiben). Но, может быть, существует какая-либо семасиологическая связь между значениями указанных архетипов, которые и Ю. Покорный и С. Манн приводят в качестве омонимов? И как соотносится значение, даваемое только в словаре Манна, со всеми другими значениями этого архетипа? Прежде всего следует принять во внимание значение «zusammendrücken; crush, pound, press, compress». Это значение вполне закономерно дает значение «emporragen» (ср. типологически и.-е. *ker- «schneiden» и *ker- «Gipfel; das Oberste am Körper»); значение «резать» может переходить и в значение «думать» (типологически ср. лат. *putāre* «denken» — *putāre* «schneiden»; др.-сев. *høggva* «schneiden» и нем. диалектн. *hügen* «denken»); далее значение «резать» может дать значение «остановиться» [типологически ср. : др.-сев. *geila* «trennen», но др.-англ. *gǣlan* «hindern, zögern»; *kel- «schneiden», но *kelo «to stop» (col. 487)]. Значение «резать» может также переходить в значение «делать» (интересен латинский именной суффикс *-monium*, *-monia*, означающий действие, а также результат действия или состояния; *sessi-monium* «shrine»; *parti-monium*; *testi-monium*; *caeri-monia*; *sancti-monia*; типологически ср. *ker- «schneiden», но др.-инд. *karóti* «делать»), а это последнее может давать значение «колдовать, обладать (сверхъестественной) силой», ср. литов. *apmõnyti* «bezaubern» > «сила, быть сильным», «уметь» [ср. типологически: *er- «schneiden», но арм. *arar* «hat gemacht», *aṙnem* «mache»; др.-русск. *рамянъ* «буйный, сильный», др.-англ. *eormen* «groß»; *gher- «hart worüber streichen, reiben» (ср. *ger- «biegen, drehen»), но нем. *Kraft*]. Вполне ясен переход «жать, сжимать» («резать») > «маленький».

Рассмотрение корня *men- неизменно ставит вопрос относительно этимологии слова, представленного др.-инд. *mánuḥ*, *mánuṣ-*, англ. *man*, нем. *Mann* «человек». Здесь следует прежде всего принять во внимание различные преобразования корня *men- в значении «zusammendrücken; crush, pound, press, compress» (ср. англ. диалектн. *to mun* «to skin»: «keep off or I'll mun you»). Значение «сжимать, крошить, резать» закономерно дает значение «земля, прах» (ср. кельт. *men «Staub»; типологически ср.: англ. *to grind* «молоть», но *ground* «земля»; *er- «trennen» — нем. *Erde* «земля»). Кроме того, значение «сжимать, крошить, резать» может переходить в значение «гнить»: ср. англ. диалектн. *mun* «decayed fish used as manure»[6]; ср. еще: совр. исл. *man* «презрение», брет. *mon* «dung»; ирл. *men* «прах», а также ирл. *mionn* «клятва» (прикасание к з е м л е в качестве клятвы) (типологически ср. др.-англ. *gnidan* «reiben, mahlen, zerbröckeln», но русск. *гнить*; литов. *rauti*, др.-сев. *reyta*, нидерл. *ruiten* «reißen», но англ. *to rot* «гнить»). Значение «сжимать, мозжить» могло давать еще

[6] Ср. также др.-англ. *maða* «Wurm, Made», ср. др.-сев. *maðr* «Mann».

и значение «жидкость» (типологически ср. и.-е. *sker- «schneiden», но др.-инд. kṣaram «Wasser»). Это последнее значение в специальном употреблении («сперма») могло переходить в значение «мужчина, человек» (ср. инд.- арийск. *mamsi- «semen, mucus». гот. mimz «flesh»); с другой стороны, согласно древним поверьям индоевропейцев, души умерших переправлялись водным путем в загробный мир [22], в связи с чем следует принять во внимание: лат. mānō «fließen, strömen», mānēs «die abgeschiedenen Seelen», др.-инд. minaḥ «Fisch» (типологически ср. и.-е. *nāus- «Schiff», но *nāu- «Tod, Leiche», *snā- «fließen; Feuchtigkeit»; нем. *Tropfen* «капля, влага», но русск. *тропа*, *торопиться*, а также *труп*; *kel-«move», но валл. celein «corpse»).

Значение «сжимать» могло переходить еще в значение «дух, душа»: ср. русск. диалектн. *ман* «дух, привидение», осет. *mon «дух»: типологически ср.: и.-е. *ghasto- «Hand», букв. «то, что сжимается», др.-англ. gæstan «verwunden», но др.-англ. gāst «дух, душа» [7]. Значение «сжимать» < «гнуть» могло также давать значение «огонь»: ср. *men- «emporragen (vom Feuer)» — типологически ср. *gher- «emporragen», но *gher- «brennen, glühen». К тому же кругу значений относятся и «пятно (от огня)», «преступление, вред»: ср. др.-англ. mān «Frevel, Verbrechen», др.-сев. mein «schlecht, böse»; кимрск. mann «nota», ирл. mennan «Flecken». Интересны индоарийские примеры, приводимые Тёрнером: *mandagni «slow fire» (mand + ăgni или man + *degh- «brennen»). Ср. *manthana- «kindling fire by friction». Значение «гореть» могло переходить в значение «человек» (типологически ср. тох. А ätäl «homme», но и.-е. *äter- «Feuer») [8]. Интересна др.-сев. форма maðr (<*mannR), которую можно сопоставить с др.-англ. māðum «Schatz»; ср. лтш. manta «Gut», ирл. mōin «treasure», лтш. mons «payment»; слова со значением «сокровище» нередко соотносятся со словами, имеющими значение «помет, перегной»: типологически ср. литов. turtas «Schatz», но англ. turd «dung»; нем. Wert, но англ. диалектн. worthing «liquid manure, dung»; др.-англ. scéarn «dung», но русск. скарб. Значение «сила (*menos)» может переходить в значение «человек» [ср. *ner- «(magische) Lebenskraft» (ср. др.-инд. sunṛtā «Lebenskraft», авест. hunara «Wundermacht», лат. neriōsus «fortis», но алб. njer «Mann, Mensch», др.-инд. nar-«Mann»]. Далее следует обратить внимание на греч. μόνος «один, единственный» (букв. «собранный воедино, сжатый воедино») < «гнуть»; подобным же образом и и. е. *sem- «eins» соотносится с нем. sammeln «собирать воедино»; ср. и.-е. *sem- «тепло, лето» < «гнуть, изгибаться (об огне)». [10] К тому же корню относится нем. Minne «любовь». Типологически ср. русск. любить, но англ. диалектн. to lib, нем. диалектн. lüppen «schneiden». Ср. также: и.-е. *ker- «schneiden», но арм. sēr «Liebe», sirem «ich liebe» (значение этих последних слов соотносится еще с *kei- «liegen»; однако значение «лежать» непосредственно связано со значением «резать»: ср. англ. диалектн. snidan «schneiden», но также «succumbere»; др.-англ. licgan «liegen», lecgan «stellen», но нем. диалектн. Lehe «Sense»); ср. еще: нем. диалектн. huwen «heiraten», но швед. диалектн. hiva «slänga, kasta», нем. диалектн. geheien «кидать, бросать, бить». Важно также принять во внимание *mān- «lead astray» (≈«be moonstruck»), ср. *mānā «moon».

V. В столбце 908 С. Манн приводит архетип *pāt «suffer», который он не связывает ни с какими другими архетипами. Между тем фактический материал свиде-

[7] Ср. лат. manus «Hand» («то, что сгибается»), др.-англ. mand «Korb».

[8] Значение «огонь», «жечь, растопить, растворить (от тепла)» может, как тонко показал О. Н. Трубачев [26], соотноситься со значением «молчать». В этом плане интересно инд.-арийск. (по Тёрнеру) *mōnna- «silent». Рассматриваемый архетип может также соотноситься и со значением «тайть, прятать»: ср. русск. диалект. маниться «затмеваться (о солнце)», ман «облако, туман». Наконец, значение «резать» может дать значение «издавать звуки»: ср. русск. диалект. манеть «громко кричать». Ср. выше (с. 132).

[9] Значение «сжимать» может переходить в значение «молодой» ср. и.-е. *iug- «сжимать», но англ. young; и.-е. *sneu- «knüpfen, binden, biegen», но и.-е. *neuos- «neu»; и.-е. *ker- «flechten», но индо-ар. *kora- «new, fresh»; греч. καινός «neu», лат. recens «frisch, jung, neu», и.-е. *(s)ken-(d-) «schneiden, zusammendrücken», ср. *ken- «reiben».

[10] Интересен приводимый Манном и.-е. суф. *mnos со значением бытийности (col. 779). Типологически ср. и.-е. *bhū- «sein» < < «biegen, schwellen» > «gedeihen» (ср. *bhei-, *bhi- «schlagen»). К рассматриваемому корню *men-, видимо, относится и др.-сев. methr «дерево», ср. типологически: др.-англ. stiper «столб, палка», но лит. stipràs «сильный»; лат. robur «дуб», но robustus «сильный» («гнуть; резать» > > «твердый; сильный»). К тому же корню, очевидно, следует отнести и др.-англ. mōð «Macht; «Geist» (ср. др.-англ. wullmod «a distaff). Типологически ср.: др.-в.-нем. foraha «дуб; ель», но др.-англ. feorh «Seele, Geist Leben».

тельствует, что слова со значением «страдать» часто соотносятся со значением «двигаться, идти». В связи с этим указанный архетип можно сопоставить с и.-е. *pet-, *pent- «двигаться, лететь, распространяться: ср. греч. παθεῖν «страдать» и русск. *путь*, англ. *path*. Типологически ср.: *kel- «treiben, sich schnell bewegen», но нем. *Qual* «му́ка. мучение»; гот. *galeiþan* «идти», но нем. *leiden* «страдать»; *ter-, *tar-«hinübergelangen, überschreiten», но русск. *страдать*; авест. *ari-* «терпеть», но и.-е. *er- «двигаться» ; англ. *ache* «боль», но швед. *aka* «gehen». Отметим также, что слова со значением «идти, двигаться» могли приобретать и значение «питаться» (букв. «двигаться в поисках пищи»): ср. лтш. *braukt* «ехать», но др.-англ. *brycan* «essen»; *pet- «sich bewegen», но русск. *питаться*; и.-е. *ak- «essen», но швед. *aka* «gehen, sich bewegen»; *ed- «essen», но русск. *еду* и др.

VI. Особняком стоит в словаре Манна корень *sup- «спать». Между тем фактический материал показывает, что значение «спать» очень часто соотносится со значением «бить, резать». В связи с этим указанный корень можно соотнести с англ. диалектн. *swop* «бить, резать». Подобным же образом корень *kerm- «спать» соотносится с *kermn- «cut, cutting» (col. 490). Корень *drē- «спать» соотносится с *der- «schinden»; нем. *schlafen*, англ. *sleep* соотносится с нем. диалектн. *läppen* «schneiden», англ. диалектн. *to lib* «to castrate, to cut». Ср. также франц. арго *en écraser* «спать».

К числу архетипов, которые можно найти только в словаре Манна, относятся и следующие: *isos «low, base, short» (col. 435), очевидно, соотносится с *kes- «to cut»; *kolos «mute» (col. 527); *kres- «strike fire, spark» (col. 549), *kukiō «bend, twist» (col. 580); *kastios «horse, mare» (col. 478); *mōn «shape, form» (col. 794); *kŭr- «blind» (col. 591); *namn- «curse, blame» (col. 826); *om- «pain, sorrow, hardship», *om- «utter, swear» (col. 873—874); *quōd «evil, harm» (col. 1038); *tiquiō «think, believe» (col. 1399), *douō «go» (col. 158); *kīkos «flesh» (col. 502) и мн. др.

В заключение необходимо отметить, что словарь С. Манна является полезным дополнением к существующим этимологическим словарям и.-е. языков. Нет сомнения в том, что он привлечет к себе внимание широких кругов индоевропеистов.

Маковский М. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Mann S. E.* An Albanian historical grammar. Hamburg, 1977.
2. *Mann S. E.* An English-Albanian dictionary. Cambridge, 1957.
3. *Mann S. E.* A historical Albanian and English dictionary. L., 1948.
4. *Mann S. E.* Armenian and Indo-European. L., 1963.
5. *Mann S. E.* An Armenian historical grammar in Latin characters. L., 1968.
6. *Mann S. E.* Czech historical grammar. Hamburg, 1977.
7. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
8. The *American Heritage dictionary of* Indo-European roots. Boston, 1985.
9. *Абаев В. И.* О «фонетическом законе» // Язык и мышление. I. М., 1933. С. 7—8.
10. The Lautgesetz-controversy: A documentation / Ed. by Wilbur T. H. Amsterdam, 1977.
11. *Collinge N. E.* The laws of Indo-European. Amsterdam — Philadelphia, 1985.
12. *Маковский М. М.* Лингвистическая комбинаторика. М., 1988.
13. *Макаев Э. А.* Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970.
14. *Мельничук А. С.* О сущности беглого *s-* // Этимология. 1984. М., 1986.
15. *Persson P.* Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. Upsala, 1891.
16. *Persson P.* Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Leipzig, 1912.
17. *Zehetmayr S.* Analogisch-vergleichendes Wörterbuch über das Gesamtgebiet der indogermanischen Sprachen. Leipzig. 1897.
18. *Schröpfer J.* Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre, Lf. 1—2. Heidelberg, 1979; Lf. 3—4. Heidelberg, 1981.
19. *Benveniste E.* Homophonie radicale en indoeuropéen // BSLP. 1955. 55. Fasc. 1.
20. *Трубачев О. Н.* О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
21. *Маковский М. М.* Английская этимология. М., 1986.
22. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. I—II. Тбилиси, 1984.
23. *Onians R. B.* The origins of European thought about the body, the mind, the soul, the world, the time and fate. Cambridge, 1954.
24. *Chevalier J., Gheerbrant A.* Dictionnaire des symboles. P., 1979.
25. *Фрейденберг О. М.* Миф и литература древности. М., 1978. С. 23.
26. *Трубачев О. Н. Молчать* и *таять* // Проблемы индоевропейского языкознания. Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1964.

Николаева Т. М. **Функции частиц в высказывании (На материале славянских языков).** М.: Наука, 1985, 169 *с.*

Давший название рецензируемой книге вопрос, безусловно, принадлежит к числу наиболее актуальных в частной лингвистике. Будучи спроецированным в сферу общей лингвистики, этот вопрос — ввиду структурной и семантической относительности, а также функционально-синтаксической неустойчивости и неопределенности такого объекта исследования, как частицы,— требует с принципиально нетрадиционных позиций посмотреть на то, что представляет собой языковая структура, чем и как детерминировано отражение мысли и действительности в языке (построение высказывания), по каким направлениям осуществлялась языковая эволюция и т. д.

Оказывается, что представление о структуре языка как о статической связи элементов и отношений не проецируется на языковой и функциональный статус частиц, так как употребление последних скользяще и не всегда очевидным образом пересекается (смешивается) с употреблением союзов, наречий и местоимений. Изучение частиц, как и других функционально неизолированных классов слов, требует использования иного представления о структуре языка — исходящего из наличия обусловленных правил сдвига недифференцированных или полудифференцированных элементов в соответствующих условиях употребления. Задача лингвиста в этом случае заключается в том, чтобы вскрыть принципы различных взаимоотношений статусов лексемы в их относительной динамике, исчислить условия перехода от одного статуса к другому, признав в качестве общего правила неустановившийся характер связей, динамику, а не статику отношений коррелятивных единиц или статусов единиц.

Как соотносится содержание рецензируемой книги Т. М. Николаевой с этой, ориентированной прежде всего на выявление системных и функциональных взаимоотношений частиц задачей? Отвечая на этот вопрос, выделим две особенности рецензируемой работы, отражающие отношение автора к предмету исследования.

1. Частицы ввиду их семантической диффузности и текучести, принципиальной непереводимости, полифункциональности т. п. по сути невозможно описать только как цель (элемент структуры языка), они могут быть описаны лишь как цель и средство (элемент высказывания) одновременно. В книге Т. М. Николаевой очевидно стремление подвести читателя к мысли о неперспективности подхода к частицам как элементу языковой структуры («Частицы не вписываются точным образом не только в школьную схему предложения, но и в словари и грамматики» (с. 7); «...все попытки найти строгие критерии отграничения частиц от других грамматических классов...» привели к «таксономическому тупику» — с. 24); в конструктивной части исследования это стремление трансформировано в тезис об отсутствии грани между частицами, наречиями, союзами и местоимениями (ср. с. 4, 121 и др.). В дальнейшем это дает возможность автору свободно под именем частиц говорить о союзах, наречиях, местоимениях, проводить межъязыковые сопоставления (гл. 5), не принимая какой-либо точки зрения относительно того, как конкретно осуществлялся (в ходе языкового развития) и как осуществляется (функционально) переход одного качества в другое — смена статусов лексемы (ср. *и*-союз и *и*-частицу, *вот*-наречие и *вот*-частицу и т. п.).

2. Сосредоточившись в первую очередь на функциональных (индуктивных) аспектах исследования частиц, Т. М. Николаева вместе с тем достаточно сдержанно высказывается по другим, в особенности общеязыковедческим вопросам; нередко собственное мнение автора остается негативным или фигурирует в рассуждениях лишь как частный элемент обзора. Объяснения по этому поводу уместны, однако едва ли удовлетворят заинтересованного читателя (ср. с. 21). Оставленные без решения вопросы представлены в книге, главным образом, в виде парадоксов, имеющих частью гносеологическую (противоречия теории), частью онтологическую природу (факты, достойные удивления) (см. с. 14—20, 41—43 и др.).

Принятые исходные позиции и многообразная функциональная сущность частиц потребовали от автора рассмотрения значительного числа различных по степени абстракции вопросов, поэтому заголовки имеющихся в книге 5 глав, давая общее представление об избранном плане изложения, только приблизительно сигнализируют о содержании книги в целом. В 1-й главе, имеющей характер вводной, дан обзор аспектов и современной проблематики исследования частиц, во 2—4-й—рассмотрены сложные взаимоотношения частиц с высказываниями и высказываний с включенными в них частицами с отражаемыми ими фрагментами дейст-

вительности — ситуациями; в заключительной, 5-й главе представлен сопоставительный анализ «фондов частиц» 11 славянских языков по их количественному составу и структурно-морфологическим особенностям, описаны общие черты фонетики и смысловой структуры частиц — сами по себе и в сопоставлении с некоторыми неславянскими языками.

В рецензируемой книге автора занимают два подхода к изучению частиц, которые условно можно назвать синтаксически-функциональным и этимолого-семантическим. Частицы исследуются и как «функционально коммуникативно важные» компоненты высказывания, и как «являющиеся единицами языка» комбинации соотносимого с индоевропейским славянского фонда п а р т и к у л — «исходных формальных компонентов», на которые легко разлагаются коммуникативные компоненты высказывания: междометия, союзы, местоимения, наречия и собственно частицы, обладающие несмотря на «шкалярность» (неопределенность) их грамматического функционирования собственным инвариантным значением (*да-же*, *у-же*, *не-у-же-ли*, *э-то*, *и-ли*, *ли-бо*, *то-ли-ко*, *и-бо* и т. д.).

Соответственно различию подходов в книге Т. М. Николаевой содержательно и композиционно выделимы 2 части: 1) определяемая самим автором как «синхронно-теоретическая» (с. 25), эта часть охватывает 2—4-ю главы; 2) диахронно-сопоставительная (представлена одной, 5-й, главой). Эти части различны по материалу и по предмету исследования: в первой, в соответствии с основным названием книги, исследуются функции частиц в высказывании, однако на материале только одного языка — русского, во второй, в соответствии с подзаголовком, исследуется материал всех языковых групп славянских языков, но не исследуются собственно функции частиц в высказывании. Название книги в целом, таким образом, оказывается не вполне адекватным ее содержанию. Указанные две части в книге, кроме того, лишь опосредованно связаны одна с другой, поэтому в изложении постоянно сказывается дефицит поддержки функциональных, синхронических данных диахроническими, сравнительными, и наоборот. В связи с этим обращает на себя внимание, что ряд положений 5-й главы с немалой пользой для изложения мог быть использован в предшествующих главах (функциональные сдвиги коррелятивны историческим процессам, и это — традиционно надежный метод их истолкования).

Содержательная логика первой (основной) части рецензируемой книги такова. В самой значительной по объему 2-й главе определяются параметры смысловой среды высказываний с частицами (направления их связей и отношений с разнообразными м и р а м и: с действительностью, текстом, неявной, или скрытой, семантикой и некоторыми другими). Исчерпывающему описанию таких высказываний призвано служить введение в исследование их аналитического коррелята — ситуации. Описание функций и семантики частиц через установление их отношения к специально разработанной (чрезвычайно разветвленной) классификации ситуаций — специфическая особенность содержания 2-й главы. Ключевой вопрос 3-й главы — частицы как средство введения в высказывание скрытой семантики. В 4-й главе наряду с обсуждением некоторых дополнительных аспектов употребления частиц рассматриваются различные языковые категории (порядок слов, неопределенность, вид и пр.), во-первых, как средство передачи семантических признаков высказывания, во-вторых, как элементы взаимодействия с частицами в пределах высказывания.

Что такое ситуация? В изложении это понятие сдваивается: под ситуацией понимаются и определенные типы высказывания («функционально-категориальные смыслы»), обладающие способностью к видоизменению, инвертированию элементов и т. п., и структурированные отношения реалий, отвечающие понятию события. Тем самым создается как бы максимум удобств для развертывания такого описания частиц, которое строится на учете особенностей актуального членения предложения, рассмотрении опосредованно выявляющихся в нем субстратных значимостей определенных синтаксических позиций, переборе вариантов фонетического членения и акцентно-просодического оформления фразы, анализе функциональных возможностей различных квалификаторов ситуаций (форм, категорий), разборе возможных типов инвертирования элементов комплекса составной частицы, исследовании функциональных контактов высказываний в тексте и т. д.

Важный момент, вводимый в изложение,— обсуждение вопроса о наличии «некоторого центра временной и пространственной ориентации», являющегося одним из неявных факторов описания ситуаций посредством высказываний с частицами. Во 2-й главе лишь отмечено наличие такого центра, в 5-й, правда, уже в плоскости диахронии и вне очевидной связи со сказанным во 2-й главе, вопрос этот поставлен

шире — как «вопрос о том, на что же именно обращалось внимание в коммуникативно ориентированных словах восстанавливаемого раннего этапа» (с. 151). Ключевыми ориентирами признаются «три феномена: 1) объект речи, 2) событие в целом, 3) уточнение события» (с. 152). Согласно автору, различное отношение к данным ориентирам — фактор развития категории определенности-неопределенности в сфере образованных на основе общеславянского партикульного фонда слов (прежде всего местоимений — с. 152—154).

Представляется, что и в синхронно-теоретической, и в диахронно-сопоставительной части своей книги автор не полностью использовал возможности намеченного им же важного подхода к исследованию функциональной семантики и особенностей развития частиц в русском и других славянских языках. В ином случае ему не пришлось бы (как автору теоретического исследования) предъявлять слишком высокие требования к несомненно ограниченным в своих объяснительных возможностях составителям сравнительно-исторических словарей, в которых «даются,— как отмечено в рецензируемой книге,— отсылки к соседним по родству языкам или к древним индоевропейским, но не описывается семантическая эволюция (частиц и коммуникативно соотносительных с ними слов: союзов, местоимений и др.— *Л. Н.*) по хоть какой-нибудь заданной схеме» (с. 131).

Уже из предпринятого Т. М. Николаевой обзора взглядов других ученых (с. 17—20, 77 и др.) следует, что чувственно-эмоциональная часть языка, к которой принадлежат частицы, представляет исходный ярус распределения статусов лексем с динамической категориально-смысловой спецификой, потому и в относительной хронологии, и в плане функционирования (разумеется, при учете возможности обратимых транспозиций) партикулярная семантика должна толковаться как исходная. В исследовании Т. М. Николаевой по этому вопросу принято весьма осторожное — узкое и компромиссное решение («...в отношении частиц и „застывших“ форм местоимения логичнее принять термин „соотносится“, чем „восходит“...» с. 20; 145). Термин «соотносится», однако,— принадлежность синхронического анализа, диахронический же анализ должен выявить как раз, что к чему «восходит».

Думается, в настоящее время достаточно оснований считать, что чувственно-изобразительный знак, переходя из сферы подъязыка чувства (системы моделей экспрессии) в сферу подъязыка интеллекта (систему моделей отношения [1]), продолжает и здесь оставаться (постоянно или некоторое время) динамическим, структурно неустойчивым элементом системы, функционально членясь, распределяясь главным образом в соответствии со структурой аппарата локации («я — здесь — сейчас»), являющегося общепризнанной моделью интеллектуально-логического взаимодействия говорящего субъекта с окружающим миром [2]. Например, вед. и скр. *пи́* (*пи́*) как частица выражает поощрение и побуждение (ср. русск. *ну*, польск. *no*); эта же лексема одновременно — наречие места («тут») и времени («теперь»); соответствующее третьему индексу аппарата локации, отсутствующее в ведийском и санскрите субъектное значение *пи́*, вероятно, эксплицировано в славянском *ны* (сравнение с лат. *nos* «мы» ввиду того, что *-s* в индоевропейском — регулярный показатель множественности, допускает при этом выделение в *ны* субстратного значения «я»), которое соотносительно с *ны-* в *ныне* и *но-*, *ну-* в русск. диалектн. *ноне*, *нунь* «теперь».

Схема развития «коммуникативных слов», таким образом, оказывается соответственной функциональной и генетической оппозиции «чувственное — интеллектуальное», а в сфере элементов, отмеченных свойством интеллектуальности (союзы, наречия, местоимения), в основной своей части сводится к обусловленному распределению одних и тех же или соотносительных языковых средств «вокруг» индексов локации.

В книге Т. М. Николаевой выдвинуто и развито положение о том, что русские неопределенные местоимения типа *какой-нибудь*, *что-либо* — не эквивалент западноевропейского неопределенного артикля, как обычно считают, а противоположная ему по функции языковая единица. Неопределенный артикль «вводит объект в класс ему подобных», в то время как «неопределенное местоимение выделяет объект из числа ему подобных, утверждая его особенность» (с. 45). По этой причине неопределенные местоимения невозможны в предложениях типа *Агава — это растение*, а также маловероятны в начале предложения — позиции максимальной определенности (поэтому не

[1] Понятия Э. Сешэ [1]. Различие и взаимоотношения (синхронические и диахронические) подсистем выражения логического смысла и субъективной оценки — предмет теоретического обсуждения в трудах многих лингвистов (А. Сеше, Л. Шпитцер, Г. Грёбер, Ш. Балли, Р. Мерингер, Ж. Вандриес и др.)

встречаются высказывания типа *Один кит столкнулся с одним кораблем*, *Некий человек увидел некую обезьяну* — с. 46).

Отдавая должное указанной концепции (на наш взгляд, страницы, посвященные описанию неопределенных местоимений,— лучшие в книге), отметим, что объяснить названную функцию и ограничения на употребление неопределенных местоимений можно не только при опоре на функциональные данные, но и исходя из других оснований, включая и популярную в книге Т. М. Николаевой теорию пресуппозиций.

Словообразовательно местоимения типа *что-то*, *какой-нибудь* соотносимы с их вопросительными коррелятами (*что? какой?*). Конструктивно вопрос — это усиление (доведение до максимума, интенсификация) неопределенности; присоединение частицы к вопросительной лексеме дает эффект утверждения неопределенности как определенности и, соответственно, функцию индивидуализации объекта: *Каждый имеет что-то свое*. Поскольку внутренней формой таких местоимений остается вопрос (усиленная неопределенность), пресуппозитивно содержащие их высказывания связаны с параметром «неопределенность». Включить в предложение *Агава — это растение* неопределенное местоимение — значило связать его с параметром «неопределенность», что было бы в противоречии с семантической структурой такого предложения, наоборот, связанной с параметром «определенность» (ср.: *Как известно, агава — это растение*, однако — **Как известно, я себя что-то плохо чувствую*).

При ситуативной неопределенности обоих актантов обозначение отношения к пресуппозитивному параметру «неопределенность» ориентировано, по-видимому, на наиболее общий и емкий индекс аппарата локации — время; в высказывании поэтому сигнализирована неопределенность времени ситуации, из чего — по принципу обусловленной связи индексов локации — извлекается информация о неопределенности (и обособленности) актантов: *Однажды кит столкнулся с кораблем*, а не *Один кит столкнулся с одним кораблем* и т. п.

В книге Т. М. Николаевой эскизно намечен универсальный путь развития частиц, состоящий в движении от «частиц, связывающих высказывания» (предшествующая в относительной хронологии доминирующая функция) к частицам «с активным включением скрытой семантики» (следующая в относительной хронологии функция частиц). Такой сдвиг объясняется, во-первых, «запрограммированной коммуникативной размытостью» частиц и, во-вторых, «стремлением человека повысить многоканальность информации речевого отрезка» (с. 152). При всей их, может быть, внешней привлекательности такого рода теоретические построения не могут быть приняты по двум причинам.

1. Частицы актуализируют ситуативный, речевой круг отношений и одновременно «парадигму», среду реалии того элемента высказывания, к которому относятся; способность передавать скрытую семантику, следовательно, — их вторичная, хотя и существенная (в этом автор прав) функция. Эта функция не реализуется, если в высказывании развернута вся «парадигма»: *Петров начал было собираться, но передумал и остался*. Скептически оцениваемая автором (с. 103) приверженность исследователей к описанию выделительных, усилительных или эмфатических свойств частиц, таким образом, во всех отношениях, на наш взгляд, оправданна.

2. Факт гносеологический — отсутствие внимания со стороны исследователей к способности частиц в древних языках обращать высказывание к миру скрытой семантики (являющейся, как ясно из сказанного, их вторичной функцией) Т. М. Николаева переводит в область онтологии и делает из него вывод, своим существованием обязанный лишь тому, что в рассуждениях оказались смешанными онтологический и гносеологический аспекты анализа. Отметим, что этот недостаток сказывается и в других местах изложения.

Подведем итоги. Наряду с упоминавшейся выше своеобразной концепцией семантики русских неопределенных местоимений к очевидным достижениям книги Т. М. Николаевой должны быть отнесены тщательный и глубокий анализ фонетико-смысловой структуры славянских частиц, сопоставительное описание фондов частиц славянских языков по их количественному составу, а также многонаправленные и разнообразные описания способов представления действительности посредством высказываний с частицами, во многих разделах завершающиеся резюмирующими таблицами. Впервые в русистике и славистике продемонстрированы и реализованы широкие и многообразные возможности функционального и диахронно-сопоставительного анализа частиц, и в этом тоже несомненная заслуга Т. М. Николаевой. Что касается недостатков книги, то они обусловлены, во-первых, не всегда выдержанным разграничением онтологического и гносеологического аспектов анализа (неопределенность частиц допустима как факт онтологии, но не гно-

сеологии), во-вторых, преобладанием в изложении индукции, вследствие чего неединственность предложенных автором классификаций и выдвигаемых объяснений в ряде случаев кажется очевидной.

Луценко И. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Сепир Э.* Язык // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960. С. 187.
2. *Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. М., 1975. С. 139.

***Алексеев М. Е.* Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. Морфология. Синтаксис.** М.: Наука, 1985. 158 с.

В последние годы исследования в области лезгинских языков, составляющих южное ответвление восточнокавказских языков, вызывают все возрастающий интерес как советских, так и западноевропейских кавказоведов. Поэтому следует всячески приветствовать выход в свет рассматриваемой монографии М. Е. Алексеева, которая посвящена вопросам исторической морфологии и синтаксиса лезгинских языков.

Работа делится на три основных части: введение, морфология и синтаксис, за которыми следует несколько заключительных замечаний. Введение содержит в первую очередь данные по отдельным лезгинским языкам, причем иногда приводятся краткие сведения из истории их изучения (примечательно здесь упоминание «хапутлинского» диалекта крызского языка — диалекта, который, согласно А. Дирру, исчез уже к началу нашего века [1]). После указания на первые опыты сравнительного анализа отдельных разделов морфологии в лезгинских языках (попыток, предпринятых А. Дирром и Р. Эркертом), а также сведений о последующих важных этапах истории изучения в книге приводится таблица звукосоответствий между лезгинскими языками, предложенная С. А. Старостиным [2]. Она предусматривает для пралезгинского языка 91 согласный, 14 гласных и 10 сонантов — количество фонем (типологически совершенно необычное и, более того, невероятное), которое придает некоторым из приведенных сопоставлений проблематичный характер. После краткого обзора того, что было сделано в науке по теме данной монографии до сих пор («белым пятном» на кавказоведческой карте представляется автору главным образом сравнительный синтаксис, об этом см. также [3]), приводятся данные лексикостатистики, свыше 100 лексем, которые — рассматриваемые как основной лексический фонд — должны свидетельствовать о степени внутреннего родства лезгинских языков, хотя данный метод[1] сам по себе и представляется многообещающим, необходимы все же краткие дополнительные замечания. Остается неясным, почему в статье «женщина» арч. *лъоннол* и цахур. *хьунаше* не помещены рядом с крыз. *хыныб* и хиналуг. *хинимкIир* (к чему следовало бы присоединить также удин. *хуни* «жена» и *хун-чи* «сестра» < **ричи*). Лезг. *ӯар*, крыз. *ӯар* и будух. *дӯр* «дерево» следует считать заимствованием из перс. *dar* «ствол дерева, дерево» — слово, которое само обладает отчетливо выраженной индоевропейской этимологией (ср. авест. *dāuru* «дерево», др.-инд. *dā́ru* «дерево», греч. δόρυ «ствол дерева, дерево, копье», кимр. *derwen* «дуб» и т. д. [4]). Приводимая лексика разделена на местоимения, числительные «один» и «два», прилагательные, несколько имен существительных нарицательных, части тела, глаголы и наименования явлений природы. Следующая за этим списком лексики статистическая таблица показывает особую близость между лезгинским, табасаранским и агульским языками при 50—69 совпадениях; примечательна большая, при 40 совпадениях близость удинского языка к агульскому, которая морфологически и фонетически вообще едва обнаруживается, а также относительно малое число совпадений между удинским, крызским и будухским языками. Особняком стоит хиналугский язык, обнаруживающий 28 совпадений с табасаранским и агульским и 22 — с лезгинским, что в процентном отношении сопоставимо с совпадениями между ним и лакским и аварским языками. На этом основании автор, не причисляя хиналугский язык к лезгинским, исключает его в дальнейшем из числа исследуемых языков [5].

Раздел «Морфология», несомненно, является основной частью работы. Боль-

[1] В значении «mass comparison» Дж. Гринберга.

шой материал содержится в анализе распространений основы, в соответствии с принципом склонения имен по двум основам» [6]; при этом, прежде чем рассмотреть оппозицию реконструированных форм пралезгинского соответствующим формам других восточнокавказских языков, автор выдвигает на первый план опыт семантического определения отдельных морфем. Рассмотрение многообразных морфем эргатива в лезгинских языках основано на допущении, что распространение основы издревле приняло на себя функцию маркирования эргатива (так, как это и по сей день отчасти присуще лезгинскому, табасаранскому и агульскому языкам). В этой связи важно мнение автора, что удинскую морфему эргатива *-н*, так же как гласные суффиксы эргатива, надо рассматривать как остатки прежнего локатива. К сожалению, автор не делает на основании этого анализа дальнейших выводов относительно специфических характеристик синтаксиса пралезгинского языка, которые можно было бы оговорить особо. Автор принимает реконструкцию пралезгинского генитива на -*V*n*, хотя едва касается рутульских и крызских форм, обусловленных, по-видимому, как фонетической реинтерпретацией распространения основы в результате потери конечного *-*n*, так и новым образованием суффикса (локативной природы?) эргатива *-ра*. Анализ существовавшей некогда в лезгинских языках дифференциации генитива по признаку органической / неорганической принадлежности [7] также, к сожалению, отсутствует. В разделе, посвященном пралезгинскому дативу, привлекает внимание афф. *-*ē*. Жаль, что не получило объяснения отсутствие этого форманта в удинском, ср. [8]; можно было бы также отметить его связь с маркированием инфинитива (конечным) в лезгинских языках [9, с. 184]; в удинском, например, эта морфема здесь еще существует, будучи в разряде имен, очевидно, замещенной локативом.

После исчерпывающего обсуждения системы пространственных падежей в пралезгинском (автор исходит здесь из 8 пралезгинских локализаций, которые в лезгинских языках не могут быть зафиксированы все вместе) в книге рассматриваются форманты мн. числа *-*r*, *-*ар*, *-*эт* в пралезгинском. Следует указать на связь признака [±одушевленный] с суф. *-*r*: удинские формы типа *поп-ур* «отдельные волоски», *поп-ур-ух* «волос» (собират.) [9, с. 100] не противоречат, на мой взгляд, тому, что признак [± одушевленный] всегда содержит несобирательную, т. е. индивидуализирующую характеристику. Касаясь удинского языка, было бы желательно учесть морфему абсолютива мн. числа субстантивированных прилагательных (ср. удин. *кала-о-р* «взрослые»). Интересно было бы также остановиться на происхождении имеющегося только в удинском языке суф. мн. числа *-ух* (<арм. *-k'*, заимствование?).

За описанием (довольно сжатым) признаков категории класса в пралезгинском (об этом см. специальную работу [10]) и флексий прилагательных следуют разделы о числительных в пралезгинском и местоимениях (здесь особенно интересен вопрос о двух типах образования генитива личных местоимений, который, однако, не получил дальнейшего освещения).

Значительное место отводится глагольной системе пралезгинского языка. Ее описание содержит разделы, посвященные категории вида, маркированию классов, спряжению, отрицанию и формам герундия. Из всего обилия материала здесь можно остановиться лишь на анализе корреляции инфиксов *-*ø* ~ *-*r*, обладающей функцией дифференциации видовых форм; этот анализ позволяет автору семантически мотивированно подразделить глаголы пралезгинского языка на три категории по признаку наличия или отсутствия такой корреляции. Предложенную им на основании предшествующих работ С. А. Старостина систему пралезгинского аблаута для дифференциации видов необходимо было проследить и дальше. При анализе маркирования категории времени исследование сосредоточено на структуре вспомогательных глаголов, так как автор исходит из аналитического (преимущественно?) образования времен в пралезгинском — тезиса, который, несомненно, нуждается в дополнительной проверке.

Из-за отсутствия в лезгинских языках временной перспективы разработка синтаксиса пралезгинского языка чрезвычайно трудна и проблематична. Сказалось это и в соответствующем разделе монографии Алексеева. Данные отдельных языков свидетельствуют о наличии в пралезгинском эргативной и (несколько более развитой, чем сегодня) аффективной конструкции, определяемых скрытым согласованием по классу [11]. Автор предлагает здесь классификацию по критериям [±разумность] или [±активность], основанную на обычном для пралезгинского языка распределения лексем по четырем классам. К сожалению, чрезвычайно существенную категорию транзитивности/интранзитивности/лабильности в лезгинских языках автор рассматривает слишком кратко. Желателен был бы анализ того, в какой мере можно

установить древность оппозиции транзитивный/интранзитивный с помощью морфосемантической классификации абсолютива или эргатива по таким признакам как [±разумный], [±одушевленный], [±мужской] или [±сильный] [ср. положение в цезских, нахских и аваро-андийских языках и такие удинские предложения, как *šetin* (эргатив) *axšumnexa* «он смеется», *pačaγun γaren* (эргатив) *gölö ɓnenexa* «царский сын горько плачет»]. Раздел завершается исследованием маркирования второстепенных членов предложения (адресат, инструмент, локатив и т. д.), описанием различных типов определений, выраженных именем в генитиве, а также краткой характеристикой сложных конструкций (едва представленных) предложения в лезгинских языках.

Эта необыкновенно насыщенная материалом работа, к которой приложена обширная библиография (за что должен быть благодарен любой кавказовед),— незаменимое пособие в работе каждого, кто отваживается взяться за сложную тему реконструкции пралезгинского языка. К сожалению, пользование этой книгой заметно затрудняет отсутствие предметного указателя и указателя слов. Разумеется, от окончательной оценки утверждений автора рецензент вынужден воздержаться, возможны были лишь мелкие замечания по поводу некоторых проблематичных положений. Будем надеяться, что предварительные разработки в области фонетики, на которые рецензент смотрит несколько скептически и результаты которых доведены здесь до читателя без всяких комментариев, будут предложены и более обширной аудитории. Лишь тогда станет возможной проверка ряда выдвинутых положений в области морфологии также и по материалу, лежащему в их основе, т. е. исходя из установленных фонетических законов, необходимых в каждом случае констатации языкового родства (об этом см. [12]).

Шульце В.

Перевела с немецкого *Цивина К. Д.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dirr A.* Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig. 1928. S. 19 f.
2. *Старостин С. А.* О реконструкции пралезгинской фонологической системы (консонантизм) // Тезисы конференции аспирантов и молодых сотрудников: Литературоведение, текстология, лингвистика. М., 1975.
3. *Алексеев М. Е.* Структура простого предложения в лезгинских языках // ИАН СЛЯ. 1985. № 4.
4. *Horn P.* Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893. 116.
5. *Алексеев М. Е.* К вопросу о классификации лезгинских языков // ВЯ, 1984. № 5.
6. *Klimov G. A.* Die kaukasischen Sprachen. Hamburg, 1969. S. 51.
7. *Мейланова У. А.* Будухско-русский словарь. М., 1984. С. 190.
8. *Schulze W.* Remarks on the Lezgian case system // Folia Slavica. 1984. 7. P. 318.
9. *Schulze W.* Die Sprache der Uden in Nordazerbajdžan // Studien zur Synchronie und Diachronie einer süd-ostkaukasischen Sprache. Wiesbaden, 1982.
10. *Кахадзе О. И.* Грамматические классы в лезгинских языках. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).
11. *Schulze W.* Noun classification and ergative construction in the East Caucasian languages // Proceedings of the III Caucasian colloquium. Oslo, 1986. Oslo, 1987.
12. *Schulze W.* // Kratylos. 1987. 31. Rec.: *Diakonoff I. M.*, *Starostin S. A.* Hurro-Urartian as an East Caucasian language.

Кажибеков Е. З. **Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках (Явление синкретизма).** Алма-Ата: Наука КазССР, 1986. 272 с.

Хорошо известно, что неизученность вопроса не всегда является единственно верным критерием определения его теоретической и практической ценности. Точно так же вопросы, казалось бы, в той или иной степени разработанные, могут надолго оставаться актуальными и быть объектом изучения ряда поколений ученых. Явление так называемого «тюркского синкретизма», иначе глагольно-именной корреляции, соотношения, омонимии и др., которым занимались многие отечественные и зарубежные ученые, относится к числу таких проблем. Между тем исследование данной проблемы представляется одной из важных задач тюркского исторического языкознания, с решением которой связано прояснение целого ряда положений исторической грамматики: история развития тюркских частей речи, генезис словообразовательных категорий, доагглютинативное словотвор-

чество, семантика древних слов, реконструкция пратюркского и прототюркского состояний.

Проблема глагольно-именной корреляции гомогенных моносиллабов — тюркский лексико-грамматический синкретизм, разработке которой посвящена монография Е. З. Кажибекова, теснейшим образом связана с вопросами исторической лексикологии, морфологии и фонетики (фонологии) и отражает древнее состояние языковой стихии тюрок, когда имена и глаголы как лексико-грамматические категории не были так строго дифференцированы между собой, как сейчас, и синкретизм в известном смысле имел словообразовательный характер. Все это сделало выход в свет данной книги — первого монографического комплексного исследования данной проблемы — заметным событием в тюркологии, важным этапом дальнейшего углубленного изучения синкретизма, определения и характеристики лексико-грамматической природы синкретичных образований, процессов их семантического и структурного развития.

Монография состоит из Введения, четырех глав, Заключения, приложений (списка синкретичных корней-основ и списка сокращений). Во вводной части приводится краткая история вопроса, оттеняется специфика объекта изучения, убедительно обосновывается методика исследования, принцип ограничения односложными структурами корней и неразложимых основ, исходя из специфики самих тюркских языков.

В первой главе — «Проблема корневой глагольно-именной омонимии в тюркских языках (Степень изученности и основные аспекты») — рассматриваются ранние высказывания ученых-тюркологов (Г. Вамбери, П. М. Мелиоранского, Г. И. Рамстедта, В. Банга, Ж. Дени, К. Грёнбека, К. Брокельмана, В. Л. Котвича и др.) о природе тюркских глагольно-именных форм основ, которые, как правильно указывает автор, не отражали многообразия языковых фактов, связанных с данным явлением, что было следствием целого ряда конкретных причин. Критически используя опыт изучения проблемы (Н. К. Дмитриев, А. Н. Кононов, Н. А. Баскаков, И. А. Батманов, А. М. Щербак, Э. В. Севортян, Э. Н. Наджип, Б. М. Юнусалиев, К. М. Мусаев и др.), автор обобщает и выделяет наиболее важные положения, критически развивая их далее на основе привлечения новых языковых материалов. Особое внимание уделяется источникам глагольно-именной корреляции омоформ в тюркских языках — былой комплексности праформ на праязыковом уровне. «И дело тут не только в том, что образы конкретных предметов и вещей, проецируемые в нашем сознании или мозгу, соответствуют степени нашего знания того или другого предмета или явления, его атрибутов, качеств и признаков, и чем меньше мы знаем тот или иной предмет или явление, тем более обобщенно и расплывчато наше представление о нем,— пишет автор.— Это только первый этап, связанный с исходным моментом зарождения рассматриваемого явления глагольно-именной корреляции форм в языке. Трудно (и вряд ли необходимо) сравнивать сознательное словопроизводство по модели „имя — глагол“ с первоначальным примитивным приемом словосозидания, из которого вырос тюркский синкретизм» (с. 44—45).

Вторая глава («Обще- и межтюркские синкретичные моносиллабы») представляет собой перечень наиболее характерных (реконструированных автором) односложных глагольно-именных основ, подвергнутых скрупулезному семантико-грамматическому и фонетическому анализу с широким привлечением данных всех тюркских языков. Словарные статьи синкретичных основ обще- и межтюркского характера по существу являются опытом реконструкции пратюркского словаря. В них ученый не ограничивается только омонимичными соответствиями, приводя коррелирующие ряды гомогенных форм основ — фоно-семантические комплексы. Ср. словарные статьи на **joj-⇄*joq* (с. 55—56), **kör-⇄*köz* (с. 57—58), *küj-⇄⇄köz/kör* (с. 59—60), **taš/*tüš* (с. 72—73), **toj-⇄-*toi/*toq* (с. 73—74), **tüz/tiz* (с. 75—76) и т. д. Положительным является также то, что в тех случаях, когда тот или иной синкретичный корень имеет пространный перечень родственных значений, автор, где это правомерно, выделяет условные коррелятивные пары; см., например, статьи **sap* (с. 67—68), **tin* (с. 78), **čap* (с. 80—81), **čat* (с. 81—82) и др. Материалы данной главы убеждают в том, что рассматриваемое явление в древности было гораздо более распространенным; и даже более того — с достаточной степенью вероятности оно интерполируется в пратюркский период.

Третья глава монографии («Проявления грамматического синкретизма в тюркских языках») посвящена непосредственному фоно-морфо-лексико-семантическому разбору глагольно-именных соотношений на уровне односложных корней-основ. Правильно в этой связи замечание о том, что изучению глагольно-именных совпадений производных образований обязательно должно предшествовать исследование односложных основ, «являющихся исходными кирпичиками полисиллабических словоформ и прообразами словообразующих показателей» (с. 93). По

мнению автора, синкретизм вторичных форм может быть следствием такого же качества исходного праслова для аффиксов (если, конечно, теоретически принять данную гипотезу о восхождении грамматических показателей генетически к полнозначным словам), влияния диффузности корня, к которому присоединяется аффикс, или же действия древней и некогда продуктивной словообразовательной модели «имя — глагол» и, наконец,— следствием случайного совпадения разных морфем. Под углом темы рассматриваются и такие вопросы, как лексикализующая функция конечных согласных тюркского корня, чередование гласных и варьирование других компонентов тюркского моносиллаба для семантической дифференциации первичного значения. Е. З. Кажибеков интерпретирует вариации элементов тюркского корня как этимологически тождественные фонетические дублеты, в результате чего его конечные, начальные и срединные корреспондирующие части (аилаут, инлаут и ауслаут) трактуются как базовые, т. е. сугубо корневые элементы. Приводятся также примеры односложных корней-основ, восходящих к полисиллабическим структурам, некоторые случаи использования долготы или дифференциации сходно звучащих слов, устанавливаются случаи выработки «синкретизма» в исторически обозримое время в лексемах, ранее им не обладавших, и т. д. «Говорить ... о морфологической функции начального, среднего или конечного компонентов тюркского изолированного слога только на том основании, что некоторые фонетические закономерности в отдельных случаях соответствуют семантической дифференциации,— резюмирует автор,—пока не представляется возможным» (с. 122).

Последняя, четвертая глава («Синкретичные моносиллабы, выявленные в процессе сравнительного анализа») посвящена изучению синкретичных корней, реконструированных в результате помодельного анализа дериватов или бытующих в структуре устойчивых сочетаний, пословиц и поговорок, всевозможных композитов и пр. Изучение отдельных аспектов проблемы тюркского синкретизма иногда выводит исследователя за рамки тюркских языков и заставляет обращаться к фактам омоформизма общеалтайского происхождения. Вполне закономерно выделение в данной главе гипотетических пластов и предварительных этимологических реконструкций.

В Заключении резюмируются основные идеи исследования, подтверждающие признание исторической реальности тюркского синкретизма как древнейшей системы словообразования, восходящей к пра- и прототюркскому периоду развития тюркских языков.

Если говорить в общем, можно отметить тот факт, что автором — при относительно удовлетворительном «обследовании» доступных ему лексикографических источников — все же недостаточно полно охвачены факты живых тюркских языков, диалектальные и другие ненормативные пласты лексики. В случае учета последних можно было бы, с одной стороны, значительно дополнить список фиксируемых единиц, а с другой, подвергнуть более тщательной корректировке сомнительные или нуждающиеся в подтверждении реконструкции, таким образом сняв, или, наоборот, существенно усилив отдельные гипотетические участки восстановлений, выверив надежным образом «осколочные» и редкие формы или употребления по словарям Л. З. Будагова, В. В. Радлова, В. И. Вербицкого, В. П. Наливкина, П. М. Мелиоранского и др. Можно также не согласиться с сознательным отказом Е. З. Кажибекова от попыток теоретической аргументации самого факта исторической реальности так называемого «синкретизма»: «В предлагаемой работе мы не ставили задачи доказать реальность существования в тюркских языках первичных синкретичных основ, выражающих одновременно соответствующие значения имени и глагола, так как в трудах многих советских и зарубежных тюркологов этот аспект проблемы был решен достаточно убедительно» (с. 3—4). К сожалению, в действительности ситуация в науке все же еще не так однозначна, хотя, нужно заметить, что основания для такого категоричного утверждения у ученого были. Вполне достаточно для того, чтобы убедиться в этом, обратиться хотя бы к материалам томов «Этимологического словаря тюркских языков» Э. В. Севортяна [1]. Нет единства в понимании или интерпретации сходных явлений и у противников синкретизма, ср., например, замечание А. А. Юлдашева о важности пересмотра «пресловутого положения о синкретизме глагольных и именных корней» [2] с его следующим высказыванием: «...не лишено основания предположение ученых о том, что синкретичные корневые морфемы типа башк. ... *шеш-* «опухать»: *шеш* «опухоль», ... отражают былую неопределенность или диффузность их категориальных свойств» [3]. Диаметрально противоположные позиции ученых по проблеме структурности тюркского корня (как принято считать, в подавляющем большинстве случаев односложного), которые, как кажется, должны были бы нейтрализовать друг друга, продолжают существовать и соответственно дорабатываться [4, 5], что, по на-

шему убеждению, говорит о том, что в данном случае, по-видимому, необходимо искать другое решение, исходя прежде всего из самого исследуемого материала. Интересно в связи с этим отметить, что позиция отдельных тюркологов по вопросу о структуре тюркского односложного корня в плане ее соотношения с теорией синкретизма, по меньшей мере, некорректна: любые аргументы в пользу синкретичности корня теряют смысл, если в его составе усматривать аффиксальные элементы. Тезисы о синкретичности корня и его структурности исключают друг друга. Примечательно, что автором рецензируемой монографии успешно решается указанное противоречие. По его мнению, синкретичность — признак исконно корневых морфем; в дериватных структурах, независимо от типа слога, может быть представлено более позднее явление — глагольно-именная омонимия.

В «Этимологическом словаре тюркских языков» [1] и других своих работах [6] Э. В. Севортян использует данные термины для обозначения одного и того же явления — глагольно-именная омонимия и синкретизм. Как мы видели выше, оговорки о том, что первый термин отражает синхронный уровень, а второй — диахронический, не решают проблемы; даже, наоборот, меняют «полюса»: первый термин для компонентных корней отражает историю, второй — современный срез. Наталкивают на серьезные размышления в этом плане и, как нам кажется, намечают отдельные перспективные линии дальнейшего изучения проблемы, глубинные статистические импликации Б. А. Серебренникова (кстати, отрицающего синкретизм — [7]), в частности, следующие: «Неоформленность частей речи находится в прямой зависимости от небольшого количества типов слогов, абсолютного преобладания односложных слов и общей скудности дистинктивных средств языка. В этих условиях язык бывает вынужден использовать одно и то же слово в роли разных частей речи» [8, с. 292]; «Свободный порядок слов связан с развитием флексии... Более стабильный порядок слов устанавливается также в языках, формально не различающих частей речи. В языках этого типа одно и то же слово может быть существительным, прилагательным, глаголом, местоимением, наречием и предлогом в зависимости от места, которое оно занимает в предложении » [8, с. 309].

Являются ли синкретичные образования (уже сами по себе пережиточные в тюркских языках) — на корневом уровне — реликтом еще более раннего аналитического состояния языка (точно так же, например, в языках флективных обнаруживаются реликты агглютинатики) или аналогичны внешне схожим конверсивным позднейшим преобразованиям — отдельный предмет дальнейших разысканий, хорошее начало которых положено рецензируемым исследованием.

Можно спорить о правомерности или неправомерности логического и теоретического выделения корневого омоморфизма как сугубо языкового явления, соглашаться или не соглашаться с концепцией исторической реальности тюркского синкретизма, но ясно одно — после выхода в свет книги Е. З. Кажибекова данный феномен уже нельзя отбросить голым отрицанием. Теперь во всей своей сложности и противоречивости перед исследователями встает новая задача — объяснить то, что дано в языке. И самое главное, что хотелось бы особо подчеркнуть,— при любом решении данного вопроса монография Е. З. Кажибекова «Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках (Явление синкретизма)», несомненно, представляет собой ценный вклад в тюркскую компаративистику, без которого — как переходного звена — нельзя проникнуть в глубинную суть фоно-лексико-семантических и грамматических языковых явлений на пра- и прототюркских уровнях.

Тенишев Э. Р., Чеченов А. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974—1980.
2. *Юлдашев А. А.* К «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков». Т. 4. Лексика (Проспект). М., 1981. С. 8.
3. *Юлдашев А. А.* Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 1972. С. 235.
4. *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980. С. 77.
5. *Баскаков Н. А.* Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979. С. 143.
6. *Севортян Э. В.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962. С. 362.
7. *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983. С. 235—240.
8. *Серебренников Б. А.* Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.

Dialectologia Uralica. Materialien des ersten Internationalen Symposions zur Dialektologie der uralischen Sprachen 4.— 7. September 1984 in Hamburg / Hrsg. von Veenker W. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1985. 336 S. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. 1985. Bd. 20).

Исследователи финно-угорских (уральских) языков встречаются регулярно — каждые пять лет — на международных конгрессах. Однако наряду с этими крупными форумами необходимы и симпозиумы с меньшим числом участников, где обсуждается более четко ограниченный круг вопросов. Проведено уже три таких симпозиума по фонологии уральских языков. Рецензируемая книга содержит тексты докладов первого международного симпозиума, посвященного диалектологии уральских языков. К сожалению, участие советских ученых в работе подобных симпозиумов пока остается минимальным. На упомянутом симпозиуме по диалектологии присутствовали десять представителей из Венгрии, пять — из Финляндии, три — из ФРГ и по одному — из Советского Союза, Австрии и Швеции. Правда, рецензируемый сборник содержит статьи шести советских авторов, поскольку тексты докладов для опубликования прислали и те ученые, которые не смогли приехать на симпозиум; однако и это число не отражает вклада ученых нашей страны в развитие данной отрасли науки.

Чтобы оценить важность диалектологии для уралистики в целом, следует напомнить, что многие уральские языки относятся к младописьменным или бесписьменным вообще. Разница между основными диалектами ряда уральских языков (хантыйский, саамский, эстонский) подчас бо́льшая, чем между некоторыми славянскими или германскими языками. В связи с малочисленностью письменных памятников диалектный материал представляет собой главный источник для сравнительно-исторического исследования уральских языков. Однако многие диалекты еще слабо изучены, а часть из них находится в стадии отмирания вследствие влияния литературного языка или перехода носителей диалекта на другой язык. Направив все свои усилия на сбор и публикацию фактического материала, диалектологи-уралисты до сих пор не могли уделять достаточного внимания разработке теоретических вопросов. Следует также отметить, что различия в методике и традициях разных исследовательских центров иногда затрудняют взаимопонимание ученых и использование результатов работ друг друга. В связи с вышеизложенным понятна актуальность состоявшегося в Гамбурге симпозиума.

В статьях рецензируемого сборника обсуждаются как общие теоретические и методологические проблемы диалектологии, так и классификация диалектов конкретных языков. Прежде всего остановимся на статьях первой группы тем.

В статье П. Хайду (Будапешт) «Понятие диалекта в уральских языках» как одно из средств различения языка и диалекта используется критерий «понятности»: если люди понимают друг друга, значит, они говорят на диалектах одного языка, если нет, то на разных языках. Этот критерий не всегда применим: например, носители некоторых селькупских диалектов не понимают друг друга. Хайду согласен с Ч. Хоккетом, по мнению которого диалекты относятся к одному языку, если наличие диалектная цепочка, часть звеньев которой взаимно понятны, а крайние периферийные звенья не обязательно должны быть таковыми. Хайду выделяет две задачи, стоящие перед специалистами по уральским диалектам: 1) сбор дополнительного материала, который поможет преодолеть существующую односторонность (большинство изданных текстов имеет фольклорное содержание, мало данных о разговорном языке, употребляемом в различных ситуациях), 2) международное сотрудничество в интересах создания банка данных для ввода в ЭВМ.

Б. А. Серебренников (Москва) заострил внимание на двух основных проблемах: уточнении критериев диалектного членения и методологии описания отдельных диалектов. Автор критически отнесся к получившей кое-где распространение традиции сопоставлять явления изучаемого диалекта с таковыми в литературном языке без описания диалектной системы в целом.

Т. Фазекаш (Будапешт/Гамбург) подчеркивает необходимость использования достижений социолингвистики в уральской диалектологии.

С. Сааринен (Турку) информирует о применении ЭВМ при изучении фонологии и морфологии диалектов в Туркуском и Хельсинкском университетах. Среди разработок в этом направлении наиболее сложной представляется созданная К. Коскенниеми система — так называемая морфология двух уровней. Она позволяет автоматически распознавать встречающиеся в тексте формы, а также образовывать формы от данных основ и суффиксов [1].

Главный организатор симпозиума В. Феэнкер (Гамбург) поставил перед собой задачу создать единую модель.

для описания всех диалектов уральских языков. В сборник вошли его статьи «Предложение о модели фонологического описания уральских языков и диалектов» и «Предложение о единой модели морфологического описания уральских языков и диалектов», а также статья Я. Пустаи (Будапешт/Гамбург) «Размышления о единой модели морфологического описания уральских диалектов».

Описание вокализма, по модели Феэнкера, происходит на основе следующих критериев: положение языка по подъему и ряду, способ артикуляции (ртовый, носовой), лабиализация, долгота. Свойства каждого гласного выражает код, состоящий из шести цифр, расположенных в определенной последовательности. Первая из них показывает высоту гласного и варьирует от 1 до 6, причем цифра 1 обозначает самый высокий, а 6 — самый низкий гласный. Далее следующие цифры показывают меру принадлежности гласного к переднему или заднему ряду, всевозможные комбинации ротового или носового произношения и лабиальности/нелабиальности, степень долготы и, наконец, участие гласного в корреляциях переднерядный/непереднерядный, лабиальный/нелабиальный в случае одинаковой высоты гласного. По тем же принципам описываются и согласные с помощью 6-значных кодов, элементы которых показывают способ артикуляции (взрывные, фрикативные, аффрикаты, боковые, дрожащие, носовые), активный и пассивный органы произношения, звонкость/глухость, палатализацию, а также фонологическую функцию звонкости и палатализации. Ту же модель применил Э. Ф. Шифер (Мюнхен) для описания фонетических систем хантыйских диалектов.

В связи с практическим использованием модели Феэнкера возникают некоторые вопросы. По модели, высоту гласного можно передать шестью цифрами, однако не известно ни одного уральского диалекта с шестью фонологически релевантными степенями высоты. В вах-васюганском диалекте хантыйского языка выделяются три степени высоты, которые Э. Ф. Шифер обозначает как 1, 3, 5. Почему выбрал он именно эти цифры? Если учесть, что места произношения фонем имеют тенденцию располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга, вполне подошли бы и коды 2, 4, 6. Очевидно, экспериментальная фонетика тоже не дает объективной основы для выбора, поскольку если, например, в диалекте отсутствует фонологическая противопоставленность высокого и сверхвысокого гласного, произношение в рамках соответствующего отрезка может варьировать. Модель позволяет выделить четыре ступени гласных по ряду, которые Феэнкер называет vorne, vorn/mitte, mitte/hinten, hinten. Эта система неудобна для диалектов, в которых противопоставляются три ряда гласных. Таково положение, например, в вах-васюганском диалекте, где фонему *ə* Шифер определяет как mitte/hinten. Правомерен вопрос: а почему не vorn/mitte?

Ценность фонологического кода Феэнкера заключается прежде всего, наверно, в том, что с его помощью обеспечивается большее единообразие в обозначениях, чем при фонологическо-фонетических символах, которыми пользуются разные авторы, хотя в определенной мере не исключен и произвол при применении этого кода. Несомненно, что цифровые коды для обработки на ЭВМ более приемлемы, чем буквы фонетической или фонологической транскрипции, снабженные диакритическими знаками.

Модели — как Пустаи, так и Феэнкера — для описания морфологической системы диалектов с помощью цифровых кодов обозначают морфологические категории и членов словоизменительной парадигмы. Во избежание путаницы, вызываемой неоднородностью терминологии, они, конечно, полезны. Однако для получения информации о том, какой конкретный звуковой облик имеют формы, выражающие грамматические категории, необходима еще морфонологическая модель. В рецензируемом сборнике она отсутствует. Феэнкер отмечает, что модель описания морфонологии еще не разработана им до конца. Можно полагать, что это — задача нелегкая, особенно если принять во внимание прибалтийско-финские и саамский языки, чрезвычайно богатые морфонологическими чередованиями.

Остальные статьи сборника касаются вопросов диалектного членения конкретных языков. О венгерских диалектах пишут Л. Бенкё, Й. Кишш и Й. Молнар (все — Будапешт). Из прибалтийско-финских языков отдельные статьи посвящены только финскому (П. Лехтимяки, Хельсинки) и карельскому (П. Виртаранта, Хельсинки): кроме того, рассматривается один случай контактирования водского и ижорского диалектов (С. Сухонен, Хельсинки); гипотезу об историческом формировании прибалтийско-финских диалектов предлагает Т.-Р. Вийтсо (Таллин). Статья Вийтсо содержит особенно много новых положений. Если существующие классификации эстонских диалектов выделяют две или три основные диалектные группы, то у Вийтсо их пять: южная, северная, восточная, северо-восточная и прибрежная. Основными карельскими диалектами он считает се-

верный, южный, ливвиковский и два людиковских. Вместо трех вепсских диалектов Т.-Р. Вийтсо предлагает в качестве основных два: северный и собственно вепсский. Такое членение обосновано древообразной схемой генезиса прибалтийско-финских диалектов, на которой с каждым ответвлением связаны какие-либо фонетические или морфологические явления. Неизбежный недостаток дерева-схемы состоит в том, что она способна отразить лишь одну сторону процесса формирования диалектов, а именно — дивергенцию; важна же и другая сторона явления — конвергенция (значение ее не отрицает и Вийтсо), более поздние контакты обособившихся диалектов, а также независимые параллельные явления. Бросается в глаза, что в ряде случаев определенные диалекты характеризуются признаками, в действительности распространенными в более широком ареале, чем представлено на схеме: признак (11) $*\check{p}p$ $*\check{t}t$ $*\check{k}k > p\ t\ k$ в любой позиции, (14) и (15) $*l\check{k}$ $*r\check{k} >$ $> lj$ rj перед передним гласным; (18) утрата слабоступенного $*\check{l}$; (21) *u ü* в окончании 3-го лица наст. времени. Явная ошибка допущена в связи с признаком (17), где $*t > \delta \sim d \sim r \sim l$ приписывается восточнофинским диалектам, встречается же этот переход в западнофинских (см. расширенный вариант статьи Т.-Р. Вийтсо [2]).

Рецензенту трудно согласиться с предположением Т.-Р. Вийтсо о старой диалектной границе, которая якобы отделяла севернокарельские и ижорские диалекты от остальных карельских (см. также [3]). Вийтсо опирается на тот факт, что во всех карельских диалектах, кроме севернокарельского, и во всех вепсских диалектах произошло озвончение *k*, *p*, *t*, *s* в соседстве со звонкими. Однако явление это вызвано влиянием русского языка и не обязательно предполагает тесные контакты между соответствующими прибалтийско-финскими диалектами. С другой стороны, Вийтсо объясняет все общие для собственно карельских и ижорских диалектов явления чередования ступеней (например, иж. *pitkä* «длинный», ген. *piDän*) конвергенцией, происшедшей позднее, чем озвончение взрывных и *s*. Это маловероятно, ибо уже в первые века нашего тысячелетия обособились значительные ареалы проживавших по берегам Невы ижорцев и различных карельских племен, разбросанных по территории современных Восточной и Северной Финляндии и Карельской АССР; ср. [4].

О саамских диалектах пишут П. Саммаллахти (Оулу) и Л. Г. Ларссон (Упсала). Первый поднимает принципиальный вопрос: можно ли в рамках одной классификации объединить политический, коммуникативный и исторический аспекты. Мордовские диалекты классифицирует Л. Керестеш (Дебрецен), марийские — Г. Берецки (Будапешт) и С. Сааринен (Турку). Удмуртские диалекты рассматривают С. Чуч (Будапешт) и В. К. Кельмаков (Ижевск), коми диалекты — А.-Р. Хаузенберг (Таллин) и К. Редеи (Вена). Мансийским диалектам посвящены статьи Л. Хонти (Будапешт) и Б. Кальмана (Дебрецен), многочисленным хантыйским диалектам — только одна работа Э. Ф. Шифера. Среди статей по самодийским языкам наиболее обстоятельная принадлежит перу Т. Янурика (Сегед) — о ненецких и селькупских диалектах. Он выбрал 76 фонетико-фонологических явлений ненецких диалектов и 77 явлений селькупских диалектов для различения диалектов между собой. Для каждого языка за основу берется один диалект, с которым сопоставляются все остальные; по количеству отличительных черт все диалекты можно разместить в ряд. Ценность таких, выраженных количественно, результатов все же снижает то обстоятельство, что автор не предлагает каких-либо объективных критериев подбора дифференцирующих явлений. Е. Хелимский (Москва) рассматривает основные диагностические признаки, позволяющие классифицировать материалы конца XVII — начала XX вв. по энецкому языку с точки зрения их принадлежности к одному из двух (тундровый и лесной) энецких диалектов. А. Кюннап (Тарту) подчеркивает большую роль морфологических черт при классификации селькупских диалектов. Он затрагивает и вопрос о диалектном варьировании малоизвестного (к настоящему времени практически утраченного) камасинского языка.

Кроме венгерского и финского, в сборнике лишь по удмуртскому языку статья написана ученым, исследующим родной для него язык.

Роль разных языковых уровней в диалектном членении не для всех языков одинакова. И все же в данном сборнике все классификаторы на первое место ставят фонетические признаки. Одни авторы исходят из своеобразия фонологических систем современных диалектов, другие — из распространения диахронных звукоизменений. При различении финских диалектов важно учитывать морфонологические чередования. Морфологические признаки, наряду с иными, используются при классификации финских, карельских, марийских, удмуртских и селькупских диалектов. О значении лексических признаков речь идет в связи с ка-

рельским, саамским, удмуртским и коми языками.

Рецензируемый сборник отличают многообразие затронутых теоретических и методологических проблем и поиски их новых решений, поэтому он представляет интерес не только для специалистов по уральским языкам.

Лаанест А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Koskenniemi K.* Two-level morphology: a general computational model for word-form recognition and production // Publications of the Department of General linguistics. University of Helsinski. 1983. № 11.
2. *Viitso T.-R.* Lääneemeresoome murdeligendusc põhijooned // Keel ja Kirjandus. 1985. 7.
3. *Viitso T.-R.* Finnic gradation: types and genesis // СФУ. 1981. XVII.
4. Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М., 1975. С. 9.

Дикционар диалектал (кувинте, сенсурь, форме). Кишинэу: Штиинца. Волумул I. 1985. 289 паж. Волумул II. 1985. 310 паж. Волумул III. 1986. 251 паж. Волумул IV. 1986. 276 паж. Волумул V. 1986. 275 паж. Редактор респонсабил Удлер Р.

«Диалектологический словарь (слова, значения, формы)» (далее — ДС) подготовлен Отделом диалектологии и лингвистической географии Института языка и литературы Академии наук Молдавской ССР (составители: Р. Я. Удлер, В. А. Комарницкий, А. Т. Чепушэ, В. К. Павел, А. Н. Думбрэвяну, В. Ф. Мельник, А. И. Евдошенко, В. В. Корчмарь, Г. М. Гожин, Ш. И. Маткаш и П. Г. Вережан). Словарь предваряют Введение (с. 5—23) и три приложения: «Приложение I» — «Список используемых работ», «Список сокращений», «Фонетическая транскрипция» (с. 24—31), «Приложение II» — «Список анкетаторов» (с. 32—34), «Приложение III» — «Список населенных пунктов, обследованных для „Молдавского лингвистического атласа“» и «Список населенных пунктов, обследованных для региональных глоссариев, фольклорных сборников и др.» (с. 35—64).

Появление любого словаря, а тем более диалектологического,— значительное событие в филологии. Ведь диалектные слова не нормированы, вариативны, многоэ и сложнозначны. Работа над таким словарем требует значительно бо́льших усилий, чем работа над словарем литературного языка. Видимо, поэтому диалектологических словарей создано и издано меньше, чем словарей литературного языка, хотя диалектов значительно больше, чем литературных языков.

В молдавском советском языкознании такой словарь составлен впервые. Форма представления материалов нестандартна. Ее своеобразие продиктовано целями ДС, его источниками и, главное, его материалами.

В словарь включены слова, словосочетания, выражения, их значения и формы, которые употребляются молдавским населением на территории МССР на Украине, в Абхазии, РСФСР, Казахстане, Киргизии и др., а также носителями разных восточнороманских говоров Закарпатской и Черновицкой областей УССР. Он содержит чрезвычайно богатый материал, свидетельствующий о том, что лексика народной речи изобилует множеством форм и значений (до сих пор не зафиксированных в словарях), которые точно передают названия реалий, часто характерных для молдавского быта, среды, названия растений, животных и местного рельефа, названия различных действий и процессов, названия детских игр и верований и т. п., что в итоге отражает специфику речи молдавского региона.

ДС — по своему содержанию, способу представления материалов, форме толкования слов — отражает лексико-семантическое богатство местной народной речи в XX столетии. Он составлен по материалам «Молдавского лингвистического атласа» (ч. I—IV, Кишинев, 1968—1973), сборников «Диалектные тексты» (т. I—II, Кишинев, 1969, 1971), фонограммного архива отдела, архива фольклористов, опубликованных сборников по народному творчеству, монографий, глоссариев и др. Материалы для «Диалектологического словаря» собраны приблизительно в 900 населенных пунктах.

ДС включает слова, имеющие разное территориальное распространение, которые не входят в лексику литературного языка. Например: *керкенец* — лит. улиу «ястреб», *кочь* — лит. бербек «баран», *байб* — лит. сэмынцэ де устурой «семена чеснока», *куркэрицэ* — лит. ынгрижитоаре де курчь «птичница, которая выращивает индюков» и др.

Носителям молдавской диалектной речи знакомы синонимические названия

предметов, понятий, действий и др., например: *пынтече — буртэ* «живот», *йорган — пламомэ* «одеяло», *чуботэ — чизмэ* «сапог», *коромыслэ — кобилицэ* «коромысло», *кэпэтый — пернэ* «подушка», *лейкэ — пылние* «воронка» и др. Однако они точно определяют, что является молдавским, характерным для молдавского языкового массива, и что является чуждым, книжным, редким.

ДС содержит также слова, которые начинают переходить из диалектной лексики в разговорно-просторечную, но еще не закрепили здесь свои позиции. Ср.: *бестаркэ* «подвода для зерна», *досалэ* «подкладка», *а огои* «утешать» и др.

В диалектной речи многие лексические единицы бытуют со значениями, которые не соответствуют литературному языку или же не зафиксированы в словарях. Например: *бакшиш* — лит. значения «чаевые, взятка», в говорах — «подарок на свадьбе» и др., *кырнэ* — «курносая», в говорах — «однорукая», *мунте* — «гора», в говорах — «лес», *легуме* — «овощи», в говорах — «фрукты» и др.

Из специальной терминологии местных промыслов и ремесел словарь содержит только ту ее часть, которая образует ареалы и чужда литературному языку. Например, термины *жигнэ* «горн в кузнице», *бренталь* «большой металлический гвоздь», *бош* «вентерь, натянутый на пяти кольцах», *маларин* «тесло», *мустарь* «давило (для выдавливания сока из винограда)» и др.

ДС изобилует так называемыми этнографизмами. Они также занимают определенную территорию и не относятся к лексике литературного языка. Например: *дерег* «столб (деревянный, поддерживающий стреху дома)», *кимез* «курятник», *крецуйкэ* «противень, круглой формы с зубцами, в котором пекут хлеб» и др.

Слова — архаизмы или историзмы в литературном языке, являющиеся однако, активными элементами в современных говорах, нашли свое место в ДС: *ам адэстат* «я ждал», *акму* «теперь», *ангэрие* «барщина», *грос* «тюрьма», *мордэ* «половина десятины земли», *диятэ* «завещание» и др. Многие из них встречаются в работах летописцев Г. Уреке, М. Костина и И. Некульче.

Многочисленными являются слова, заимствованные чаще всего в маргинальных зонах из говоров иноязычного населения, которое проживает здесь в течение столетий. Например, *бубнэ* «барабан», *минок* «веялка», *духоукэ* «духовка», *лайдак* «лодырь», *мирошник* «мельник», *бел* «железная лопата», *барыт* «порох», *дам* «конюшня», *магаз* «погреб», *пейк* «пекарь», *дах* «крыша дома» и др. Многие слова из этой категории не ощущаются говорящими как заимствования из говоров других языков либо потому, что в данном говоре отсутствуют их молдавские синонимы, либо потому, что иноязычная лексема адаптирована как фонетически, так и морфологически (*jеркек* «теленок в день его рождения», *абрикосарь* «абрикос — дерево», *жэратницы* «кочерга», *блидушкуцы* «блюдечко» и др.).

Словарь содержит не только диалектные слова, имеющие распространение в широких ареалах, но и те лексические единицы, которые аттестованы в ограниченном количестве населенных пунктов. Некоторые из них, возможно, бытуют в тех говорах, которые остались вне поля зрения составителей. Несколько примеров: *басалик* «груша — дерево», *болокан* «угорь», *левар* «лейка», *дилиман* «глуповатый» и др. К этой группе относятся и слова — ономатопеические образования (*бодогэнеште — толокэнеште — тарабанеште — бороскодеште — бодрогэнеште — бэлэкэнеште — тараканеште* «болтает», *дзуруйикэ* «колокольчик», *тэлэлэу* «болтун») и слова, которые встречаются в детских играх, в фольклорных материалах (загадках, пословицах, заклинаниях и др.), значения которых пока неизвестны (*дябла, дрикия, гутуруш, дараш, левизые, молез, мереол, некруц* и др.), а также слова — окказионализмы (*аурист* «археолог», *кусуторь* «портной», *кулкэтоаре* «спальня», *фураторь* «вор»).

Поскольку многие реалии названы не простыми словами, а сложными словами, словосочетаниями, т. е. синтагматическими единицами, они даны в словаре отдельными гнездами. Например: *негрузоит* «сероватый», *мускэ-албэ* «овод», *мускэ де апэ* «стрекоза», *лок дрепт* «равнина», *кланцу-кокостыркулу* «ирис», *бабушкэ-купана-рошие* «краснoперка», *гард де скындурэ кулкат* «забор из досок, сбитых горизонтально», *барел, каре шаде пе кэруцэ* «водовозная бочка» и др.

В словарь включены логоформы, т. е. мн. число существительных, прилагательных, йотированные формы глаголов, местоимения различного рода, падежа или числа и др., которые отличаются от соответствующих литературных форм (*мын, мынули* «руки», *кэс* «дома», *ынгиц* «глотаю», *моў* «мою», *еу jеск* «я есть», *а вост* «ваш», *луя* «его», *аиштор* «этих» и др.).

Некоторые диалектные формы, результат фонетических изменений, также включены в словарь. Например, протеза в *ам астынс* «погасил», *а аклинти* «касаться», *а амура* «солить, квасить», *збич* «кнут», *испитал* «больница», аферезис в *либерязэ* «освобождает», *копирим* «покрываем», *жяба* «зря», эпентеза в *авуг* «слушу», *аржент* «агент», *мулшама* «клеенка», эктлипсис в *заар* «сахар», *моор* «пустынник», *саан* «миска», гаплология в *костырк* «аист», *сыяк* «хранилище для

кукурузы», метатеза в *гурел* «воротчик», *крастуле*, *кастурлэ* «кастрюля», *лакмэрэ* «слеза», контаминация в *верболозэ* «лоза», *кожолянкэ* «безрукавка на теплой подкладке», *колибуткэ* «собачья будка», *а задорми* «заснуть», ротацизм в *ирмэ* «сердце», *кориндэ* «коляда», гиперурбанизм в *спижэ* «чугун», *пифтеле* «тефтели» и др.

ДС содержит и слова в видоизмененной форме вследствие семантической аккомодации. Народной этимологией объясняются формы *ымперитурэ* «температура», *кумпаративэ* «кооператив», *витинар* «ветеринар» и др.

Не остались вне внимания составителей ДС слова, которые произносятся с ударением, отличным от литературного, например, *аколо́* — лит. ако́ло, *бо́лнав* — болна́в, *ду́шман* — душма́н и др., а также фонетические варианты — явления, обладающие характером закона с ограниченным воспроизводством, и изолированные фонетизмы — наиболее характерные или наиболее отдаленные в своей эволюции от литературных форм. Например: *ᵘинтру* — лит. ынтру, *ᵘумплу* — ымплу, *кыйни* — кыне, *сы маргы*—сэ мяргэ, *бᵘоамбы* — бомбэ, *тэт* — тот и др.

Во Введении изложены принципы составления ДС, даны пояснения относительно структуры словарных статей. Слова представлены в их местной форме. Если слово имеет несколько произносительных вариантов, тогда наиболее распространенная форма дается как основная, а остальные указываются в квадратных скобках. Следуют затем грамматические характеристики заглавного слова и, по необходимости, стилистические, семантические или исторические пометы. Составители ДС отказались от реконструкции грамматических форм слова во избежание ошибок субъективного характера. Слова представлены в той форме, в которой они были зафиксированы в говорах или же в контекстах.

Значения полисемантического слова указаны арабскими цифрами. На первом месте дано наиболее распространенное значение, иногда — самое древнее; после основного, собственного значения, в логическом порядке представлены производные и фигуральные значения. По необходимости и там, где составители располагали материалом, слово приводится в контексте.

Если то или иное слово имеет диалектные, «территориальные» синонимы, которые бытуют в одном и том же говоре или же в разных говорах, они приведены после толкования слова или после примера в контексте в порядке частоты их употребления. Каждый из этих синонимов представлен в словаре и в соответствующем месте по алфавиту, но с отсылкой к семантической доминанте (ср. группы синонимов *агуд*, *вынэтэ*, *пропе*, *газ*, *лат* и др.).

Каждое слово и каждое значение локализовано и датировано (т. е. указываются конкретно их территориальное распространение и год их аттестации); кроме того, отмечается, кем они зарегистрированы. Приводится также источник соответствующего диалектного слова или значения.

По необходимости даны рисунки этнографических реалий (см. *блишкэ*, *будэлэу*, *бурдух*, *вырстак*, *дамкы*, *jетак*, *ўалы* и др.).

Известно, что для диалектолога существенны и особенно интересны не только сами номинации, но весьма часто и те реалии, которые обозначаются этими номинациями. Эти реалии подчас довольно своеобразны и отличны от повседневных реалий окружающей нас действительности. Интересна и вариативна лингвистическая форма номинации, но подчас лингвогеографу еще более интересно изучение самой реалии. Поневоле сравниваешь их иногда с теми реалиями, которые встречаются во французских, итальянских и других зонах, родственных с молдавским регионом.

Порядковый номер омонимов и омографов помечен цифрой, расположенной «у плеча» основного слова.

Рецензируемый «Диалектологический словарь» в пяти томах — первая работа в области молдавской диалектной лексикографии — содержит около 18 000 слов и более 370 рисунков этнографического характера. Однако, как пишет Р. Я. Удлер во Введении, ДС не претендует на исчерпывающую полноту.

Нам известно, что в архиве Отдела диалектологии и лингвистической географии имеются неопубликованные тома «Молдавского лингвистического атласа», магнитофонные записи диалектных текстов, материалы диалектологических экспедиций последних лет, которые не были использованы при составлении рецензируемых томов ДС. Эксцерпция диалектных слов, словосочетаний, значений и форм не осуществлена из многих текстов этнографического и фольклорного архивов, из произведений молдавских писателей XX в. и др.

Собирание нового диалектного материала может быть продолжено по определенным тематическим программам более детального характера.

В ДС толкование значений осуществляется несколькими путями: точными определениями, выраженными в соответствии с нормами литературного языка, энциклопедическими комментариями, весьма развернутыми (описание инструментов,

их составных частей, одежды, блюд, игр и т. п.), литературным эквивалентом, абсолютным синонимом или сочетанием перечисленных выше приемов (например, когда диалектное слово не имеет соответствия в литературном языке).

Представляется необходимым увеличение количества рисунков или зарисовок специфических предметов сельского быта, особенно тех, которые встречаются уже редко или вовсе не употребляются в настоящее время. Таким образом возросло бы значение диалектологического словаря для последующих этнографических исследований.

В дальнейшем желательно как можно чаще обращаться к рецензируемому труду не только диалектологам-романистам, но и лексикографам, для которых этот словарь может служить эталоном лингвоэтногеографического словаря в известной мере нового типа, пока редко встречающегося и в теоретическом аспекте (в теоретической лексикографии, полевой этнографии и лингвоэтногеографии) недостаточно освещенного.

Хочется высказать пожелание переиздать словарь (а запланировать таковое необходимо — тираж 1461 экземпляр. явно недостаточный, уже разошелся) в более полном объеме с учетом высказанных выше предложений.

«Диалектологический словарь (слова, значения, формы)» отражает специфику молдавского языкового массива. Он содержит сведения, необходимые для разработки истории молдавского языка, современного литературного языка и других смежных наук (фольклористики, этнографии, истории), для специалистов-славистов, тюркологов и др. ДС полезен для журналистов, работников издательств. писателей, учителей.

«Диалектологический словарь» стал в один ряд с фундаментальным многотомным «Молдавским лингвистическим атласом», созданным тем же коллективом авторов.

Бородина М. А.

Долинин К. А. **Интерпретация текста.** М.: Просвещение. 1985. 287 с.

Проблемы структурной организации и содержания (семантики) текста выдвигаются на центральное место в ряду проблем современной лингвистики. Они являются тем своеобразным «перекрестком», на котором пересекаются пути исследований собственно лингвистические и собственно литературоведческие. Полное и глубокое исследование текста только с точки зрения «формы» или только в плане «содержания» невозможно. Лучшим доказательством этого является рецензируемая книга.

Будучи учебным пособием по курсу «Интерпретация текста», монография К. А. Долинина оказалась одним из первых в отечественной лингвистике исследований тех внутренних закономерностей, которые в совокупности определяют индивидуальность, неповторимость, уникальность каждого речевого произведения. Автор опирается на ту же концепцию, которая служит теоретической базой анализа стилистики как одной из форм речевой деятельности. Подход к тексту как к цельному образованию, обладающему свойством связанности, не нов. Однако четкое и ясное определение цельности текста и его частей впервые дается только в рецензируемой книге. Автор при анализе текста использует понятия теории речевой деятельности, причем использует операционально (ср. понятия значения и смысла, их отношения к содержанию-понятия ситуации — экстралингвистической, деятельностной, понятия коммуникативного акта, соотношения номинативного и коммуникативного аспектов высказывания и текста и др.). Анализ структуры содержания текста на основе схемы коммуникативного акта дает автору возможность вскрыть специфику денотата и десигната, референта на уровне текста. Все это позволяет К. А. Долинину сформулировать определение текста (с. 32), которое выгодно отличается от многих других определений деятельностным подходом. Анализ структуры текста как абстрактной реализации статичной системы языка в известной мере порождал ограниченные определения. Ссылки на иерархичность организации текста, на соотношения частей и целого и т. п. по сути не меняли дела: текст все равно оставался абстракцией, находящейся вне индивида (ср., например, концепцию текста В. Дресслера).

Для понимания сущностных характеристик текста, в особенности художественного, очень важны положения об эксплицитном и имплицитном содержании текста. Тонкие наблюдения, которые в этом плане делает К. А. Долинин, без сомнения, обогащают наши представления о подтексте, затексте и других компонентах текста, которые, на первый взгляд, далеко не очевидны и выявляются только посредством специального анализа.

Очень важно — и это в книге проводит-

ся последовательно и непротиворечиво — постоянное разграничение того, что представлено в тексте как объективной реальности, и того, что может быть в нем обнаружено при специальном анализе. Ср., например, оппозицию «имплицитного — эксплицитного» и «коммуникативного — номинативного» при анализе художественного произведения. Эксплицитное/номинативное и эксплицитное/коммуникативное содержания являются психологически значимыми для непредубежденного носителя языка. С другой стороны, стиль, структура, составляющих текст высказываний не осознаются ни автором, ни адресатом текста, подчиняясь законам неосознанного контроля. Сущностные характеристики текста как содержательного образования складываются из многих составляющих. К их числу едва ли не в первую очередь относится уже упоминавшийся подтекст или имплицитное содержание текста. В связи с формированием имплицитного содержания важен учет принципов речевого поведения, которые автор книги выводит из общих закономерностей организации речи и текста как ее проявления. В основу выделения этих принципов положено общее свойство коммуникативности речи (с. 42 и сл.). Эти и многие другие теоретические находки автора книги содержатся в первой главе книги.

Главы II—V рецензируемого труда, на первый взгляд, посвящены совершенно иной проблематике — той, которую традиционно относят к области поэтики, теории литературы, эстетики. В них, например, рассматриваются такие вопросы, как сущность художественного образа, пространственно-временные и социальные рамки действия, типы коллизий, проблемы литературного героя, движущие силы, закономерности развития и развязка фабульного действия, художественная деталь, рассказ-показ соотношения фабульного времени и порядка рассказывания, проблема позиции повествователя, способы изображения внутреннего мира персонажей, проблема выражения авторской точки зрения и т. п. И только в главе VI, посвященной стилю художественного текста, автор как бы возвращается к лингвистике, точнее, к проблемам лингвистической стилистики (прямая и косвенная речь, несобственно прямая речь, сказ, стилизация, средства словесной изобразительности, характер построения фразы и т. д.). Однако внимательное знакомство с текстом книги приводит к выводу, что всем ее частям присуще глубокое внутреннее единство — единство цели и единство концепции. По мнению К. А. Долинина, основная задача интерпретации текста как исследовательской деятельности и как учебной практики заключается в том, чтобы извлечь из текста максимум информации, «постичь не только то содержание, которое заложено в него автором (адресантом), но и то, которое потенциально содержится в нем помимо авторской воли» (с. 4). В соответствии с этим принципом, а также исходя из неоднократно высказывавшейся мысли о единстве системы художественного текста, автор выводит объект интерпретации из рамок дисциплины, которую В. В. Виноградов назвал лингвистически обоснованной стилистикой художественной литературы, и последовательно обращается ко всем основным уровням структуры текста, начиная с фабулы и кончая стилем в узком смысле этого слова. Этим и определяется построение основных четырех глав книги, непосредственно посвященных методике интерпретации художественного текста («Фабула», «Композиция», «Образ повествователя», «Стиль»). В них автор пытается выявить, по его собственному определению, «основные узлы структуры повествовательного текста, присутствующие практически в любом произведении этого рода..., возможные конструктивные решения этих узлов... и, наконец, потенциальную художественную значимость тех или иных решений...» (с. 99). Автор пытается построить нечто вроде грамматики текста, с тем, чтобы иметь определенную основу для оценки своеобразия отдельных частных текстов. В реализации этой программы К. А. Долинин опирается на труды таких выдающихся отечественных филологов, как В. Б. Шкловский, В. В. Виноградов, Б. М. Эйхенбаум, Г. А. Гуковский, М. М. Тахтин. Но при этом он исходит из того, что литературное произведение — это прежде всего текст, речевое сообщение со всеми органически присущими ему свойствами, изучаемыми лингвистикой и теорией речевой коммуникации.

Оригинальность и научная ценность монографии К. А. Долинина заключается в том, что автор ставит основной акцент не на том, что отделяет художественный текст от повседневной практической речи, а на том, что объединяет их, и уже на этой основе выявляет подлинное своеобразие художественной литературы как особого класса речевых жанров. Отсюда необходимость первой общетеоретической главы, основные тезисы которой находят свое естественное продолжение и развитие в последующих главах (хотя связь между этими тезисами и положениями, непосредственно относящимися к структуре художественного текста, не всегда формулируются достаточно эксплицитно). Так, разграничение номинативного и коммуникативного содержания речи находит параллель в таких тради

ционно изучаемых литературоведческой стилистикой понятиях, как фабула и образ повествователя. Вместе с тем понятия денотативного, десигнативного значения высказывания помогают опознавать разграничение фабулы и сюжета и плодотворно развить эти категории на лингвистическом уровне текста.

Из общелингвистических понятий, разрабатываемых в первой главе, особое место в концепции Е. А. Долинина занимают два, тесно связанные друг с другом,— коннотация и подтекст. Идею коннотации, трактуемой как значимость выбора из ряда потенциальных возможностей, автор положил в основу своей концепции стиля, развитой несколько лет назад в его книге, посвященной проблемам стилистики [1]. В этой книге К. А. Долинин писал: «...явление коннотации может лечь в основу не только анализа словесного стиля, но анализа текста в целом. Детальная разработка и изложение такого метода — это задача другой, еще не написанной книги». Рецензируемая монография и является осуществлением этого замысла. В самом деле, главный вопрос, на который автор пытается ответить при анализе любого элемента художественного текста, принадлежащего любому его уровню, формулируется именно так: почему автор произведения выбрал именно этот элемент (этого героя, этот сюжетный ход, этого повествователя, этот способ изображения, это слово и т. п.), а не какой-либо другой. Ответить на такой вопрос — это и значит определить коннотативное значение данного элемента. Концепция подтекста (имплицитного содержания речи), подробно разработанная в первой главе, включает в себя понятие коннотации и также проходит через всю книгу. Как убедительно демонстрирует автор, то, что называют идейно-художественным содержанием литературного произведения, во многом обусловлено подтекстом. Для интерпретации художественного текста наибольшее значение имеет тот вид имплицитного содержания речи, который автор именует общим коммуникативным подтекстом и определяет с общесемиотической точки зрения как коннотативную информацию об адресанте (с. 62).

Можно привести еще ряд примеров комплексного подхода к текстовому материалу, позволившего автору прийти к нетривиальным выводам. Так, проблема приращений смыслов, которые возникают в результате сцепления логически несвязанных фрагментов и мотивов художественного повествования, рассматривается автором в тесной связи с теорией тропов, которая, в свою очередь, увязана с проблемой имплицитного содержания текста.

В целом рецензируемая работа отличается стройностью, убедительностью и оригинальностью авторской концепции, широтой проблематики, глубоким и тонким анализом языкового и литературного материала, умелым использованием различных методик анализа и, что очень существенно, доступностью изложения. О сложных проблемах К. А. Долинин, за редким исключением, пишет просто.

Сказанное не означает, что работа лишена недостатков. Так, неоправданно сжатым, скупым представляется последний раздел книги, посвященный тому аспекту стиля художественного текста, который автор, вслед за М. М. Бахтиным, называет «авторским словом» (§§ 109—119) и в котором наиболее прямо и непосредственно проявляется индивидуальность художника. Вообще если К. А. Долинин убедительно точно и тонко анализирует явления, так или иначе связанные с «чужим словом», точкой зрения персонажа или «подставного повествователя» — те, которые сравнительно легко поддаются рациональному учету и описанию в конечном счете методами лингвистики,— то с прямыми проявлениями авторской точки зрения он работает как бы менее охотно. Видимо, это происходит потому, что последние названными методами «уловить» уже значительно труднее (если вообще возможно). В книге довольно мало говорится о ритме прозы. К. А. Долинина можно упрекнуть также в том, что он строит свою систему интерпретации, опираясь, главным образом, на классическую литературу, и недостаточно учитывает литературу сегодняшнего дня со всей ее спецификой. Понятно, мы отдаем себе отчет в том, что «грамматику» литературного текста нужно строить в первую очередь на материале произведений, реализующих норму. Однако хотелось бы получить побольше информации об отклонениях от нормы, точнее, о современных нормах отклонений от нормы.

Подводя итоги анализа рецензируемой монографии, можно считать, что книга К. А. Долинина «Интерпретация текста» представляет несомненный вклад в отечественную науку, прежде всего благодаря осуществленному в ней комплексному синтетическому подходу к материалу, который позволил автору органично и естественно связать между собой лингвистику, поэтику, теорию речевой деятельности и историю литературы. Это необходимо для объяснения такого сложного явления человеческой культуры, как художественный текст.

Волкова З. Н., Шахнарович А. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Долинин К. А.* Стилистика французского языка. Л., 1978. С. 81.